

## ЧАСТЬ 1. СМЕРТЬ ВЕСНЫ

### МИККЕЛЬ

Дорога свернула налево, перекинулась через мост и побежала мимо домов Серритслева. По обочинам густо зеленели придорожные канавы, среди травы мелькали желтые цветочки; местами в полях светлели дымчатые пятна там, где разбросаны были туманные островки цветения; смеркалось. Солнце зашло, прозрачен был посвежевший воздух, но на безоблачном небе не видно было звезд. Медлительно переваливаясь на ухабах, в Серритслев въехал воз с сеном. Осторожно крадущаяся в темноте по деревенской улице упряжка со своим грузом напоминала приземистого лохматого зверя, который, уткнувшись носом в землю, неспешно трусит себе, погруженный в свои звериные думы. Возле корчмы воз остановился. Взмывленные лошади косились назад, оборачивая морды, и грызли постромки, они рады были остановке; возчик спустился со своего сидения на дышло, соскочил наземь и привязал лошадей, затем, повернувшись к крыльцу, высморкался и покричал туда: — Эй, есть там кто-нибудь?

Почудилось, или... Никак окно засветилось? Кажись, свет зажгли. И в тот же миг на крыльце появилась служанка. Возчик спросил себе водки. Покуда он ждал, когда ему вынесут, на возу что-то зашебаршилось, оттуда осторожно свесилась пара долговязых ног, ощупью старавшихся найти дышло, их обладатель кряхтя сполз на брюхе с воза. Очутившись наконец-то внизу, он стал отряхиваться — это был длинный и мосластый человек в надвинутом на лицо капюшоне.

— Доброго здоровьица вам! — сказал он возчику, который в это время зычно откашливался, опрокинув в себя чарку красной жидкости. Переждав, попутчик спросил:

— Ну что, хозяин? Поедем дальше? А не то, может, заглянем вместе в горницу и выпьем еще на дорожку, чтобы лучше ехалось!

Едва ступив через порог в освещенную комнату, возчик застыл на месте, остолбенев от почтительности, но и товарищ его заметно оробел. Посреди горницы вокруг стола сидели знатные господа — офицеры саксонской гвардии [HYPERLINK "#c\\_1" {1}](#), которая с недавних пор разместилась на постой в городе. Все поражало в этих усачах, блистающих ослепительными нарядами: пышные прорезные рукава алого цвета, перья, — все так и горело, так и било в глаза огненным сверканием, от которого нельзя было отвести глаз. Подле них стояли составленные вокруг стола и прислоненные к стульям мечи и копья — грозное боевое оружие. Кожаные ремешки ниспадали ладно, приноровленные привычкой к хозяйской руке. Все четверо оборотились было на дверь, но тут же и отвернулись, занятые своей беседой. Служанка поднесла вошедшим две кружки пива и поставила для них свечу на столик возле дверей. Не успела она еще отойти, как один из сидевших посередине комнаты с хохотом откинулся на сидении:

— Нет, вы только полюбуйтесь вон на того, что в капюшоне! Такого не каждый день увидишь! — Это было сказано по-немецки.

Остальные добродушно обернулись, а как глянули, так невольно тоже засмеялись. Долговязый в это время стоя пил из кружки, при этом он подогнул коленки, над кружкой торчал высунувшийся из-под капюшона длинный нос, и вся фигура, безусловно, представляла уморительное зрелище. Допив кружку, он спокойно уселся за свой столик и, шурясь от света, который падал ему прямо в глаза, наполовину обиженно, наполовину насмешливо, как бы выражая этим философское отношение, обратил свой взор на пирующую компанию.

Тогда один из офицеров встал из-за стола, прошел разделявшие их несколько шагов и вежливо обратился к нему по-немецки:

— Мы посмеялись не со зла — не окажете ли вы нам честь выпить вина в нашей компании?

— Danke, — ответил ему долговязый и направился к столу, за который его пригласили, на ходу расшаркиваясь и отвешивая поклоны. Прежде чем залезть за стол и окончательно усесться на скамейку, он поклонился по отдельности каждому из сидящих, называя при этом свое имя:

— Миккель Тёгерсен, студиязус.

Затем он принялся теребить свои волосы и поглаживать себя ладонями по обветренному лицу. Он услышал, как ему в ответ назвали четыре имени, одно из них прозвучало по-датски, и вот уже перед ним стоял бокал и пламенело алое вино. И со всех сторон вразнобой понеслось:

— Ваше здоровье! Ваше здоровье!

— Ваше здоровье, Ihr Herren!

Миккель чинно отпил вина и, ощутив, как оно разливается у него внутри, еще больше выпрямил свое тощее, как жердь, тело. Наскоро обведя беглым взглядом присутствующих, он остановил свое внимание на одном из господ офицеров, который сидел, подперев голову рукой. Рука была белая и гладкая, без выпирающих жил и костей, пальцы утонули в каштановых волосах. Лицо было продолговатое, а его выражение вдруг напомнило Миккелю молоденького канатоходца, которого он видел как-то в трактире во время ярмарки, тот сидел и скучал в одиночестве, должно быть ему нездоровилось.

Сейчас Миккелю вспомнилось это молодое изнуренное лицо: точно такое же выражение глаз было сейчас и у человека, сидевшего напротив. Вдобавок Миккелю показалось, будто он уже где-то его видел. Кто бы это мог быть? Где они встречались? Судя по всему, он из дворян.

И вновь перед Миккелем очутился наполненный бокал. Со всей учтивостью Миккель поднял его и рассеянно выпил, мысли его были заняты молодым человеком напротив, которого он силился вспомнить, все остальное было точно в тумане.

Некая тайна витала над этой темноволосой головой; вот юноша повернулся лицом к столу, и сразу же бросился в глаза широкий разворот его плеч — оказывается, он на редкость стройно сложен.

Отчего же он грустит? Этим чертам больше пристала веселость.

А беседа текла своим чередом, все четверо военных людей вели себя предупредительно с Миккелем. Миккель совсем расчувствовался и проникся доверием к этим немцам, ведь откуда им знать, что в городе у него есть прозвище Аист. Миккель говорил с ними по-немецки, и это доставляло ему удовольствие, но то и дело он отвлекался, в голове все время вертелось дурацкое прозвище... Ведь, если посмотреть с другой стороны, немцы не могут знать и того, что в своем узком кругу он известен как сочинитель латинских од и эпиграмм... Вот отчего только ни слова не проронит этот молоденький?

— Отто Иверсен!

Вот оно — названо имя! Так и есть. Это, конечно, он. В тот же миг Миккель вспомнил серые, обветшалые ворота, каменные стены и островерхую башню — это было там, в родной Ютландии. И сразу всплыло ощущение, как он стоит, маленький и жалкий, за воротами. Миккель побывал там несколько раз. С тех пор прошло много времени. И только однажды, да и то мельком, он видал во дворе молодого барича. Оказывается, это он и есть — Отто Иверсен! Тогда он еще был щупленьким

мальчуганом. Миккель не раз потом вспоминал его. Мальчик стоял среди двора, окруженный сворой собак, и держал на руке нахохлившегося сокола. А сейчас вот он — сидит напротив, высокий и тоненький, словно молоденькая девушка.

Ландскнехты негромко чему-то засмеялись. Миккель спохватился и снова поднял чарку.

В дверь заглянул возчик:

— Ну, я поехал, — сказал он и, поставив возле порога сумку и соломенную корзинку с яйцами, закрыл за собою дверь. Это было имущество Миккеля: все, что он раздобыл во время похода в деревню; вот он, его позор, красуется у всех на виду. Смотрите, кому не лень! И Миккель в смятении повернулся спиной к двери.

Но немецкие ландскнехты только посмеялись и, не долго думая, нашлись, как тут поступить — яйца, мол, всегда можно употребить. Страдая от своего унижения, Миккель с радостью отдал им корзинку, и все яйца были тут же выпиты сырыми. Только Отто Иверсен не пожелал угощаться, он по-прежнему не произнес ни слова.

А Миккель Тёгерсен согрелся и осоловел, он ощутил прилив дружелюбия, вино развязало ему язык, и все же он никак не мог избавиться от гнетущего чувства. Казалось бы, вся душа его так и устремилась навстречу беспечным удальцам, но в то же время он страшился своего откровенного порыва; какое-то расплывчатое чувство овладело Миккелем и равномерно качало его на своих, волнах. Исподтишка он, словно влюбленный, кидал на господина Отто просительно-недоверчивые взгляды: дескать, узнаешь ли ты меня? Нет, кажется, не узнал.

У одного из немецких ландскнехтов губа была рассечена шрамом, усы кое-как прикрывали его рубец; он не мог отчетливо произносить слова; слушая его шепелявую речь, Миккель Тёгерсен про себя печально веселился; все, что он видел и слышал вокруг, согревало ему душу. Однако, разомлев от вина и разнежась до совершенного благодушия, он в глубине своего существа все больше ожесточался, он чувствовал, как в нем подспудно нарастает пронзительный холод, но он подавил это чувство и взял себя в руки.

Трое немцев отошли к трактирной стойке. Миккель Тёгерсен и Отто Иверсен остались одни за столом. Ни тот, ни другой ничего не говорили, Миккель спрятался в свою скорлупу. Опустив глаза, он уставился в темное пространство между столом и скамейкой, его охватило горькое чувство одиночества. Решив, что надо успокоиться, он со вздохом поджал под себя длинные, как оглобли, ноги, отер пот со лба и наконец сладил со своим возбуждением. Напротив него Отто Иверсен вертел свой бокал, у него был вид больного человека.

Когда немцы вернулись за стол с новыми бутылками другого, еще не испробованного вина, Миккель Тёгерсен повел себя спокойнее и пить стал благоразумнее, без прежней торопливости. Тут у них началась настоящая попойка, и о посторонних вещах думать стало некогда. Отто Иверсен опоражнивал бокал за бокалом, сколько бы ему ни подливали, и ни чуточки при этом не менялся. Клас, тот, что с рассеченной губой, затянул песню довольно-таки странного содержания.

Миккель Тёгерсен взялся за один из огромных двуручных мечей и, примериваясь, взвесил его на руке — ему стали показывать разные приемы. Когда отточенное острие мелькало перед его лицом, по спине у него пробежал неприятный холодок, он сам этому удивился, потому что никогда раньше не замечал за собой страха перед обнаженным клинком.

А Клас пел:

Меня убьют в чистом поле,  
Убьют средь белого дня,  
Друзья понесут к могиле  
На длинных копьях меня;  
Будут бить барабаны марш боевой,  
Что мне во сто крат дороже.  
Чем жалкий поповский вой.

Половина слов вместе со слюной застревала у него где-то в усах. Потом стали рассказывать солдатские байки о рукопашных схватках, случавшихся в различных сражениях — вжик, вжик! — о победах и смертельных опасностях, и...

— Генрих, а ты помнишь еще белокурую Ленору? — громогласно кричит вдруг Клас в бесшабашном веселье.

Еще бы не помнить! И Генрих тут же высыпал всю историю, точно горох из мешка. Клас с Самуэлем корчились в припадках неудержимого хохота.

А Миккель Тёгерсен молча поеживался, слушая откровенные излияния, и косился на Отто Иверсена; только он один и заметил промелькнувшую на юном лице высокомерную усмешку: чуть-чуть покривились губы, словно противная вонь шибанула в нос баричу.

У Миккеля перехватило дыхание, он раз за разом проводил ладонью себе по щекам.

А Генрих, как ни в чем не бывало, продолжал свой рассказ. Отто Иверсен отвернулся от стола и сидел нога на ногу. Наконец рассказчик окончил свою повесть и наступила полная тишина, точно всем вдруг стало неловко. Наверное, Отто Иверсен почувствовал, что из-за него все смолкли, он обернулся лицом к столу и, словно настаивая на своем мнении, долгим взглядом впился в глаза рассказчика.

Генрих явно опешил. Но тут вмешался Самуэль, у него уже была наготове следующая история. Он был немолод и рассказал не про любовь, а про дикое побоище, которое ему однажды довелось пережить, народу тогда передавали видимо-невидимо, топтали упавших, выдавливая кишки, многие так и захлебнулись в собственном дерьме. После этого рассказа в комнату словно прорвалась струя холодного воздуха, и снова стало возможно дышать. Клас, как человек знающий толк в подобных делах, засыпал Самуэля вопросами, и тут Миккеля разобрал смех от шепелявого произношения Класа, он задрал кверху нос и разразился хохотом: «Кхо-кхо!» А вслед за ним Отто Иверсен сперва лениво поднял глаза, как бы нехотя скривил рот и наконец тоже запрокинул голову и захохотал во все горло. Грохнул смехом, точно его взорвало, и — все. Как отрезало. Он опять умолк и замкнулся. Немного погодя все пустились в обратный путь, чтобы успеть в город, пока еще не закрылись на ночь ворота. Очутившись на улице, Миккель снова почувствовал отчуждение между собой и ландскнехтами, он немного поотстал и плелся сзади; как только они вошли в Северные ворота, Миккель попрощался и немного постоял, провожая взглядом удаляющуюся компанию. Они направились к центру города, а он повернул налево, к себе домой.

## КОПЕНГАГЕН НОЧЬЮ

Дом, в котором жил Миккель Тёгерсен, стоял у самого частокола, отделявшего Пустервиг от города; он жил в чердачной каморке вдвоем с другим студентом, Ове Габриэлем. Ове еще не ложился, он всегда допоздна просиживал над книгами при свете сальной свечи; приподняв голову, он мельком

взглянул на вошедшего Миккеля, и тотчас же снова углубился в свои занятия.

Миккель с грохотом уселся к столу с другого края и швырнул перед собой тетради с университетскими записями; утром он их читал, и вот вернулся, но здесь все оставалось по-прежнему.

Миккель испустил вздох. Подняв голову, Ове Габриэль взглянул ему в лицо и медленно поводил раскрытой ладонью перед своим носом.

— Ты выпил, — сказал Ове.

Ове ограничился одним лишь утверждением, что Миккель нынче бражничал. Сидит, выпучился, точно сыч, глаза так и светятся добронравием, хотя бы раз заслезились! Так нет же, не сморгнет, поди перегляди такого! Вот уж три года Миккель неизменно видит перед собой лицо прилежнейшего студиязуса, и все эти годы он ежечасно вынужден терпеть красноречивое молчание, полное нескрываемого осуждения. Неподкупный взор Ове Габриэля молча следовал за каждым его движением, еле скрытым пренебрежением пригвождая Миккеля к стулу и испепеляя его праведной ненавистью. Вот сейчас Ове Габриэль наверняка напомним: «Не забудь, что мы занимаемся при моем свете».

Миккель встал и открыл слуховое окошко, которое находилось на самой крыше, и, выпрямившись во весь свой рост, по пояс высунулся наружу. Так он обыкновенно спасался от своего соглядателя.

О! Как прохладен воздух, как сияют звезды высоко над головой! По обе стороны горбились крыши, точно выпяченные спины свернувшихся в клубок, уснувших зверей. Внизу брел дозором по улице сторож, останавливаясь перед каждой запертой дверью, чтобы посветить на нее фонарем. Зато позади частокола мерцала во рве вода отражением одинокой звезды, запутавшейся в камышах. В зеленовато-мшистой тьме простерлась притихшая земля; издалека доносилось с озер нестройное пение лягушек. Город уснул. Во рве у подножия частокола чуть слышно чмокала вода. Где-то на крыше тоскливо мяукала кошка.

Миккель Тёгерсен повернулся в оконном проеме и, запрокинув голову, обратил взор к печной трубе и к звездам. Голова у него закружилась, ноги поехали, точно скользнув голыми ступнями по связанному в пучок лезвиям. Но Миккель был даже рад этому — потому что мука его стала нестерпима. Лучше было бы ему, если бы он висел на веревке меж небом и землей, такое положение более всего отвечало бы той круговерти чувств, которую он в себе ощущал. Миккель снова перевернулся и облокотился на холодную крышу.

«Сусанна! — воскликнул он мысленно. — Сусанна!» И такая нежность разлилась в нем при этом воспоминании, что все безгласные и неживые вещи вдруг ожили, обретя душу и сердце. Молча стояли притихшие дома, источая вокруг доброту; растроганно мигали звезды. В смирении ночной тишины отчетливо трепетал пульс жизни, по заливу пробегала рябь, и даже потемневший воздух, казалось, вздрагивает, словно живое создание, осознавшее свою тайну и свою судьбу.

Но едва лишь он мысленно произнес заветное имя, как душа его оскудела и озлобилась. Миккель засопел и распрямился.

Но чу! По городу разносятся голоса. Громкие возгласы вызвали в воображении картины освещенных комнат, напомним о том, что где-то рядом идет в это время жизнь.

Миккель Тёгерсен нырнул назад в свою каморку. Посередине ее стоял раздетый Ове Габриэль, готовый отойти ко сну, во взгляде его теплилось удовлетворение от исполненного долга, он весь

тихо светился, словно восковая свечечка.

— Ну и отошал же ты! Непонятно, в чем только душа еще держится! — язвительно усмехнулся Миккель и смерил взглядом Ове Габриэля, чье мешковатое тело напоминало худую, только что отелившуюся коровенку. Ове Габриэль залез в кровать под овчину, улегся поудобнее, сложил ладони, выпалил в лицо сожителя стихом и, закончив, прибавил тоном сытого удовлетворения: — Et nunc extingue lucem!

«Погаси свет! Погаси свет! — мысленно передразнил его Миккель. — Всего-то и надо, что — фук и нету!» Он задул свечу и, прихватив с собой остроконечную палку, ощупью спустился впотьмах с лестницы. Сверху до него доносилось умиротворенное бормотание Ове Габриэля, который творил молитву на сон грядущий.

Час был поздний, и всем давно полагалось сидеть по домам, а не шататься по улицам, но Миккель решил нарушить правило. Он повернул направо и бодрым шагом отправился по улице Пилестреде к центру города. Но пройдя немного, он замедлил свое движение и наконец остановился. На улицах было пустынно, в домах — темно, деревья в садах уснули, сомкнув в вышине развесистые вершины. Отовсюду веяло запахом свежераспустившейся листвы, и, словно после дождя, терпкий воздух отдавал кислинкой.

Не спеша Миккель двинулся дальше. На углу до его слуха донеслось пение вигилий [HYPERLINK "#с\\_2" {2}](#) из монастыря святой Клары. Приглушенные стенами голоса звучали чисто и печально, словно то пели узники в темнице. И перед взором Миккеля предстало высящееся в подземелье распятие, красными и синими пятнами проступавшее в полумраке.

Очутившись возле сада, зажатого между двух высоких домов и отгороженного от улицы деревянным забором, Миккель остановился. В листве время от времени раздавалось потрескивание и шорох, словно в оседающем стогу. Влажный от росы угол островерхой крыши блестел в звездном сиянии. Постояв немного, Миккель нехотя поплелся дальше.

Когда он пришел на Рыночную площадь, там горел свет и былолюдно — понаехавшим в город чужеземным наемникам не сиделось дома; однако же попадались навстречу и местные городские жители. Миккель Тёгерсен собирался уже свернуть на улицу Кёбмагергаде, чтобы отправиться восвояси, но тут навстречу ему попала компания ландскнехтов, бывшая уже весьма навеселе.

— А вот и наш ученый друг! — воскликнул один, которого Миккель сразу же признал по особенному нечистому выговору; это была знакомая четверка, которую Миккель повстречал в Серритслеве, сейчас к ней прибавилось еще несколько человек. Клас подхватил Миккеля под руку и стал его тянуть за собой, и Миккель не смог устоять перед уговорами. Сперва они пустились в обход по трактирам — из одного переходили в другой и в каждом пропускали по стаканчику. Как ни хотелось Миккелю хорошенько гульнуть вместе со всеми, но вид такого же хмурого и печального, как и прежде, Отто Иверсена, отбил у него всякое веселье. Да и как ни крути, а в душе Миккель все-таки понимал, что господа с ним возьятся потому, что он их забавляет.

Посреди площади Хойбро к ним подошел какой-то тщедушный малый в желтых чулках и сказал им что-то такое, что, по-видимому, произвело на всех большое впечатление: по крайней мере после его рассказа они так припустили по улице, что только пятки засверкали, и всей гурьбой скрылись за углом Хюскенстреле. Про Миккеля Тёгерсена никто и не вспомнил. Он немного постоял и огляделся вокруг. Впереди темнел безмолвный замок, все вокруг словно замерло, только во рву возле

деревянных опор моста покачивалась лодка. В стороне спокойно стояла устремленная к небесам башня, высматривая что-то прищуренными глазницами окон. Миккель пробубнил себе под нос стих из Вергилия про вечную ночь и того, кто не спит.

Что же теперь — идти домой? И, лежа в постели, слушать храп Ове Габриэля? Нет уж! Миккель нагнул голову и потащился вслед за ушедшими. Пускай они убежали без него, это еще не значит, что он им надоел и его нарочно бросили.

На Хюскенстреле в нескольких домах горел свет. Миккель шел тут крадучись; проходя мимо закрытых ворот, он замечал особенный запах этого места. Здесь пахло соломенными циновками и мускусом, и перед Миккелем пронеслись смутные образы индийских караванов, верблюжьего помета, иссушающего зноя.

Из лавки Конрада Винсенса доносились голоса, дверь была приотворена. Миккель Тёгерсен осторожно приблизился и заглянул в щель — из господ, собравшихся внутри, никто не садился, все были на ногах, сразу видать, что происходит нечто необыкновенное. Миккель так и не решился зайти, он на цыпочках отошел немного в сторону и стал так, чтобы удобно было незаметно подглядывать. И тут он обнаружил возле ваги знакомую фигуру; он знал этого шестнадцатилетнего барича, то был королевич Кристьерн [HYPERLINK "#c\\_3" {3}](#). Миккель вздрогнул, его даже в жар бросило; отступив на шаг, он, взволнованный и растроганный, отодвинулся от дверей. Таким, как он увидел сейчас принца Кристьерна, он и запомнил его на всю жизнь. Кристьерн стоял немного расставив ноги, на нем были зеленые в белую полоску чулки и алые башмаки с длинными загнутыми носами; он стоял вполоборота к Миккелю, на плечах у него лежала, свешиваясь на грудь, длинная золотая цепь. В левой руке он держал кисть дорогого вяленого винограда, а правой отщипывал от нее ягоды и кушал. Миккель отчетливо видел его тонкий безусый рот; на подбородке темнел пушок пробивающейся молодой бородки. Но больше всего поразили Миккеля глаза — они были маленькие и немного раскосые, но зато ярко "блестели. У принца был крутой выпуклый затылок, шея — толстая и круглая. Вот он обернулся и кивает застывшему в восторженно-подобострастном поклоне Конраду Винсенсу; волосы принца были густого темно-рыжего оттенка.

«Ах, — подумал Миккель, — а ведь и я тоже рыжий!»

Как строго выражение отроческого лица! Но нет — вот он засмеялся и прищурился. Спокойней! Поразительно! Вот это действительно человек!

Миккель глядел во все глаза, пока они не затуманились слезою; незаметно для себя он громко вздыхал, весь предавшись восхищенному любованию. За всем дальнейшим он следил с пристальным вниманием. Каждое движение окружавших принца господ было полно благолепия, ноги стояли в изящной позиции, вот один подходит — грациозный взмах отставленной руки, и перья его берета метнулись по полу; а вот другой склонился перед ним и говорит, сияя белозубой улыбкой; и вот уже подъяты тяжелые кубки, все пьют за здоровье принца, а он в ответ наклоняет голову, упираясь в грудь подбородком. Вокруг на цыпочках приплясывает Конрад Винсенс, весь в лихорадке осенившей его славы.

И только один среди них держался запросто — горбатый карлик в вычурно-пестром наряде. Когда к нему обращались, он дрыгал ногою вбок и отвечал, задрав кверху голову, становясь похожим на мопса, который тявкает, стоя на задних лапах. Миккель различал со своего места, что после каждой фразы коротышка оттопыривает языком правую щеку. Один раз все дружно расхохотались, и даже

принц блеснул зубами в улыбке, а карлик сильнее прежнего выпятил щеку, — тут уж Миккель не удержался и на радостях посмеялся сам с собой. Как благовоспитанно и сдержанно звучали голоса в комнате! Ее освещали два ароматических светильника. В самой глубине Миккель приметил Отто Иверсена, который стоял в стороне, однако и он, казалось, был доволен и весел. Но Миккелю было сейчас не до того, чтобы разглядывать Отто Иверсена.

Долго простоял замороженный Миккель, жадно упиваясь ярким зрелищем, которое представляли собой собравшиеся вельможи; ему казалось, что и на него тоже падает отблеск великой благодати. Как только в комнате нестройно зашумели и общество, по-видимому, начало расходиться, Миккель отпрянул в сторону. Он увидел, как все весело высыпали на улицу и прямоком направились через дорогу в трактир Мартина Гельца. И тут Миккель обратил внимание на походку принца Кристьяерна. Миккель еще часа два-три побродил по улицам. Далеко за полночь он снова столкнулся со своими немецкими знакомыми как раз в ту минуту, когда они входили в пользующийся недоброй славой притон на СтраннеHYPERLINK "#с\_4" {4}. По звучанию голосов было слышно, что они доутились до одури. Отто Иверсена среди них уже не было.

Наутро копенгагенские обыватели увидели странное зрелище: на коньке высокого дома возле Рыночной площади красовалась карета о четырех колесах. Кто-то ночью ее разобрал, втащил по частям на крышу и там снова собрал. К полудню уже весь город знал, что это была шалость принца Кристьяерна.

## МЕЧТАТЕЛЬ

Миккель проснулся, когда солнце уже было высоко. Он немного полежал, собираясь с мыслями. Ему приснился какой-то удивительный сон, но, пробудившись, он ничего не мог вспомнить.

Сверху через слуховое окно в убогую каморку вливался дневной свет. Ове Габриэль давно ушел на занятия, но Миккель явственно ощущал его запах и с отвращением сморщил нос.

Может ли сегодня произойти что-нибудь такое, ради чего стоило бы подниматься с постели и нести свой товар на общее торжище, чтобы, смешавшись с толпой, ждать, не остановится ли на тебе перст судьбы? Миккель призадумался. В сущности, вчера с ним не произошло ничего примечательного, однако все похождения предыдущей ночи оставили по себе живое воспоминание. Что ни говори, он испытал вчера хорошую встряску. Все прежние ценности еще больше понизились в его глазах, и он понял, что не в силах доле терпеть свое нынешнее положение.

Миккель перевернулся на другой бок и погрузился в размышления, вперив неподвижный взор в стену. Спустя немного времени он запрокинул голову и закрыл глаза — он вспомнил Сусанну. Почти одновременно с этим он ощутил сильный приступ голода, под ложечкой засосало; тогда он встал и потянулся за одеждой. У Миккеля не было ничего за душой, он жил, словно птица небесная и перебывался со дня на день чем бог пошлет и чего подадут добрые люди. Натягивая ненавистные красные кожаные штаны, он уже прикидывал, куда бы нынче сходить за подаванием, и решил отправиться подальше в деревню, туда, где народ меньше натерпелся от попрошайничества нищих студентов и прочего городского сброда.

Был чудный майский день. И Миккель бодрым шагом вышел из Северных ворот. Едва открылись его взору поля, как он почувствовал такой радостный трепет, что душа его смутилась, и он преисполнился робости при виде небесного простора. От земли поднимался весенний запах. О чем же это невольно напомнило? Широко раскинулись зеленеющие ржаные поля. Ласково пригревало



солнышко.

Миккель шагал себе по дороге, поглядывая по сторонам. Должно быть, день выдался счастливый, так легко и хорошо было у него на душе.

День и впрямь оказался счастливым. Миккель шел куда глаза глядят и пришел, куда надо. Скоро он уже сидел на широкой скамье во дворе крестьянской усадьбы на Озерах, все вокруг было залито светом; накормили его не скупясь, без лишних разговоров и набожных воздыханий. Хозяин налил Миккелю полную кружку пенистого пива и с видимой радостью ухаживал за неожиданным гостем. Знать, не каждый день забредали сюда ученые школяры просить Христа ради на пропитание, и Миккель решил взять это себе на заметку. Наевшись и напившись так, чтобы и про запас хватило, Миккель понял, что на сегодня со злобой дня для него покончено и, умиротворенный, пустился в обратный путь. Теперь, на сытый желудок, он спокойно поглядывал на облака, следил, шурясь от солнца, за полетом птиц и толковал по-латыни со своей бессмертной душой.

Внезапно Миккель остановился; у него мелькнула мысль об одном деле, которое он давно откладывал: а что, если сегодня осуществить задуманное, взять да и пойти к Йенсу

Андерсену[HYPERLINK "#c\\_5" {5} ?](#) Миккель надеялся на успех, потому что знаменитый магистр Андерсен был его земляком. Быть по сему! Нынче он приведет в исполнение свой замысел! Нынче он решился!

Но едва только приняв решение и сделав первый шаг, Миккель сразу же сник и потерял охоту. Терзаясь сомнениями, он дошел до улицы, на которой, как было ему известно, жил Йенс Андерсен. Очутившись перед его дверью, Миккель и вовсе пал духом, однако он как бы уже разогнался, и ему хотелось так или иначе покончить начатое.

Миккель Тёгерсен очутился в просторной комнате, он успел заметить, что по стенам стоят толстые фолианты, но тут в противоположном конце поднялся из-за стола и быстро вышел ему навстречу хозяин — Йенс Андерсен, широколобый, коренастый человек могучего сложения. Одет он был в меховую куртку. Миккель перевел взгляд выше, где на бритом лице выделялся крупный рот, и в этот миг Йенс Андерсен заговорил с ним. Его низкий голос звучал глуховато, но Миккель угадал, что говоривший нарочно подпустил сухости, потому, что каков гость таков и разговор — как звать, да по какой надобности? — недосуг, мол, Йенсу Андерсену с тобой валандаться.

Миккель Тёгерсен и выложил, что накопело. Пришел, дескать, за добрым советом — охота побывать за границей, поучиться в университетах... И как на грех подвела Миккеля всегдашняя впечатлительность: увидев на стене простое железное распятие, он представил себе, что Йенс Андерсен, коли ничего другого не окажется под рукой, пожалуй, схватит и его, чтобы огреть собаку. Миккель давно привык, что при первой встрече люди выказывают удивление, пораженные его наружностью — недаром его прозвали Аистом, а Йенс Андерсен будто и не заметил ничего особенного; вот он каков — не чета остальным! И Миккель смутился, не встретив привычного, хоть и обидного приема. А когда зашла речь о желанной поездке, стал вдруг запинаться и путаться, потому что стоило только подумать о Риме, о чуждеальных краях, как у Миккеля, сына деревенского кузнеца с Лимфьорда, сперло дыхание и он стал точно столб.

— Кхе-хем! — Йенс Андерсен, склонив голову набок, топнул ногой и резко, словно лавочник, обрушился на огорошенного слушателя. Миккель едва осмеливался взглянуть на него исподлобья, он видел перед собой могучий бычий загривок, белесые волосы, коротко подстриженные на затылке... и

вдруг свинцовый взгляд Сенсация Андерсена опять впился ему в глаза, и было в этом взгляде учтливое безразличие и в то же время такая, прямо-таки яростная, сила, что Миккель, струсив, нырнул глазами и уставился в бритое пространство между скулами и подбородком. Он увидел бледную, без морщин, натянутую кожу. Почернелые зубы... сразу видать ютландца. Не в силах долее выдержать устремленный на себя взгляд, Миккель, как зачарованный, повел глазами вдоль книжных полок, и они завертелись вокруг него.

Спустя четверть часа Миккель ринулся уже на улице. Так чем, бишь, закончилась эта встреча? Ах, да! Йенс Андерсен Бельденак ораторствовал перед ним о чем ни попало, а потом снизошел до того, чтобы проэкзаменовать Миккеля! Миккель отвечал точно во сне, он кое-как выдержал проверку своих ученых познаний. Но в одном стихе Горация переврал-таки размер, и Йенс Андерсен поправил его, отбивая такт своей волосатой рукой: та-та-та-та.

Весь взмокший, как после бани, и понурый, как пришибленная дворняжка, Миккель Тёгерсен потащился прочь.

Когда наконец он осмелился высунуть свой унылый нос из-под капюшона и оглядеться по сторонам, оказалось, что он стоит на площади Хойбро. Тут, как всегда, царило оживление. Миккель остановился на углу возле чьих-то ворот и напряженно наморщил лоб, словно в раздумье. На самом деле он почти ничего не соображал. Обида и стыд тяжким грузом давили на его плечи, и, словно свирепый зверь, пробудилось спавшее в душе непомерное самомнение. Несмотря на переполнявшие его мысли, под наплывом которых Миккель как вкопанный застыл на месте, он замечал все, что происходило вокруг, более того — яркие краски навязчиво лезли в глаза: какая-то баба настырно выкликала свою селедку, — и бескожим, совершенно бескожим стоял на виду у всех Миккель, словно только что ободранная мясная туша, вздрагивая от жестокого прикосновения воздуха. Чу! В королевском замке затрубили в трубы, как будто лезвием полоснув по оголенному черепу. Миккель поежился и, совсем убитый, побрел своей дорогой. В это время перед замком опустился подъемный мост, и тотчас же прогремела по нему копытами вырвавшаяся из ворот кавалькада, сплошь из особ, принадлежащих к высшей знати. Галопом вылетев на улицы, они на рысях свернули на площадь Хойбро; на повороте всадники с лошадьми заваливались набок. Как смешно они трясутся в седлах — звяк, звяк! — бешено колотятся на поясе мечи, победно полощутся взметнувшиеся от ветра яркие плащи.

Миккель шел в сторону городской окраины. Повсюду солдаты, конское ржание и топот. Сам юнкер Слентц[HYPERLINK "#c\\_6" {6}](#) при всех доспехах скачет по улице с оруженосцем позади.

Железный человек ворочает шлемом то вправо, то влево; он царственно величав; забрало на лице открыто, и свирепые усищи лоснятся на солнце. Конь под ним фыркает из-под чепрака — тоже, поди, недешево стоит!

Миккель бродил по городу, собираясь с мыслями; все улицы в конце концов упирались в городской вал; Миккель заперт, заточен в этом убогом, замызганном городишке, заляпанном рыбьей слизью и селедочной чешуей, загаженном попами и свиньями. Чтобы почувствовать волю, он запрокинул голову и взглянул на небеса. Воздух дышал влажностью. Над головой проплывали облака. Это напомнило Миккелю о морском просторе, и он пошел назад на Странней.

Ветер посвежел; по морю, по взволнованному синему простору Зунда, прыгая на волнах, упрямо стремились вперед, споря с ветром, рыбацьи баркасы.

У Миккеля точно пелена спала с глаз, и он вспомнил свой сон. Ему снилось, что он в открытом море, и там ему вдруг предстало дивное видение. Вдалеке из-за окоема показался над водой сияющий белизною столп, он казался высотой с палец, но Миккель понимал, как он должен быть огромен, если виден из такой невообразимой дали. Он сверкал на небосклоне, словно отлитый из серебра, а напротив него голубел низкий прозрачный купол, который с близкого расстояния должен был предстать колоссальным шатром протяженностью в несколько миль. Вглядываясь в видение, возникшее перед ним среди пустынных океанских волн, Миккель понял, что от морского берега начинается устье огромной реки, рассекающей далекий город. Ибо то был город, стоящий по ту сторону моря, на другом краю земли.

Миккель Тёгерсен пустился в обратный путь, домой; переживаний для одного дня ему выпало больше чем достаточно. Но вместо того чтобы отправиться по Пилестреде, он выбрал другую дорогу, сегодня ему не хотелось проходить мимо деревянного забора и высматривать за ним Сусанну.

Придя домой, он сразу улегся в постель. Ове Габриэль где-то пропадал; наверно, бродит по улицам и распевает под чужими дверьми, закатывая ясные глазки. Миккель провел несколько часов лежа на спине и о многом передумал. К ночи воротился Ове Габриэль с набитой сумой. Миккель, не говоря ни слова, встал и ушел по своим делам.

Ночь застала Миккеля Тёгерсена в пути, на дороге, ведущей от Западных ворот. Он услышал скок коня, сзади галопом приближался всадник. Не успел Миккель оглянуться, чтобы посмотреть, кто это скачет, как всадник уже настиг его. Это был Отто Иверсен. Налетел, как вихрь, и промелькнул. Он сидел в седле, низко наклонясь, и мчался вперед во весь опор. Миккель проводил его взглядом, он слышал храпение разгоряченного коня, пыль и камешки так и брызнули из-под копыт.

Воздух был напоен запахом зеленых хлебов. Кругом стояла тишина. Сонно тянули свою бесконечную песню лягушки.

Спустя час, подходя к Северным воротам, Миккель опять услышал позади бешеный перестук копыт. Он посторонился и опять увидал, как мимо во весь дух промчался Отто Иверсен, возвращаясь в город.

Спустя несколько дней Миккель Тёгерсен, прозванный в городе Аистом, внезапно и без предупреждения был исключен из Копенгагенского университета. Для него это событие не было такой уж неожиданностью, потому что он давно перестал посещать церковную службу. В тот же день Ове Габриэль стал смотреть на Миккеля, как посвященный смотрит на постороннего человека. А Миккель, несмотря на тайные угрызения, свободно вздохнул. Первым делом он перестал брить усы. И хотя будущее сулило ему сплошные невзгоды: нужду, заблуждения, страхи — он тем не менее, всему назло, отпустил огненно-рыжие кисти, упрямо не желавшие стоять торчком, а свисавшие мочалкой по углам рта.

## ВЕСЕННИЕ СТРАДАНИЯ

Миккель Тёгерсен ничего не знал о Сусанне, кроме того, что она живет в доме старого еврея Менделя Шпейера; быть может, она была его дочерью. Имя девушки было ему давно известно, задолго до того, как он однажды разглядел ее в саду; оно часто попадалось ему, написанное мелом на деревянных столбах дома в окружении непристойных изображений. Рисунки и надписи кто-то стирал, они снова появлялись на том же месте, и их тут же стирали снова. Однажды Миккель застал

возвращение старого еврея: прежде чем войти в дом, старик окинул взглядом угол дома, однако на сей раз там ничего не было.

Сусанна, так звали ее. Только два раза Миккелю удалось хорошенько ее разглядеть. С тех пор он больше не смел подолгу задерживаться возле ограды. Он старался вести себя, как обыкновенный прохожий, спешащий по своим делам. Поравнявшись с забором, он как бы ненароком посматривал в сторону сада, и порой ему удавалось мельком взглянуть на Сусанну. Она часто прохаживалась в полдень или вечером по загложшим дорожкам.

Весь сад зарос сорняками, высокими побегами цикуты и листьями дикого хрена; ветхие яблони покосились в разные стороны. В уголке возле ограды густо разрослась раскидистая бузина; Миккель догадывался, что ее ветви образовали со стороны сада навес вроде беседки, и под сенью этого дерева порой отдыхает Сусанна. Иногда слышался в листве какой-то шорох. Может быть, Сусанна исподтишка поглядывает оттуда на улицу — Миккель невзлюбил это дерево. И в то же время оно притягивало его при мысли, что там, может быть, прячется Сусанна.

На самом верху дома под его островерхой крышей Миккель приметил одно окошко, которое светилось по вечерам. Ночью в нем не было света, и Миккель, проходя мимо, поглядывал туда. Наискосок против дома Менделя Шпейера стоял монастырь святой Клары, и возле него отыскался темный закоулок, в котором Миккель с наслаждением простаивал целые вечера. С этого места ему было видно заветное окошко.

Там он и стоял поздним вечером на троицын день, после того как город давно уже успокоился. С утра до вечера в нем царила небывалая кутерьма. С восходом солнца началось пирование, весь город справлял троицу — кругом пели, галдели, гремела музыка, весь город был во хмелю. В садах за северной городской стеной вырос целый лес майских шестов, и христианский люд всем миром дружно высыпал погулять на приволье, шел кутеж — ели до отвала, пили допьяна. Немецкие ландскнехты гуляли вовсю, напоследок отводили душу перед походом.

Миккель Тёгерсен попробовал было тоже окунуться в общий поток веселья, но при первом же своем появлении он становился средоточием, вокруг которого собирались ликующие толпы. Мальчишки знали его, а тут он еще вздумал показаться на улице без плаща и капюшона, и его красные ноги предстали для всеобщего обозрения во всей своей неподобной длине. Его, точно идола, окружила толпа поклонников, молодежь стала водить вокруг него хороводы и славил на радостях песнями. Миккель поспешил убраться подобру-поздорову и схоронился на кладбище возле церкви святого Николая. Там он провел почти весь день; сыскав среди могил укромное местечко, он залег в густой траве, чтобы всласть понежиться на теплом солнышке. Тихо было вокруг, попискивали птички, в воздухе мелькали мухи. Из оконного проема в колокольне броском вылетел коршун и поплыл по небу куда-то вдаль. Миккель бездумно валялся на спине, глубоко утонув среди высоких трав и лопухов. Сорвав стебель высокого растения, качавшегося у него над головой, он увидел проступившие на изломе капельки желтоватого сока, тогда он стал обламывать и сосать молодые побеги, вертел в пальцах сорванные травинки, и время целительно текло над его головой. Вокруг продолжал жить своей жизнью город, издалека до Миккеля доносились радостные возгласы. Наконец смерклось, и Миккель, крадучись, выбрался за городские ворота и пошел подкормиться у простодушных деревенских жителей. Но за едой он ни на мгновение не забывал, что каждый проглоченный кусок добыт обманом, поскольку он уже не школяр.

И вот он стоит в тишине прохладной ночи. Город утомился, и среди общего покоя один лишь Миккель не прекратил неусыпного бдения, словно неумолкаемый шум, который гудит в ушах, когда улягутся все другие звуки. Благоухали душистые сады, окропленные ночной росой. Было совсем светло, взошел месяц, и на востоке небо над садами посветлело.

На улице слышались шаги, кто-то держал путь в эту сторону. Миккель сперва решил, что это идет сторож. Но скоро до него донесся звон шпор. Миккель не хотел, чтобы его застали у Менделева дома, он вышел из тени и небрежной походкой двинулся по мостовой. На перекрестке возле Эстергаде прохожий нагнал его, шаги ускорились и чья-то рука с размаху опустилась Миккелю на плечо. Миккель обернулся и, к своему удивлению, увидел перед собой Отто Иверсена: «Значит, и он меня признал? — мелькнуло у Миккеля. — Что будет дальше?»

— Добрый вечер, — негромко поздоровался с ним молодой барин и по-приятельски просто спросил:

— Никак Миккель Тёгерсен?

— Он самый.

— Мы ведь недавно встречались с вами в одной компании в Серритслеве. Да и после еще видались. Вышли подышать воздухом на сон грядущий? Погода и впрямь чудесная. Я вот не знаю...

Все это он произнес приглушенным голосом как-то очень задушевно, словно человек, долгое время пробывший в одиночестве. Он остановился, смущенно наклонив голову, тусклый ночной свет коснулся своим мерцанием рукоятки кинжала у него на поясе.

— Да, в такую погоду и спать жалко, — согласился Миккель.

— Вы не могли бы... раз уж вы решили подышать свежим воздухом, так, может быть, мы прогуляемся вместе?

Миккель не имел ничего против, и они зашагали по Эстергаде к центру города.

— Ведь я в Копенгагене ни с кем не знаком, — заговорил снова Отто Иверсен, — во всяком случае, из датчан.

— Неужели? — отозвался Миккель. — Но, впрочем, в этом, наверное, нет ничего странного.

Затем оба умолкли и в молчании дошли до церкви Богоматери.

— Хм! — откашлялся, прерывая молчание, Отто Иверсен. — Не хотите ли зайти ко мне на квартиру, мы бы выпили вместе по чарке вина. — Тон его несколько отличался от прежнего, он стал холоднее и казался немного раздраженным.

У Миккеля не было особой причины отказываться от приглашения, и они направились к дому на Вестергаде, в котором квартировал Отто. Двери были заперты.

— Если начнем стучать, то перебудим весь дом, — словно беседуя сам с собою, произнес Отто Иверсен. — Но у меня припасен кувшин меду на конюшне.

Они пересекли освещенный луною двор и остановились перед большим сараем с косой крышей. Отто Иверсен толкнул дверь.

— Это я, — успокоил он денщика, вскочившего с соломенного ложа. — Засвети-ка нам свечку. Зажигая свечу, денщик косился на Миккеля. Конюшня была просторной, но только одно стойло было занято лошадью, Отто Иверсен подошел к ней, потрепал по шее, что-то поправил.

— Ты ложись, — сказал он денщику, а сам, покопавшись в углу, вытащил большую деревянную кружку, открыл крышку и заглянул внутрь.

— Я все больше тут и сию, на конюшне... Присядем, что-ли, на корыто? В кружке осталось меду,

дно у нее широкое, так что нам хватит. Прошу вас!

Миккель приложился; мед был крепок и соблазнителен на вкус; едва отпив, Миккель почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло.

Вслед за Миккелем и Отто сделал изрядный глоток из кружки; выпив, они молча посидели рядом на корыте. Денщик снова завалился на солому и уже крепко спал. Лошадь ткнулась губами в ясли и начала тихонько жевать. Светил вставленный в настенный шандал свечной огарок. Вокруг стояла гробовая тишина. В открытую дверь виден был двор, белый от лунного света, словно от свежеевыпавшего снега. Время уже было за полночь.

Миккель украдкой поглядывал на Отто Иверсена, он все больше и больше дивился на него. Но лицо Отто Иверсена не выражало ничего, кроме глубокой задумчивости; сжав губы, он неподвижно уставился в землю перед собой.

— Что-то здесь душно стало, — очнулся наконец Отто. — Пойдемте-ка лучше на улицу. Только сперва давайте еще выпьем.

Опорожнив кружку, они вышли, и Отто Иверсен затворил за собой дверь. Скоро они были уже на окраине, возле городской стены, и пошли вдоль нее направо, не прерывая молчания.

Но Отто Иверсену невтерпеж стало молчать:

— Ох-хо-хо! — вздохнул он вдруг шутливо, и Миккель, обернувшись, увидел его запрокинутое навстречу лунному свету улыбающееся лицо. — Вот мы гуляем с вами, радуясь майскому теплу, а через две недели может вдруг случиться, что ничего не станет — ни тебе лунного света, ни вообще ничего!

Миккель от неожиданности так и уставился на молодого воина, который на всем ходу остановился, точно споткнувшись, и вздрогнул, как от внезапного озноба.

— Думаете, я испугался перед походом? — бросил Отто Иверсен и зашагал дальше. — Вряд ли вы так подумали. Но вот скажите-ка мне... ведь вы, может быть, женаты, а если нет, то у вас, наверно, есть невеста?

— Не... нет, — пробормотал совершенно оторопевший от такого вопроса Миккель и даже замотал головой.

— Ну так попробуйте представить себе, что вы помолвлены с девушкой и вам предстоит идти в поход. Я сам помолвлен. И дома у меня осталась девушка, перед расставанием она обещала, что если понадобится, будет ждать меня долго, сколько бы ни пришлось.

Миккель слушал, не смея шелохнуться, так ему было неловко от смущения и мучительной напряженности, которую он угадывал в Отто Иверсене.

— Ее зовут Анна-Метта, — произнес Отто совсем тихо немного спустя. И снова они шли в молчании. Но когда Отто Иверсен опять заговорил, голос его звучал тепло и размягчено, оттого что он выговорил ее имя:

— Я родился в Ютландии, в небольшом поместье на берегу Лимфьорда. — От волнения ему пришлось прокашляться и подождать, пока голос обретет обычную твердость. — Отец мой умер много лет тому назад, поместье перешло к матушке. — Он смущенно помедлил, очевидно раздумывая, продолжать ли дальше.

Миккель подумал, что и ему следовало бы, наверно, рассказать о себе. А впрочем, надо ли? Ведь он однажды уже избавил Отто Иверсена от неловкости тем, что промолчал. И Миккель смолчал и на

этот раз.

Они проходили мимо Северных ворот. Часовой с алебардой прохаживался взад и вперед, при их появлении он остановился и проводил двоих полуночников подозрительным взглядом.

— Я знал... мы были знакомы с нею больше пяти лет, — продолжал Отто Иверсен. — Я был тогда совсем еще мальчишкой. Матушка ничего об этом не ведала. Все вышло так странно. Я очень любил кататься по реке на парусной лодке и спускался по течению до самого взморья. А ее дом стоит там на берегу, отец у нее рыбак. Тут я и увидел ее в первый раз. Ей было четырнадцать лет, почти уже взрослая девушка, а потом я еще не сколько раз видел ее. И так случилось, что однажды мы вместе удили рыбу в устье реки — она иногда соглашалась со мной покататься.

Отто Иверсен помолчал, ему надо было сперва отдышаться. Миккель и сам прекрасно знал этого рыбака, это был Йенс Сивертсен. И с Анной-Меттой он раньше встречался чуть ли не каждый день, но тогда она была совсем еще девчушкой. У нее были светло-русые волосы, она была румяна и белокожа, как все ребяташки. Однако... к чему юн все это рассказывает?

— И вот мы с ней оглянулись и видим, что нас унесло далеко от берега! — продолжал Отто Иверсен с нескрываемым волнением. — Я, конечно, уже видел, что под нами стало глубоко, но как-то особенно не задумывался, потому что мы смотрели только вниз, на воду. Нас сносило в море. Тут я схватился за шест и давай шуровать, чтобы к берегу толкаться, а дна уже не достать.

Отто нервно покивал головой.

— А тут и береговой ветер поднялся. И ни души вокруг — Йенс Сивертсен, рыбак-то, жил на отшибе, да и все равно его в тот день не было дома. Ну, что нам было делать? У нас с перепугу точно язык отнялся, надо звать на помощь, а мы не можем. Но тут я вижу, что дело плохо, нас относит все дальше и берег уже далеко, я и давай кричать, пока не выбился из сил, а потом оба начали плакать и голосить. Лодка раскачивалась и черпала воду, потому что мы от отчаяния заметались по ней взад и вперед. Просто чудо, что мы тогда не перевернулись и не свалились в воду, я даже и плавать еще не умел — батюшка умер, когда я был еще маленький, вот я всему поздно и выучился. Под конец мы уж устали вопить и биться, как припадошные, — ума-то у обоих не больно много тогда было, — сели мы каждый на свою скамейку и уж только плакали. Раз или два, взглянув назад и видя, что земля все дальше исчезает из вида, мы опять принимались выть в голос, пока не выдохлись до полного изнеможения. Опасность над нами нависла страшная. Временами мы, кажется, задремывали, совсем уплакавшись. Одним словом, несет нас и несет все дальше и дальше от берега. Ну а в конце концов нас прибило на другой стороне возле Саллинга.

Тут Отто Иверсен тяжело перевел дух.

— В тот же день тамошний рыбак перевез нас обратно. А потом прошло еще четыре года, и тогда мы дали друг другу обещание, что поженимся. Это уж было весной! Но с тех пор-то мы с ней оба давно уже стали взрослыми.

Он умолк. Они вышли на открытое, освещенное луной место под городской стеной. Отто Иверсен указал рукой на большой камень:

— Давай сядем и посидим немножко.

Присели. Отто Иверсен еще не до конца выговорился, он задумался. Миккель не знал, что и сказать, глядя, как Отто Иверсен от смущения ковыряет пальцем разрез на штанине. «Между ним и мной нет никакой разницы, у нас все одинаково — что один, то и другой, прости господи!»

— А мне не позволяют на ней жениться, — произнес после долгого молчания Отто горестным тоном, как бы в упрямой задумчивости. — Матушка уперлась и ни в какую — дескать, невеста мне не ровня. И не видать мне поместья, если сделаю по-своему. Тут прошел слух, что король готовится к войне, и я подумал — ладно, пойду хоть в простые солдаты, какой ни на есть, а все-таки выход. Вот Отто Иверсен и высказал то, что можно было сказать словами. А остальное: безумную тоску по девушке, чье имя он едва решался произнести, горячку, которая поселилась в его крови, — все это Миккель угадал без слов, симпатическим сочувствием.

— Кто знает, что уготовано нам Фортуной, — промолвил Отто Иверсен усталым голосом.

Он сидел понуро, свесив между колен сложенные руки.

— Усадьба у нас старая и запущенная, — продолжал он осевшим голосом. — Куда ни посмотри — все худо!

Его передернуло, словно от внезапного озноба, и он громко зевнул:

— Пойдем, что ли!

Они встали и пошли. Месяц в небе уже побледнел, недолго оставалось до восхода солнца. В этот предрассветный час над городом опустилась тонкая розоватая дымка тумана. Глядя на Отто Иверсена, Миккель понял: тот уже пожалел, что слишком разоткровенничался. Он поскорее простился, и они расстались.

Идти Миккелю было некуда. Он улегся спать в своем уголке на кладбище. Было уже достаточно светло. И когда солнечные лучи прынули на город, его сморил сон.

#### УНИЖЕНИЕ МИККЕЛЯ

В полдень на кладбище пришел могильщик и нашел в траве среди бурьяна долговязое неподвижное тело. Он подошел поближе, ожидая увидеть покойника; но человек просто спал, веки его подрагивали встреч солнцу.

Миккелю снилось, что он подымается на высокую крутую гору, он брел, по колено проваливаясь в глубоком рыхлом снегу. Но взобравшись до самой вершины, он сел: дальше идти не стало мочи. Высоко над его головой тропа сворачивала налево и круто спускалась вниз, но прямого пути не было, и чтобы добраться до этого места, пришлось бы сперва обогнуть еще раз всю гору. Он отказался от борьбы и сидел теперь, увязнув по колено в снегу, и все для него было кончено. Вверху на тропе бушевала снежная выюга; сыпучий снег, которым была покрыта гора, весь взметнулся вверх, словно туча. По тропе спускалась вереница девушек в черных плащах, с яростным весельем они пробивались сквозь снежные вихри, ветер развеивал их черные плащи и временами между складок проглядывало покрасневшее от мороза тело. Они все шли и шли, спускаясь вниз бесконечной чередой, одни улыбаясь, другие хохоча. Все походило на Сусанну, однако Сусанны среди них не было.

Солнце перевалило далеко за полдень, когда Миккель наконец проснулся; он отчетливо помнил свой сон и был им встревожен. Что-то говорило Миккелю: ему никогда не суждено приблизиться к Сусанне, хотя он и знал в душе, что Сусанна — его судьба. «Не к добру это», — подумал Миккель, полный тоскливого предчувствия. Злосчастье осенило его своей тенью, а ведь он, загадывая о будущем, предвидел для себя больше счастливых услад, нежели дано изведать большинству людей. И вдруг, словно смутное печальное предвидение, ему открылась мысль, что он умрет от собственной руки.



За городской стеной, неподалеку от Западных ворот, возле места, где казнили преступников, находилась глубокая яма, в которую скидывали падаль. Сейчас, в летнее время, она почти всегда была до краев полна тумана, который не давал разглядеть лежащие внизу трупы. С ближнего к дороге края хозяин ямы, живодер, выставил шест с надетым на него лошадиным черепом — в виде предостережения прохожим. Миккель частенько захаживал сюда — он предпочитал проводить время на кладбище или возле виселицы, подальше от людей; здесь по крайней мере никто к нему не приставал. Постепенно Миккель так привык к лошадиному черепу, что стал испытывать к нему какое-то дружеское расположение; словно он сам знал нечто такое, что было сродни бессильной мертвой кости. Череп смотрел перед собой, оскаля широко раскрытую пасть, из которой, казалось, неслоь непрерывно безмолвное ржание преисподней, пустые глазницы светились, оскал зубов напоминал о нестынувших печах Сатаны, и даже нос костяного вместилища зла торчал грозно, точно колющее острие. Но Миккель втайне был дружен с черепом.

Однажды вечером Миккель застал там живодера, занятого своим делом, он обдирает околевшую клячу-хельмиссу [HYPERLINK "#c\\_7" {7}](#). Миккель заговорил с живодером, но тот еще долго не обращал на него внимания. Йерк был не из болтливых. Неподалеку стоял и его домишко. Но в тот вечер Миккель поужинал за столом у живодера кониной. С того раза он нет-нет да и навещался в гости и помогал Йерку в его работе. В замкнутости живодера чувствовалась рассудительность, и Миккель считал его своим приятелем.

Однажды, обдирая вдвоем с Йерком шкуру с палой лошади, Миккель с ножом в руке впал вдруг в глубокую задумчивость, он долго просидел в оцепенении, прежде чем очнулся.

Ему тогда вспомнилось, как в свое время захворала лошадь у Андерса Гро, видно было, что ей уж не оправиться. Дело было по соседству, когда Миккель еще жил в отчем доме. Андерс Гро захотел сам порешить животину, он выстрелил ей из арбалета прямо в лоб, и как только стрела вонзилась, лошадь рухнула и уткнулась мордой в снег. Земля забрала сначала голову, а потом, когда обмякли поджилки, вслед за нею начало оседать остальное тело. Да, да... С землей-то не больно поспоришь, хоть она и помалкивает. Она дает нам отсрочку, и мы, на радостях, чем веселей бываем, тем резвее скачем по ней вприпрыжку. Но все живые существа созданы противно природе и наперекор закону тяготения; а человек и вовсе оторвался всем передом от земли и, посмеявшись над тяготением, отказался от лишней пары ног. По воле божией все живущее тучнеет, дабы тем страшнее было его неминуемое падение, ибо Бог и Сатана — едины в двух лицах. Но земля...

И узрел Миккель у себя под ногами лежащего на земле беспомощного новорожденного младенца, представив себе этот образ со всей отчетливостью. Он лежал на спинке, скорчившись в комочек, словно в материнском чреве. Но вот дитя на глазах начинает расти с такой быстротой, что невозможно уследить за его превращениями во всех подробностях. Вот уже блеснули зеницы, и Миккель встретил осмысленный взгляд: распрямившись, вытянулись вдоль туловища тонкие белые руки, и ноги уже выросли и стали длиннее. Вот лик омрачился заботой; вот порхнула по нему улыбка, жестокая радость, страх, смятение, а руки уже потемнели, большие и погрубевшие.

Стоящему в ногах и смотрящему на тело от пяток к макушке видно, как темной порошей высыпала вокруг подбородка пробивающаяся борода и как чело укрупнилось страданием. Смотри, уже зрелый муж пред тобою, вот на мгновение он замер, словно углубившись в себя; еще миг, и он состарился. Поседела борода, поредели волосы, торчком выпятились костлявые коленки. Кругом побежали

морщины, усохла под кожей плоть — и вот уж охвачена дряхлость убогою черною рамкой, мелькнуло перед глазами зрелище желтых костей, тут крышка захлопнулась, посыпалась с краев земля, и все скрылось под нею.

О, земля возьмет свое, свалит с ног и уложит в растяжку на своей поверхности. Достаточно тебя где-нибудь продырявить, и не успеешь глазом моргнуть, как ты уже брякнулся, точно мешок костей, рухнул наземь, как подгнивший столб.

...После того как Андерс Гро застрелил свою лошадь, за нее принялся живодер и стал разделывать на снегу конскую тушу, а Миккель стоял рядом и глядел на его работу.

В ясном небе сиял месяц, занималось морозное утро. Под слабым лунным свечением, лившимся с запада, на много миль раскинулась снежная равнина, далеко вокруг голубели снега, а холмы заливала такая белизна, что нельзя было различить, где начинается белое сияние, а где кончается покрытая снежным саваном земля. Стоял такой мороз, что даже снег скрипел под ногами, пальцы ныли от холода, словно обожженные едкой кислотой. Но по равнине медленно сползала река и чернела вода, незаконно живая среди скованных мерзлотою пространств.

Живодер опрокинул лошадь Андерса Гро кверху брюхом и начал потрошить. Широко разлилась бурая лужа крови и постепенно стала просачиваться в снег, розоватая пена на ней быстро заledenела. С каждым взмахом ножа из лошадиного нутра вываливались новые краски, плоть полыхала красным и синим. И надо же, отрезанные куски еще шевелились и вздрагивали от прикосновения морозного воздуха; подхлестнутые стужей, словно змеи корчились и извивались перерезанные мускулы. Показалась на свет продолговатая трахея, коренные зубы проступили наружу, словно строчки таинственного письма. Появилась нежная розоватая пленочка, испещренная узором голубых жилок, словно с горных высот открылось зрелище многоводной страны, пересеченной множеством рек. Когда живодер вскрыл лошади грудь, взору предстало подобие пещеры, с потолка свисали большие голубоватые пленки, из мелких дырочек на густо покрытых прожилками стенах сочились каплями бурая и черная кровь, сверху донизу тянулись сталактитами жировые потеки. Коричневей печени ничего не бывало на свете, вот показалась сизая селезенка, подернутая дымкой, словно небо — Млечным Путем. И было там еще много других диковинных красок: и сине-зеленые внутренности, и багровые, и охристо-желтые куски.

Все роскошные, резкие краски Востока: желтизна египетских песков, небесная лазурь долины меж Евфратом и Тигром — вся бесстыдная яркость аравий и индий пышными цветами расцвела на снегу, пролившись из-под грязного ножа живодера.

## ПАДЕНИЕ ОТТО ИВЕРСЕНА

По мере того как становилось теплей, в Копенгагене прибывало разного люду. Съезжались призванные на королевскую службу вассалы со своей свитой и располагались на постой, что ни день в город стекалось все больше мужиков, город задыхался в горячке военных приготовлений. Таков был ход вещей вопреки отсутствию настоящей необходимости, все это повторялось с удивительным постоянством; близясь к зениту, каждое лето вызывало, в силу своей беспокойной природы, кучное роение человеческих толп. Повинуясь закону поспевающей ржи, каждый год мужики снимались со своих мест и влеклись в Копенгаген, заполняя город, каждый год на ступеньках его восседали кучки простых мужиков, и каждый, косясь на соседа, ревниво прижимал к себе котомку с едой. И вот извлекаются на свет огромные перемятые и передавленные за долгое

время пути ковриги, испеченные на хуторах под Рингстедом[HYPERLINK "#c\\_8" {8}](#) или возле горы Химмельбьерг[HYPERLINK "#c\\_9" {9}](#). Бок о бок здесь поглощают длинную и пятнистую камбалу из Блованнсхука[HYPERLINK "#c\\_10" {10}](#) и зеландского копченого угря. Рейтары, немецкие ландскнехты, датские помещицЫ сынки мельтешат на улицах с утра до поздней ночи — стоит июнь, месяц всеобщего роя, корабли уже готовы к отплытию, об эту пору король всегда идет воевать Швецию.

Вечер, канун выступления королевского войска; Миккель Тёгерсен наклоняется, чтобы поднять с земли брошенный кем-то ошметок сала; неподалеку ему попала шкура от кровяной колбасы. Он пришел в город по делу, за пазухой у него приготовлена записка, составленная давеча утром.

Проходя мимо высокого крыльца, Миккель невзначай схлопотал хлыстом по шее — некто прилично одетый как раз вышел из дверей подышать свежим воздухом, а Миккель возьми да подвернись ему под руку. Вдогонку он еще и выругал незадачливого прохожего. Что поделаешь! Миккель втянул голову в плечи — удар пришелся по чувствительному месту на самом позвоночнике. Он прошел еще несколько шагов; как знать, может, то было ниспосланное ему предостережение, чтобы он отказался от задуманного. Но тут он неожиданно повернул назад, схватил обидчика за лодыжку и с силой дернул вниз, тот так и шмякнулся, повиснув между столбиками перил, и с громким воплем упал без сознания. Миккель дал дёру и скрылся за углом.

— Эй, держи его!.. Вот он! — раздалось с противоположной стороны улицы. — Вот я тебя сейчас! Крик, шум! За Миккелем по пятам гналась погоня, но он бежал и бежал, не останавливаясь, пока, перескочив через ограду, не очутился на кладбище. Там он, еле переводя дыхание, растянулся на земле между могилами.

Еще не успело стемнеть, и Миккель не думал ни о чем, кроме колбасной шкуры, которую он подобрал на улице; он достал ее и стал насыщаться. Прежде Миккель еще никогда не бывал на кладбище ночью, до сих пор он приходил сюда отсыпаться днем. Темнота все сгущалась, он озирался по сторонам; теперь его, разгоряченного, заколотило в ознобе — он скорее лег, уткнувшись головой в гущу трав.

Прошло немного времени, и вдруг он услышал над собою какое-то потрескивание — это дьявол над ним склонился и похохатывает. Миккель так и прыгнул вверх, огляделся — ничего, пусто!

Перед ним зловеще чернела, вздымаясь к небесам глыбой сгустившегося мрака, церковь. Миккель трясся от жуткого страха, он снова сел и тут сам нечаянно накликал нечистого — яростно чертыхнувшись, он невольно помянул адские силы. Кругом цепенели в молчании налитые злобой могилы; кресты и каменные надгробья глядели на него с наглой и панибратской усмешкой; вся нечисть, незримо затаившись в злорадном торжестве, со всех сторон окружила Миккеля и дышала ему в затылок. Он дрожал, метал перед собой грозные взгляды и в горячке шептал имя Сатаны.

Миккель заставил себя глядеть не мигая в одну сторону и так просидел некоторое время — смертельный страх ввел его в соблазн предать себя беззащитного во власть адских сил, которые теперь безнаказанно бушевали у него за спиной. Коли сейчас обернуться, позади окажется мерзкая образина, беззвучно возникшая из-под земли; доведенный страхом до иступления, он обернулся навстречу предельному ужасу, но там ничего не было. Зубы у него стучали, отбивая дробь. Настанет неминуемый миг, когда он будет корчиться, бессильно борясь с навалившимся зверем. Без слов, без объяснений зверь вздымает над его головой мерзкую лапу и наставляет острые пальцы — Миккель

еще успевает подумать, неужели нет какого-нибудь средства против проклятой черной силы, против этих когтей, нацеленных в его глазницы! Нет! Ах, нет! И нечистый погружает два наостренных перста ему прямо в очи! Ах! Опять. Теряя разум, он стоит на коленях, с запрокинутой головой. Ах! Нечистый вонзает ему в очи свои острые когти.

Долго еще Миккель вызывал на бой трусливые адские силы: «Выходите! Вот я!» — и натерпелся большего страха, нежели отчаянный воробей, который, защищая своего птенца, бросается навстречу ощеренной собачьей пасти. Но зловещий мрак, как видно, решил известить его своим молчанием. Все кресты на могилах стояли тихо и спокойно, словно храня неисчерпаемую казну ужаса и вечного мрака, которая приумножается процентами и процентами от процентов; самый воздух вокруг душил Миккеля тяжким гнетом ядовитого глумления, тьма подкрадывалась исподтишка, язвила его сзади. Никто открыто не откликался, потайная жестокость не желала его прикончить и положить конец мучениям.

— Эх, была не была, катитесь-ка вы к чертям собачьим! — Миккель выругался для храбрости и снова улегся как ни в чем не бывало. Он пощупал рукой за пазухой, на месте ли его записка. Но его уже одолевали сомнения. По натуре своей Миккель был язычником; он сам да и весь его род не усвоили за протекшие века от религии ничего, кроме богохульных ругательств — дескать, кто его знает, есть ли во всем этом хоть какой-нибудь смысл?

Однако ему было жутко, волнения изнурили его; прождав до полуночи, он натерпелся таких страхов, что горел, словно в лихорадке. Он обливался холодным потом, каждый волосок на его груди взмок, вдобавок с перепугу у него так схватило живот, что пришлось безотлагательно удовлетворить природную потребность.

А время еле ползло, становилось темней и темней. Тишина сгущалась. Все вокруг менялось незаметно и необратимо, как в смертный час. Воздух цепенел от малейшего звука. Ужас встал в воздухе, запрокинув окаменевший лик с широко разинутым ртом.

Когда с колокольни наконец-то пробило двенадцать раз, Миккель был совершенно болен и едва нашел в себе силы подняться. Он уже отчаялся в своем предприятии, как в невозможной и бессмысленной затее. Но и разуверившись в ней, решил все-таки, несмотря ни на что, привести задуманное в исполнение. Миккель крадучись приблизился к дверям церкви с обрывком пергамента в руке, на котором он начертал заклинания. Он нагнулся к замочной скважине и тут же отпрянул, потому что в глаз ему ударила струя холодного воздуха. Но он, не мешкая долее, дунул в отверстие и трижды постучал согнутыми пальцами в дверь, произнес все титулы и звания нечистого.

Сатана затаился и не показался Миккелю.

Пристыженный Миккель тяжело вздохнул и поплелся прочь.

\* \* \*

А в полдень того же дня случилось так, что Отто Иверсен, проходя по Пилестреде, увидел дочку Менделя Шпейера. Он шел, погруженный в свои мысли: назавтра предстояло выступить в поход. Ах, Анна-Метта! Как-то живет-ся Анне-Метте, как-то там ее чудная русоволосая головушка? И тут он увидел Сусанну. Он прошел мимо, точно и не заметив.

Вечером Отто Иверсен сидел в конюшне подле своего скакуна. Все снаряжение было у него в порядке, все приготовлено. Больше, как будто, и делать нечего; а сердце так и щемит, горло сжимается от тоскливого одиночества, и покой не идет на ум. Он промаялся допоздна, а горячая

кровь все кипела и не унималась.

Отто Иверсен вышел на улицу и побрел куда глаза глядят, ноги занесли его на Пилестреде, он очутился рядом с садом, где недавно мельком видел какую-то черноволосую девушку. Он сердито тряхнул забор, выломав две штакетины, залез в сад и напролом, словно молодой олень, ринулся через кусты. Слева послышался тихий возглас, и он услышал убегающие шаги, впереди метнулись развевающиеся складки женского платья; он бегом, не разбирая дороги, по траве, сквозь кусты — за ней; не зрением, а скорее чутьем угадывая, куда надо бежать, он обогнул вставшее на пути дерево и поймал беглянку.

Он тут же и выпустил ее, руки сами разжались. Оба замерли на месте, он даже не различал ее отчетливо, но слышал ее быстрое дыхание. Внезапно распрямилась придавленная ветка и обмахнула его по лицу прохладной бархатной листвой.

Девушка вдруг сделала торопливое движение, словно собиралась убежать.

— Нет, — пролепетал Отто молящим, жалким голосом и порывисто протянул к ней руки, с обеих сторон загораживая ей дорогу.

— Что? Что? — зашептала она осевшим голосом. Затрепетала, вытянулась на цыпочках.

Отто видел ее, хотя и не мог хорошенько разглядеть в густой тени дерева. Тогда он прикоснулся правой рукой к ее волосам, они были влажны от росы и холодили ладонь. И он страдальчески вздохнул. Потом убрал руку и тихонько спросил:

— Как тебя звать?

— Сусанна, — прошептала она в ответ, еле переводя дыхание.

В тот же миг она отскочила в сторону, наткнулась на дерево, шмыгнула за его ствол и скрылась. В кустах прошумело, они сомкнулись за ней, ветки еще покивали, и вот уже все смолкло.

Отто Иверсен посмотрел в вышину. Высокий свод летних небес вздымался над садом, смиренно мерцали звездочки. Справа и слева торчали зубцы двух покатых крыш. Она исчезла! Медленно, со сдавленным сердцем Отто побрел прочь из сада. При каждом шаге из травы поднимался вверх сыроватый запах земли и растений. Нет, не мог Отто так сразу уйти из сада. Он обошел вокруг зарослей кустарника, выбрался на дорожку и по ней пришел к повислой бузине, ветви которой шатром спускались в сад.

Там она и спряталась. Отто ее отыскал; водя по воздуху вытянутыми руками, он нашарил ее волосы. Она не проронила ни звука, а только втянула голову в плечи; она вся дрожала с головы до пят. Отто опустился на колени и хотел ее обнять, но она упрямо отстранялась и пряталась от него в густой листве. Отто на коленях полз за нею, пока не наткнулся на край стола, стоявшего внутри естественной беседки.

— Сусанна, — шептал он, — Сусанна.

Повторяя ее имя, он успокаивался. Она проворно вскочила. Но он удержал ее, обхватив обеими руками вместе с юбкой ее колени.

— Кто ты? — спросила она, трепеща.

Вместо ответа он засмеялся тихим, потерянным смехом, он ощутил тепло ее тела; на ней было платье из толстой и суровой ткани, но он почувствовал, как от этого прикосновения счастье прихлынуло к его рукам. От восторга он обхватил ее за талию и притянул к себе и заставил тоже опуститься на колени; осторожным касанием он нежно дотрагивался до ее волос и разгоревшихся щек, стараясь

повернуть к себе лицом. Наконец ему это удалось, но она его перехитрила и мгновенно отвернулась уже в другую сторону. Отто снова стал поворачивать ее круглую непослушную головку, она неожиданно поддалась и тут же отвернулась в другую сторону и опять спрятала от него лицо.

— Нет, нет, — говорил Отто восторженным шепотом. Он уже настаивал на своем праве и силой привлек ее к себе, но она упиралась коленками и локтями, он вытянул шею и успел ее врасплох поцеловать. И еще раз поцеловал, но ощутил под своими губами крепко сжатый и жесткий маленький рот... Но вот она медленно, точно потянувшись, расслабла, добровольно подчиняясь ему, и он почувствовал, что держит ее в объятиях, смиренную, исполненную робкой страсти. И он опять поцеловал ее в уста, и вдруг они дрогнули и раскрылись навстречу его поцелую, точно розовый бутон. Смущаясь, Отто проглотил подкативший к горлу комок. И снова он целовал Сусанну, но, встретив ответный пыл, вдруг почувствовал, что не хочет его разделить, и с тоскливым чувством погрузился, отстраняясь, в прохладную листву бузины. Но Сусанна прильнула к его груди, он чувствовал ее голову возле своей шеи.

Так они просидели много времени. Тихо было в городе. Пробило полночь, гулко лился густой колокольный звон.

— Завтра нам идти в поход, — сказал Отто Иверсен.

Это не было каким-то несчастьем, и не оттого, верно, Отто с тяжким вздохом приподнял со своего плеча головку Сусанны.

— Ты о чем-то горюешь? — спросила Сусанна.

— Что? — переспросил он певуче и звонко. И затем, после долгого молчания, поникшим и тусклым голосом отозвался:

— Да.

Сусанна покусывала и покрывала поцелуями костяшки его пальцев. Отто услышал шаги за оградой и на мгновение настороженно прислушался — шаги замерли, и он про них забыл.

А это был Миккель Тёгерсен, он остановился по другую сторону зеленой завесы. Дойдя до ограды, он сразу заметил пролом и стоял, не сходя с места, пока над спящим городом не пробило час ночи. Тут из-за листвы вышла парочка, и Миккель узнал Отто Иверсена. Миккель видел, как они выбрались из кустов и скрылись в одичавшем саду, где покосившиеся ветхие деревья возвышались среди благоухающих зарослей, словно существа, пришедшие из седой древности, они как попало топорщили корявые ветви, как будто, запутавшись в накопленной мудрости, уже и сами не знали, куда направить указующие персты.

Отто взошел по лестнице в девичью светлицу Сусанны, она сама привела его за руку. Свет летней белой ночи свободно вливался в окошко, и здесь Отто разглядел девичью красу Сусанны; она была бела, как снег, и черна, как вороново крыло, словно бы в ней соединились день и ночь, он узрел перед собой дитя неведомых солнечных стран: перед его взором ослепительная белизна переходила в золотисто-смуглые оттенки, словно прежде, чем вырасти и побелеть, она вся была покрыта загаром. И в крови ее, казалось, соединились день и ночь, невинность и страсть — Отто склонился перед нею, ослепленный ее пламенем, и, оробев, замкнулся, вспоминая Анну-Метту, но чем сильнее завладевала им смертная тоска, тем жарче пылала Сусанна — горячим чувством, восторгом и страхом, она была счастлива своим потаенным мучением, и она любила его за то, что он молчал и что взор его был преисполнен непонятного отчаяния. Трижды она, вся светясь нежностью, обольщала его своими

юными, золотисто-смуглыми персями, и трижды он отшатывался от нее, как будто ему грозила смерть. Пока наконец, раздавленный и плача невидимыми слезами, не заключил ее в свои объятия.

\* \* \*

Внизу на улице раздался протяжный клич ночного сторожа:

— Четыре часа пробило!

Далеко-далеко прорезал белесую, утреннюю мглу звук трубы. И тут Отто Иверсен опрометью бросился вон. Выскочив из сада, он налетел на сторожа и выслушал его сварливые, по-утреннему трезвые назидания. Он помчался дальше. Утро вставало туманное. Чу, во дворах, за закрытыми воротами бьют копытами кони по булыжной мостовой, всюду идут последние сборы.

То здесь, то там пробивается через дверную щель полоска света, негромко бряцает оружие, среди комнаты при зажженных свечах облачаются в свои доспехи воины... Отто Иверсен бежал, не разбирая дороги, торопясь на свою квартиру. Ему не терпелось сейчас же, не откладывая, умчаться куда-нибудь на край света, забыться, окунувшись с головой в драку и в шум битвы, ему хотелось вытравить из сердца то, что он совершил, — забыть, забыть. На бегу он невольно зажмурился, ибо перед глазами у него неотступно стояла она — та, что так пылко приняла его в свои объятия; он все еще чувствовал ее волосы на своих волосах. О, как крепко, как крепко она прижимала к сердцу его голову — а он втихомолку плакал на ее груди... При мысли об этом Отто сделал такой скачок, что подпрыгнул вверх на аршин, как будто пораженный в грудь вражеской пулей. В смятении он бежал по мокрым от утренней росы улицам.

Полуослепленный, Отто Иверсен заблудился, его занесло в какой-то узкий переулок, он замедлил бег и, дав волю душившим его слезам, зарыдал в голос. Нестерпимая мука, казалось, вот-вот убьет его, и он припустил еще скорее. Тут перед ним блеснул в тумане тусклый свет, он лился из освещенного оконца убогой лачуги. И как дитя, которое, наплакавшись и натосковавшись, принимается колупать стенку, Отто Иверсен приткнулся к окошку и заглянул в треугольный просвет между рамой и занавеской. Он увидел неприбранную комнату с низким потолком. Возле окна, спиной к нему, стоял человек, склонившийся над стулом, на стуле сидела молодая женщина; Отто Иверсену видны были только ее розовые рукава и руки. Человеческие фигуры заслоняли горевшую на столе свечу. В тот миг, когда Отто заглянул в окошко, человек в комнате как бы исподтишка занес правую руку, левая, кажется, лежала на лбу сидевшей на стуле женщины, и — господи Иисусе! — одним широким и плавным движением он перерезал женщине горло, послышался придушенный, булькающий всхлип. Мужчина перехватил нож поудобнее и всадил его в грудь своей жертвы; не вынимая ножа, он в тот же миг надавил коленом на спинку стула и опрокинул его вместе с убитой женщиной на стол. Свеча погасла.

Отто Иверсен схватился за голову и, как безумный, выпуча глаза, повернулся и отскочил от окошка. Затем он помчался, что было духу, и прибежал наконец, без шляпы, с растрепанными, развевающимися по ветру волосами, к себе домой. В совершенном отчаянии он ввалился в конюшню, где стояла его лошадь.

## ВЫНОС КАМНЕЙ ИЗ ГОРОДА

На другой день войска уже не было в Копенгагене. Король Ханс[HYPERLINK "#с\\_11" {11}](#) со своими вассалами, с ландскнехтами и мужичьем, со знаменами и шпорами, с мушкетами и съестными припасами в котомках — все исчезли, точно метла прошла по городу. Опустились из

конца в конец улицы, куда ни глянь — ни души; воздух, еще недавно гудевший железным звоном и хвастливым гомоном, притих покаянно. Не опасаясь более немедленного пинка, из всех подворотен повылезали собаки и свиньи и храбро принялись рыться в отбросах, оставленных отхлынувшим войском. И город наконец смог заняться насущными делами, за которыми раньше недосуг было приглядывать. В полдень того же дня виселица позади Западных ворот уже украсилась телами двоих давно созревших для своей участи злодеев, одного крупного и другого помельче. Было начато расследование нескольких преступлений, совершенных в последнюю ночь; между прочим была обнаружена с перерезанным горлом Лотта из Гамбурга, убитая в собственном доме. В эту ночь, как и следовало ожидать, случилось множество происшествий. Не одно, видать, сердце всколыхнулось по своему при мысли о скорой разлуке. Но иных уже и след простыл, а на нет и суда нет.

В разгар дня перед ратушей собралась толпа народу. Там выставили в колоде [HYPERLINK "#с\\_12" {12}](#) двоих — мужчину, который был схвачен на воровстве, и женщину, наказанную за любодеяство. Девка была еще совсем молоденькая и писаная красавица; то была Сусанна — дочь Менделя Шпейера. Ее выследил ночной сторож, застигнув убегавшего от нее на рассвете клиента. Видя, какими недвусмысленными надписями люди украшают угол Менделева дома, он давно стал держать Сусанну на примете — знать, дыма без огня не бывает. Сторож был крив, какой-то повеса выколол ему один глаз во время ночной стычки... Кабы еще Менделева Сусанна была датчанкой и доход от ее промысла шел бы на пользу городу, сторож, конечно, посмотрел бы на ее шалости сквозь пальцы; как бывалый человек, он знал, что нельзя всех стричь под одну гребенку. Но черномазая Сусанна была залетная птичка. Поэтому ее выставили на позор, чтобы каждый мог в нее плюнуть, а после ей, оплеванной, предстояло выносить из города камни.

Народ тесным кольцом окружил колоду, и зрителей все прибывало. Вор был настороже, он так и зыркал глазами вокруг; стоило кому-нибудь подойти слишком близко, он с пеной у рта начинал лаяться и щелкал зубами — ни дать ни взять взбесившийся пес. Даже ноги его, зажатые в колоде, тряслись от ярости. Потом он немного поутих, мышцы на лице расслабились, и на нем появилось выражение глубокой обиды... и в тот же миг он обнаружил пожилого горожанина порядочного вида; тот приблизился, чтобы отпустить какую-то шуточку, и сразу же: «Гав, гав, гав!» — пленник молниеносно зещелкал зубами на все стороны с такой лютой яростью, что подошедший человек так и отскочил в испуге. Народ хохотал, радуясь потехе. А добропорядочного горожанина точно подменили, лицо его приняло жестокое выражение, рот злобно скривился, и, удостоверясь сперва, что стражник не глядит в его сторону, он пнул закованного в колодку пленника ногой в лицо, затем, кинув вокруг себя недобрый взгляд — дескать, видали гадину, — удалился. Вор поморгал, поглядел вслед уходящему свинцовым взглядом, скрипнул зубами, но не подал голоса. Возле крыльев носа на его лице проступили белые пятна.

На приличном расстоянии в четыре дыры от вора сидела Сусанна. Из колоды торчали ее босые ступни; многие при виде этого зрелища испытывали искушение пощекотать эти прелестные ножки. Она была в зеленом платье, на плечи ей накинули дерюгу, закрывавшую руки. Она сидела тихо, не шевелясь, свесив голову на грудь, ее густые черные волосы сплошь были покрыты плевками. В сторонке стоял старенький Мендель Шпейер. На нем был черный еврейский плащ, борода свисала длинными космами вокруг вытянувшегося озабоченного лица, он стоял понурясь и о чем-то переговаривался с чернявым молодым человеком, которого никто здесь раньше не видел. У него



были густые курчавые волосы и крысиные воспаленные черные глазки, он был тощ, как бритва. Это был купец из Хельсингёра; Мендель Шпейер посылал за ним нынче утром.

Тем временем показался Йерк-живодер, он уже приготовил связку из двух камней. Остальное должно было произойти без долгих проволочек. Но не успели вынуть Сусанну из колоды, как ее отец нерешительно и робко двинулся к ней; посмотрев помертвелыми глазами на стражника, он перевел взгляд сначала на башмачки, которые держал в руке, а с башмаков на босые ноги своей дочери и еще раз повторил глазами то же движение. Стражник все так же стоял, опершись на алебарду, и даже не повел мохнатым усом: он не говорил «нет», но означало ли это, что он согласен? Мендель Шпейер замешкался; готовый по первому знаку отступить, он надел башмачки на бедные ножки дочери и неловкими пальцами впопыхах завязал тесемки. Он подал ей руку и помог встать. После этого ему пришлось посторониться.

На грубом мужицком лице Йерка не дрогнул ни один мускул, когда он вешал на плечи Сусанны веревку с двумя камнями. Некоторым при виде камней подумалось, что они маловаты.

Шествие тронулось. Впереди всех шел Йерк, ведя Сусанну. С другого боку ее сопровождал Мендель Шпейер; чуть позади следовал черномазый молодчик, с которым только что разговаривал старик. А за ними повалила толпа честных, добропорядочных граждан — сапожников и рыбаков, школяров, мужних жен и юных девиц. Все они медленно, очень медленно потянулись по кривой улице Виммельскафт, потому что Сусанна еле брела, сгибаясь под тяжестью своей ноши. Всякий раз, как она спотыкалась, Мендель Шпейер невольно протягивал к ней темную костлявую руку, чтобы поддержать, если позволят; лицо его при этом передергивалось от страдания, как под ударом хлыста. День выдался урожайный на забавные зрелища. «Гляньте-ка, добрые люди, вон и Аист вышел размять ноги!» Рыжее пугало вынырнуло из-за церкви Святого Духа, молодежь встретила его появление радостными приветствиями. Но Миккель сегодня не расположен был шутить и отмахивался палкой с железным наконечником; мальчишки, обиженно вопя, разбежались и оставили его в покое. «Гляньте-ка, гляньте-ка, Аист-то усы отрастил! — раздались вокруг восклицания. — Надо же, как ему не терпится посмотреть на девку!»

Когда шествие вывернуло на Рыночную площадь, шум и гам усилился, люди высовывались из окон, выглядывали из дверей. Из одной лавки вдруг выбежал молодой подмастерье, которого очень уж развеселило это зрелище, он подскочил к Сусанне и, выкрикнув какое-то ужасно остроумное и целомудренное замечание, схватил ее за подол и задрал «его, обнажив до пояса ее тело. Хотя эта проделка очень понравилась окружающим, которые нашли шутку чрезвычайно удачной, она относилась к разряду непопозволенных действий, которые нельзя было допустить; Йерк без тени улыбки только подмигнул весельчаку и встал поближе к Сусанне, чтобы оградить ее от подобных выходов. Оглянувшись вокруг себя, Йерк заметил Миккеля Тёгерсена, но ни единым взглядом не дал понять, что они знакомы.

Сусанна уже еле волочила свою ношу, от усталости ее била дрожь, на щеках от напряжения выступил пунцовый румянец. Когда вышли на Эстергаде, она приоткрыла наконец глаза — и сразу же из них брызнули слезы; она остановилась. Не говоря ни слова, Йерк снял с нее ношу, сложил ее наземь, и стал ждать, опершись на посох. Мендель Шпейер второпях шепнул что-то дочери, губы его тряслись от сдерживаемого плача. Но речь его была твердой: Сусанна склонила голову и перестала плакать.

Тогда Йерк снова водрузил ей на плечи камни, и они вышли наконец за ворота. Там судейский чиновник скороговоркой прочитал Сусанне приговор, который гласил, что она может уйти, забрав с собою свою поклажу, но если только посмеет еще раз когда-нибудь вступить в пределы города, то тем самым отдаст себя во власть закона. В стороне дожидалась крытая повозка, отец и дочь сели в нее, с ними вместе приезжий еврей, и все трое укатили.

Миккель Тёгерсен пошел следом.

Жалкая колымага еле тащилась по дороге; возница, убогий мужичонка с выгоревшими на солнце волосами, знай себе нахлестывал лошадей; начался спуск, колеса завертелись быстрее, пыль поднялась столбом. Колымага трещала и скрипела от такой скачки. Но скоро лошади опять поплелись шагом.

Стояла сухая июльская жара, над дорогой повис медовый запах, подымавшийся из пышных зарослей дрока. Под теплым дыханием ветра на полях наливалась рожь. Колыхались синие волны Зунда; слева круглился вершинами лес в прозрачном летнем мареве. Но солнце уже опускалось к западу, близился вечер.

Миккель прошагал за повозкой четыре мили [HYPERLINK "#с\\_13" {13}](#), но путники за все время ни разу не обернулись назад.

В нескольких милях от Хельсингёра они остановились на ночлег в гостинице. Опустилась тьма. Из деревни, расположенной в полумиле от побережья, убогий церковный колокольчик еще провожал своим звоном догорающий закат, он бренчал, захлебывался плачем, жалобно подвывал мяучащим голосом, словно несчастная кошка, которая бродит за сараями, трясая застуженными в холодной росе лапками, и все ищет, ищет своих пропавших котят.

Миккелю Тёгерсену нечем было заплатить в гостинице, и он уселся под липой на скамейке для бедных. Когда в зальце загорелся наконец свет, он встал и подошел к порогу. Дверь была раскрыта настежь, и он заглянул в помещение.

За столом сидела Сусанна, а двое ее спутников стояли по бокам и говорили без умолку. Старик Мендель, по-видимому, в чем-то ее убеждал и, призвав на помощь весь нажитый опыт, старался утешить; голос его звучал так успокоительно, выражение его лица дышало такой заботой и желанием помочь, какие только может питать отец в отношении своего детища. Молодой еврей с копной курчавых волос и холодными глазами перебивал его и поводил в разные стороны руками, жестами своими доказывая и убеждая — не так ли, разве мы не правы? Но Сусанна, должно быть, не слышала ничего, что ей говорили.

Положив руки на спинку стула, она склонила на них голову и отдыхала, обратив лицо к отворенной двери; она ничего не видела перед собой. Уста приоткрытые — она! То была она, и эта тень над верхней губкой, и дивные, беспокойные ноздри. Как нежны ее горестные черты, какая в них несказанная красота и печаль, и этот болезненный блеск в ясно смотрящем, зрячем взоре! О нет, не о том она грустит, что они воображают. Это мучительное выражение на устах, может статься, на самом деле — загадочная улыбка; та усталость, бесконечная усталость, которая светится в ее глазах, означает не только горе. Выражение заплаканных глаз полно и печали, и неги.

Миккель отошел от порога и отправился в путь, он шел по холмистой Хельсингёрской дороге, и лишь завидев огни, замедлил шаг и присел на обочине. Силы его покинули. Столько бедствий свалилось на него за прошедшие сутки. Но самое горькое случилось с ним сейчас, когда в

затуманенных печалью глазах Сусанны он увидел образ Отто Иверсена. Отныне она для него не существует. Он вспомнил мерзкие рисунки на доме Менделя Шпейера (прежде он втайне лелеял их в своем сердце) и пришел в неистовое волнение. Нет, прочь ее, конечно!

И в этот час, когда Миккель Тёгерсен сидел в одиночестве на обочине дороги, сила жизни, заключенная в его существе, утратила свою опору: он повалился в канаву и застонал от страха. Но он был молод, его страсти не могли еще в самих себе находить поддержку, им нужен был предмет, на который они были бы направлены. И вот все его страдания обернулись ненавистью, ненавистью к тому, другому — Отто Иверсену. Как избавление пришла ему мысль убить Отто Иверсена. Он тотчас же успокоился и принялся мысленно мучить и убивать... Вот так, вот так заморгает Отто Иверсен при виде ножа, вот каким Миккель увидит его перед собой — раздавленного в лепешку своими несчастьями, вот так он будет сломлен медленной казнью.

Миккель Тёгерсен очнулся от своей мстительной мечты, заслышав издали шум приближающегося экипажа — в вечерней тишине до него донеслось поскрипывание колес. Вот они перевалили через вершину холма. Миккель услышал, как возница прищелкивает языком; тогда он встал и стремительно зашагал в город. В ту же ночь ему удалось сговориться со шкипером, который согласился перевезти его на ГреноHYPERLINK "#c\_14" {14} . Ветер стих, судно неподвижно покачивалось на волнах в виду крутого HYPERLINK "#c\_15" {15} , а Миккель Тёгерсен спал в это время в трюме мертвым и, казалось, непробудным сном.

Солнце встало при полном безветрии. Шхуна лежала в дрейфе, и ее понемногу сносило к северу, сконский берег вставал из-за горизонта с юга в виде низкой тучи с рваным краем. Шкипер и два его матроса уселись за весла, но от их усилий было мало проку.

Измаявшийся нетерпением шкипер достал из трюма бочонок пива и пошел будить Миккеля. Едва протерев глаза, Миккель был ослеплен зрелищем неподвижных, как зеркало, вод. Расчистив на палубе место, они принялись за питье. Наголодавшийся и настрадавшийся Миккель захмелел сразу, еще не успев очухаться со сна. Он махал кружкой, одурев до беспамятства. В конце концов все умолкли, и один только Миккель плел что-то несуразное.

— Я давным-давно запродан, и ждет меня погибель, — вещал заплетающимся языком Миккель, брызгая слюной. — Бедная моя душенька сатане и тому не надобна! Ну и ладно! Еще будет на моей улице праздник! Я отказываюсь, когда сам чего не захочу, сказано — сделано, и иду своей дорогой, вот и вся недолга! Ура! Собирайтесь-ка на мой праздничек, все покойнички и увечные, все огнем спаленные и по башке треснутые. Эх-ма! Стол накрыт, рассаживайтесь, гости желанные, кто в чем пришел, не стесняйтесь! Хоть в саване — сюда, пожалуйста! И вы, у кого мясо со щек сходит и руки в песке! Сюда — утопленнички, на дыбе замученные! Я и сам того же поля ягода и скоро к вам гостевать приду. Пропадай, моя головушка, я больше ничей, я сам по себе. Какое мне дело, водится или не водится где-то птица страус, какое мне дело, что во Франции дурак сидит на троне. Ну, я пошел домой, у меня глаза слипаются. Прощайте, счастливо оставаться!

Судно застыло на солнечной глади, точно мертвое, кругом — ни звука, кроме плеска воды. Шкипер и матросы посмеялись от души, а Миккель еще долго пил, и то всхлипывал, то бахвалился, переходя с датского на латынь, пока наконец не повалился на палубу и опять не уснул.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

В пору сенокоса Миккель Тёгерсен вернулся в родную долину возле Лимфьорда, где стоял его отчий

дом.

Еще стояли светлые ночи, жара лишь немного спадала с наступлением сумерек, и тогда над рекой поднимался туман и окутывал пойменные луга. В лугах копнили сено, и молодежь из трех окрестных деревень оставалась там ночевать под открытым небом. Поздно вечером раздавался клич коурумцев: «Спать пора!» Его подхватывали и передавали дальше от стога к стогу. Немного погодя из окрестностей Гробёлле, где тоже метали стога, слышался замирающий отзыв грудного девичьего голоса: «Спать пора!» Пробегали, дробясь, отголоски по вершинам холмов, и казалось, что это косноязычные тролли передразнивают человеческую речь. И наконец, из бесконечного далека, тоненькими осколками прилетало еле слышное: «пати оо-аа!» Это из глубины долины откликнулись жители Торрильда.

«Га, га!» — несло от крутых берегов. Густел туман над рекой. Все вокруг засыпало, объятное божественным покоем, и мерцающий небесный покров окутывал погруженную в светлую тишину землю.

Долина эта на полмили протянулась от фьорда с запада на восток. В ее восточной оконечности находилась усадьба Мохольт, в которой хозяйничала вдова Ивера Оттесена, она же владела и долиной со всеми ее деревнями.

Невдалеке от фьорда стоял дом кузнеца Тёгера с принадлежащей ему водяной мельничкой. Тёгер прожил тут тридцать с лишним лет. Кроме Миккеля, который вот уже восемь лет учился у чернокнижников, у него был еще один сын — Нильс, этот унаследовал отцовское ремесло. Тёгер сильно обрадовался возвращению Миккеля. Усевшись на сундуке, он пустился с ним в разговоры. Глядя на ноги Тёгера, Миккель увидел, что они совсем скрючены подагрой. На широком волевом лице с безжалостной отчетливостью проступила печать одряхления, особенно заметная, потому что старик в душе был взволнован свиданием с сыном.

— Ишь ты каким франтом вырядился! — сказал Тёгер, шутливо подмигивая на красные кожаные штаны Миккеля.

Миккель потупился, как бы стесняясь принимать на свой счет дань восхищения.

— Верно тебе говорю! Одежда хоть куда — добротная! — стоял на своем Тёгер. — С лица-то, конечно, малость спал от учения... А нос, тут уж ничего не скажешь, сразу видать — мое наследие, — добавил отец, ласково усмехаясь.

Тёгер тоже отличался необычайно длинным и горбатым носом, который загибался книзу, точно кабанье рыло, и заканчивался подобием пяточка; эта особенность придавала лицу Тёгера выражение чрезмерной проницательности, которое унаследовал от него Миккель. Впрочем, Тёгер и в самом деле был на редкость толков, многое уразумел, дойдя своим умом, любое дело давалось ему легко благодаря природным способностям. В молодые годы он с увлечением предавался занятию, которое сам он называл варкой. В детстве Миккель не раз наблюдал, как отец кипятил на огне необыкновенные смеси из шерсти, свинца, красноватых камешков и мышинных зубов. Но теперь Тёгер совершенно забросил это увлечение. С годами у него как-то сама собой прошла охота к поискам философского камня, что и вспоминать — дело прошлое.

— А знаешь, я ведь собирался делать золото! — шутливо сказал Тёгер, его признание точно ножом полоснуло Миккеля по сердцу, ибо оно всколыхнуло память о невозвратно прошедших днях. — Но золото мне ни разу не удалось получить. В последний раз я принимался за это, дай бог памяти... Да,

давненько же это было! В последний раз я наконец нашел то, что надо! Взял я, понимаешь ли — ха-ха! — да и бросил однажды в котел с варевом еще и бумажку, на которой был записан рецепт. Ну, думаю, теперь-то уж наверняка должно у меня получиться! А рецепт я купил у одного оружейника из Штеттина. Страшно вспомнить, сколько лет с тех пор прошло! Так он и сгинул, значит, и ни одна душа его не видела. Он сам еще и разобраться мне помог в рецепте, объяснил, что к чему. А я сварил рецепт в котелке вместе со всеми прочими сильными снадобьями. Золота у меня не получилось. Какое там золото, сынок! Ну, а потом со временем все как-то само собой улеглось.

Состарился Тёгер-кузнец. Его шишковатая лысина начала зарастать младенческим пушком, окладистая борода отросла возле ушей длинными стариковскими космами и вся поседела. Лицо Тёгера было покрыто бледными пятнами выцветшей кожи, да и руки были ими усыпаны.

Иной раз Тёгер и сам делал какую-нибудь поковку в кузнице — по большей части он только присматривал за горном, — а хмурый, покрытый копотью Нильс становился тогда к мехам. Тёгер работал молотом хладнокровно, удары его ложились точно; надменно выпрямив спину, старик поглядывал на свою работу свысока, потому что с годами у него развилась дальноркость. Однако с каленым железом он справлялся по-прежнему ловко. Сил у него хватало ненадолго; через полчаса он бросал работу и, делая вид, что вспомнил о чем-то важном, уходил в дом. Там он отсиживался, хватая ртом воздух и стараясь скрыть от всех предательскую одышку.

— Вот, погляди-ка, что у меня тут есть, — заговорил однажды старик и стал торопливо рыться в шкатулке, полной старых пуговиц и кусочков металла. — Куда только она запропастилась? У меня тут лежала негодная монета, вот только не завалилась ли! И куда она могла подеваться? Я ее несколько лет берег к твоему возвращению. Я сам не могу прочесть, что на ней написано, не потому, что вижу плохо, а потому, что надпись латинская. Вот она. Я ее нашел в земле. Ну-ка, Миккель! Какая там надпись?

Миккель, у которого на глаза набежали слезы, деловито нагнулся над позеленевшей монетой и разобрал надпись.

— Пускай она тебе и останется, — сказал Тёгер, чрезвычайно довольный ученостью сына. — Это настоящее серебро.

— Спасибо! — Миккель взял монету и спрятал; с тех пор он никогда с ней не расставался. В первые дни после возвращения Миккеля Тёгер не раз поглядывал на него с задумчивым выражением.

— Вот поди ж ты как бывает! — сказал он однажды. — Иной раз ни за что бы не угадал, что в человеке заложено. Вот взять хоть сапожника сына из Брённума. Шутка ли, чего он достиг? Говорят, он у короля в большом почете.

— Так и есть, — ответил Миккель тревожно. Посещение Йенса Андерсена вспомнилось ему с мучительной отчетливостью. — Но ведь у него были средства, чтобы учиться в Риме и в Париже.

— И то верно, — пробормотал Тёгер, и его старческие черты помягчели при мысли о дальних странах. Он и сам бывал за границей, но дальше Северной Германии не забирался.

— И то верно, — повторил он снова, вращая большими пальцами. — Скажи, а не повстречался ли тебе slučajем молодой барин? Как, бишь, его звали-то? Кажись, вроде господин Отто.

Вопрос был таким неожиданным, что Миккель даже подскочил от внезапности:

— Что? Кто такой?

— Да помещик-то наш. Ты, может, и не видал его, а он весной отправился в Копенгаген. Да, не-обык-но-венная вышла с ним история.

Миккель покачал головой, и даже смотреть стал в сторону, как будто эта история его совершенно не занимала.

— Ничего удивительного, если вы не встретились, — продолжал Тёгер. — Поди, молодые дворяне, вроде него, и ученые люди, вроде тебя, друг с другом и не сходятся, всяк живет своим обычаем. А он еще в апреле в стольный город ускакал, не спросив родительского соизволения. Маменька им сильно недовольна. Мог бы и не ходить на войну, он — вдовый сын, его бы не тронули. А он только и думал, как бы из дому вырваться. Люди толкуют, будто все Анна-Метта виновата. Небось еще помнишь ее? Миккель помнил.

— Уж такая она, Анна-Метта, красавица стала, что описать невозможно, — продолжал старый Тёгер, и в его голосе зазвучало неподдельное удивление, а глаза округлились при этих словах. — Такой распригожей девушки я сроду не видывал. Вся в матку пошла, сам увидишь. Матка-то ее была дочерью силача Кнуда, который погиб в крестьянскую войну[HYPERLINK "#c\\_16" {16}](#). Много народу тогда полегло. А у Йенса Сивертсена женка была первая красавица во всей округе. Да, мы с ним оба поздненько женились — твоя-то мать с ней не дружила, она, бывало, говорила... Ну, да чего уж там. Теперь обе давно померли и в могиле лежат. Да, вот так-то оно бывает...

— ...А Йенс куда смотрел, говоришь? Да уж тут смотри не смотри, а делать-то нечего. Не мог же он барица дубинкой проучить, чтобы к его порогу не шастал! И то ведь удивительно прямо, как он к ней привязался! Теперь она скучает, ждет не дождется своего милого, он будто бы обещал ей, что как добром разживется, сразу за ней приедет и они поженятся. Кто ж его знает! Сама-то помещица и не думает соглашаться, это у нее твердо.

— Может, сходим к Йенсу Сивертсену, посидим покалякаем? — предложил Тёгер на следующий день Миккелю. — Ты только довези меня на лодке до устья, а там я уж как-нибудь доковыляю. Тёгер повязал на шею шерстяной платок, и они отправились на плоскодонке по реке, Миккель греб. Доплыв до устья, они причалили и остаток пути до жилища Йенса Сивертсена проделали пешком. И вот наконец Миккель увидел Анну-Метту. До самой последней минуты, пока они не сошлись лицом к лицу, Миккель не мог представить себе Анну-Метту иначе как русоволосой и белокожей девчонкой, и вдруг совершилось чудо, и она на его глазах превратилась в совсем взрослую статную девушку; и волосы ее светились среди смиренной горницы, и младенческой свежестью дышала ее белая кожа, и алели уста, и лучились голубые ясные очи. Такой, наверно, была сама Фрейя[HYPERLINK "#c\\_17" {17}](#).

Анна-Метта протянула Миккелю руку, и он так уставился на нее, что она потупилась под его взглядом. Красавица! Ладонь у Миккеля горела, словно он дотронулся до раскаленного железа.

— Ну, Отто Иверсен, держись! — подумал он про себя. — Теперь уж мы с тобою сочтемся! Все время, пока они были в гостях, говорил Тёгер. Разговор касался чего угодно, не исключая и очень личных вещей, но он ни разу не затронул отношений между Анной-Меттой и молодым барином. По ней тоже нельзя было заметить ничего особенного, она помалкивала и держалась скромно, как всякая молодая девушка. Но выражение у нее было такое, словно счастье вознесло ее недостижимо для всех остальных людей; тонкие от природы черты девушки дышали свободой восемнадцатилетнего существа: казалось, она излучает душевное равновесие, свойственное юности.

Миккель хорошо понимал, почему Отто Иверсен готов весь мир перевернуть, чтобы ее добиться, — что же, тем легче зато будет повергнуть его в пучину горя. И Миккель облек свое сердце в броню твердой решимости.

— Вот бы тебе жениться на Анне-Метте, — сказал, как будто в шутку, старый Тёгер на обратном пути. — Вы бы подошли друг другу. Не мое дело, конечно. Впрочем, Йенс Сивертсен за деньгой не гонится. Я бы и не мог дать тебе очень много на обзаведение. А не то, глядишь поехали бы вы с Анной-Меттой в Рим: помнишь, ты говорил об этом. Йенс Сивертсен в свое время отвез в город на продажу не одну тысячу копченых угрей.

Но видя, что Миккелю его шуточки явно не по душе, старый Тёгер умолк. Однако немного погодя размечтавшийся старик все же дорисовал эту картину следующим замечанием:

— Анна-Метта — девка что надо. Говорят, правда, будто у них там любовь. Что это значит, ты, может, по молодости лет еще не совсем понимаешь. Но всякому видно, что она и по сей день непочатая... Вот так-то, Миккель, сынок, давай, что ли, поторопимся, домой пора.

## ТОМЛЕНИЕ

Итак, Миккель воротился туда, откуда все началось, — он снова жил под отчей кровлей. Просыпаясь ночью, он, как бывало, видел в отдушине над головой три большие звезды и слышал, как скрипят, оседая, стропила. Потрескивало гнилое дерево — это сверлил его жук-точильщик; за стеною привычно шумел ночной ветер, — родные милые звуки. Больше ничто не нарушало тишину, которая царила на небе и на земле; от этой тишины у Миккеля шумело в ушах, и некуда было деваться от непрерывного звона, и гула, и клокотания. Прежде, в детстве, он пробуждался порой от младенчески крепкого сна и слушал, как вскипает в бурлящем котле тишина, и в его мыслях тогда рисовался образ вечного странника, который все едет и едет своим мимоезжим путем, и тихо скользят полозья по бесконечным сугробам, и долетает порой издалека тонкий и жалобный звон одиноких бубенцов. Подчас Миккелю снилось, что это лебеди кличут на фьорде; так стало казаться ему с тех пор, как однажды зимой он услышал среди волн льдисто-звонкие их голоса.

И вот опять Миккель услышал тишину, и она была совсем не такая, как в детстве, а сильная и певучая, и какие-то глухие переливы слышались в ее глубине, от которых ему сделалось страшно. Это напоминали о себе восемь лет неприкаянной и бездомной жизни, восемь лет смертельной, ничем не заполненной пустоты трубили ему в уши свой неумолчный псалом.

И однажды в ночь ему вдруг с неслыханной тяжелой уверенностью пала на душу мысль, что отныне этот нарастающий гул пустоты будет преследовать его всю жизнь, пока однажды не взревет нарастающим пушечным воем, не грохнет единым ужасным разрывом, от которого треснет его голова, и тогда страшный смерч сметет его в окаянную прорву.

И Миккеля потянуло прочь из родного дома.

— Что-то ты заскучал, как я погляжу, — сказал Тёгер. — Сходил бы в море на рыбалку, успокоительное это занятие. Либо с Йенсом на пару, а не то бери плоскодонку да позови с собой старичка Бёрре, он хоть и дурачок, а на рыбалке иного умного за пояс заткнет.

И Миккель отправился с Бёрре на рыбалку. Бёрре был слабоумный замухрышка, который с незапамятных времен обретался в здешних местах. Для Миккеля он оказался подходящим спутником, с ним можно было провести в лодке целый день, не обменявшись ни единым словом, иногда они ходили с бреднем и ловили на мелководье угрей. Обычно Бёрре вел себя как всякий

вполне разумный человек, и только временами на него находили приступы тихого помешательства. У него была привычка уткнуться иногда носом в какой-нибудь угол, например между двумя надворными постройками, и так простаивать часами, тихонько хихикая и безудержно радуясь чему-то веселому. Окружающие по большей части видели его спину, и эта спина так и ходила ходуном, потому что Бёрре в это время втихомолку смеялся до упаду. В то время как Миккель и Бёрре по грудь в воде волочили тяжелый бредень, Бёрре тоже иногда вдруг отворачивался в сторону открытого фьорда и принимался подхихикивать, он так трясся от смеха, что вода поблизости покрывалась рябью и вокруг начинали расходиться зыбкие круги.

Иногда Миккель ходил в море с Йенсом Сивертсеном, поэтому он часто встречался с Анной-Меттой. В одном уголке рта у нее выскочила болячка, как бы от переизбытка молодости и здоровья.

\* \* \*

Какое долгое и ровное лето выдалось в этом году! Долина и пойменные луга покрылись травой и цветами небывалой гущины. Солнце неторопливо совершало свой путь, и все живое отдыхало от вечной спешки. Вот в небе пролетела птица; то взмывая в вышину, то снижаясь, она пронзала своим полетом воздух, словно взбираясь и спускаясь по холмам, а исчезнув, оставила по себе память веселым своим щебетанием.

Над влажными зыбунами так и гудели шмели, водомерки чертили свои письмена по гладкому зеркалу речного омута.

То была долина бессмертия. С двух сторон над нею толпились лобастые вершины поросших вереском холмов, задумчивая река катила меж них свои воды, а вверху неслись облака, распластав клочковатые крылья.

С веселым журчанием бежали быстрые волны по каменистым перекатам и, стекаясь в глубокую заводь, затихали в молчании. Внезапно плеснув, выскакивала из воды рыбина, норовя ухватить какого-нибудь комара или мошку. И вставал над водой призрак — беглый отблеск в мерцающем мареве, и замирал в воздухе негромкий смех. А между береговых обрывов витало резвое эхо.

В полуденный зной все цепенело в безгласной тишине, столь же глубокой, как каменное безмолвие полуночи, ибо солнечное безмолвие душным гнетом давило на все, что живет и дышит. Невольно все немело под небесным сиянием, и в этой немоте таилась угроза куда более страшная, нежели та, которую источает ночная тьма. Высоко в белесом небе парит крылатое счастье, но пока не умрет, в руки живьем не дастся. Пока не умрет.

Наконец опускались сумерки, и земля на всем своем просторе наполнялась звуками. Нетерпеливо взмахивая упругими крыльями, взлетел в поднебесье бекас, и с головокружительной высоты разносился над росистыми лугами его пронзительный крик. На болотном острове визгливо тьякали лисята. И вдруг по берегам реки кто-то раскатисто захохотал нечеловеческим, жутким голосом. От этого хохота все примолкли, пока дерзкие лисята не принялись вновь за свое тьяканье.

Наступила ночь. В глубокой заводь всколыхнулись воды, и среди них всплыл подводный жилец, высунув из реки покрытые донным илом плечи. Вдалеке над непролазной трясинной реяли в воздухе морскими ласточками духи преисподней и, паря на распластанных крыльях, высматривали что-то в глубине.

\* \* \*

Однажды вечером Миккель стоял на крыльце, глядя на простирающиеся вокруг луга. Далеко



мелькал во тьме бродячий огонек световика[HYPERLINK "#с\\_18" {18}](#). Народ давно уже сидел по домам. Сенокос кончился, и никто больше не оставался ночевать на открытом воздухе. Шел август. Вокруг было тихо и пустынно. Птицы и звери примолкли. В детстве Миккель в такие вечера не смел даже носа высунуть за порог, боясь, как бы не показался ему над заглохшим озером световик. Он и теперь-то почувствовал необоримый страх, ему сделалось зябко, точно он голый и беззащитный очутился на пронизывающем ветру. Однако назло непобедимому страху, который овладел его естеством, его непреодолимо тянуло пойти туда и поглядеть, что там таится в ядовитом ночном мраке. У него было такое чувство, точно он жить не может без страха, ему во что бы то ни стало требовалось уравновесить свою душевную смуту внешними страхами. И, предавая себя во власть неведомых ночных сил, Миккель пустился к заглохшему озеру. Ужас расступался впереди и опять смыкался у него за спиной, он двигался словно бы в кругу жгучего пламени. Световик, мелькавший впереди, куда-то исчез. Незадолго до полуночи Миккель остановился. И в тот же миг по вершинам холмов раскатился хохот; зычно ухая, пронесся он над головой путника. Тут Миккель не выдержал, он пал на четвереньки и приник к земле, прикрывая руками голову, он быстро прополз несколько шагов, совершил неуклюжий разворот и стал торопливо уползать назад к дому. Все давно уже стихло, когда он наконец решился встать на ноги и идти по-человечески.

— Я не желаю, чтобы ты где-то бродил по ночам, — сказал Тёгер-кузнец своему сыну на другой день во время завтрака.

Миккель ошеломленно промолчал, он и сам был, пожалуй, рад решительному запрету.

В тот же день немного попозже Тёгер завел речь об этих делах. Он сказал, что сам ни во что не верит, потому что ни разу ничего такого не видел и с ним ничего не случилось. Но прогулки по ночам вредны для здоровья, и вообще незачем набиваться на неприятности.

Миккель заверил отца, что и он ни во что не верит. У него, дескать, просто выработалась такая привычка гулять от бессонницы.

— Да, кстати! Слышал ли ты хохот на реке? Что это такое было? Тёгер пренебрежительно повел бровями:

— Да ерунда! Это зверь какой-нибудь воет. А то, может, йовен[HYPERLINK "#с\\_19" {19}](#) .

— Йовен?

— Ну да! — Тёгер раздраженно усмехнулся. — Я ничего не могу тебе рассказать, потому что никогда в жизни не видывал этого йовена. Ты вот у нас ученый, тебе лучше знать.

С этими словами Тёгер вышел из-за стола и поднял в кузнице такой трезвон, что искры снопами сыпались из-под его молота.

Миккель отправился порыбачить. Недалеко от устья его лодка встретила с лодкой Йенса Сивертсена. Завидев Миккеля, тот встал во весь рост и окликнул его:

— Мы тут разузнали новости с войны, — сказал Йенс — На барскую усадьбу приходил разносчик, а после люди нам все пересказали. Дела идут лучше некуда. Удача ни разу не изменила нашему королю.

Йенс Сивертсен казался необычно оживленным. Он не упомянул об Отто Иверсене, но Миккель догадался, что про молодого барина тоже были хорошие вести. Ему не хотелось расспрашивать Йенса Сивертсена, и он направил лодку в другую сторону.

\* \* \*

— Хочешь, я расскажу тебе про йовена? — благодушно заговорил с Миккелем Тёгер, когда они встретились вечером. — Если верить людям, то раньше водилось много йовенов. А сейчас если какой и остался, так он имеет отношение к нашему Бёрре. Вот ты смотришь на меня с удивлением, а люди говорят, будто так оно и было. Разумеется, дело не в самом Бёрре, а в его рассудке — как он его потерял. Он ведь спятил-то давно, Бёрре гораздо старше, чем многие думают. А я еще помню, как было дело. Он свихнулся из-за несчастной любви. И с тех пор у нас стали поговаривать, будто на здешних холмах йовен завелся. Я уж не раз его слышал. Хотя бы в прошлом году, когда я соль выжигал: сижу, бывало, ночью на берегу, котлы сторожу, вот он тогда несколько раз подавал голос. Бёрре не раз мне там помогал, и сам тоже слышал. А видеть его никто не видел. На свете нет такого человека, который видел бы йовена, потому что увидеть его значит умереть.

## ГРОЗА

Однажды ночью Миккель проснулся от тяжелого грохота над головой, и в тот же миг в глаза ему ослепительно полыхнула голубая молния. Отец, уже одетый, сидел на своем сундуке.

— Гроза пришла, — тихо вымолвил Тёгер. — Я не знал, будить вас или нет.

Миккель стал одеваться, следом за ним проснулся и Нильс и тоже оделся. Гром гремел еще далеко, но раскаты следовали один за другим почти без перерыва; судя по звукам, гроза катилась толчками, но она неуклонно приближалась. Молнии низвергались из туч одна за другой, вспыхивая через короткие промежутки, словно то затухающий, то разгорающийся пожар.

— Трудная будет ночь, — сказал Тёгер и повернулся лицом к окну; вспыхнула молния, и Миккель увидел, что лицо его приняло торжественное выражение.

— Вы бы сходили на плотину поднять щит, — сказал старик немного спустя, — а не то как начнется по-настоящему, так, чего доброго, еще и затопит. Да хорошенько закрепите там колесо.

Нильс и Миккель отправились на плотину. Было не слишком темно. Но на востоке черная мгла стояла непроницаемой стеной, небо угрожающе вспучилось, из черноты вырывались молнии и озаряли все сверху донизу таким светом, что под ногами видны были мельчайшие камешки, а над головой в это время тихо голубело ночное ясное небо. Нильс молча закрепил колесо, и оно затихло; а Миккель поднял шлюзный щит, и вода свободно полилась через неподвижные лопасти. Братья вернулись в дом и тихо уселись на лавке.

Гроза быстро надвигалась; время от времени бешеная, ослепительно белая молния прерывала череду бледных вспышек, и с каждым разом все ближе раздавался следом за ней трескучий удар.

Рокот громовых раскатов постепенно затихал, удаляясь, и смешивался с глухим ворчанием далеких ударов.

Внезапный порыв ветра, подняв столб пыли, налетел на стену дома; вот шлепнулась в окошко тяжелая дождевая капля, за ней другие, и на дерновую крышу хлынул ливень. Тёгер затворил ставни. Вспышка молнии резко осветила помещение, и Миккель увидел прозрачные старческие глаза своего отца. И в тот же миг над головами у них бабахнули с яростной силой два страшных разрыва, затем раздался громкий раскат, словно камни загремели с горы, и наконец — глухое ворчание грома.

— Глаза поберегите! — напомнил Тёгер.

При следующей молнии Нильс уже прикрывал глаза шапкой, чтобы не ослепнуть, нечаянно заглянув в разверстые небеса. Немного погодя, он молча улегся в постель. Сверкали молнии, горница озарялась жёлтым и зеленым полыхающим светом; Нильс с головой укрылся овчиной и скорчился

под нею, как младенец в материнском чреве, прижав колени к подбородку. Трах-тарарах! Раздался такой оглушительный удар, словно небо обрушилось на землю.

«Неужели такой удар грома станет для меня последним звуком, который я услышу в этой жизни?» — подумал Миккель.

Тут молнии так зачастили, что сверкание продолжалось уже непрерывно, и в горнице стало светло, как днем, грохот сотрясал небо и землю со всех сторон. Плетки дождя хлестали по крыше, плескались за дверью по каменному порогу, с шумом низвергались в реку.

Вдруг из кузницы раздался такой звон, точно обвалилась целая куча железа.

— Свят! Свят! — воскликнул Тёгер, вскинув седую голову, вокруг которой плясал целый рой искр, — и в тот же миг молния ударила в кузницу: они слышали как будто чудовищный сквозняк, потом что-то загрохотало, и одновременно раздавалось сухое потрескивание. Замерев, они на мгновение погрузились в непроницаемый мрак, из которого пахло запахом серы; Миккель, задыхаясь, ловил ртом воздух.

Тут Тёгер засветил огонь — тук-тук, упорно высекал он искру из огнива, пока не затеплилось пламя. Приоткрыв дверь кузницы, он заглянул в помещение: опрокинутая наковальня лежала на земле, из горна высыпались наружу угли, но пожар не занялся.

Спустя немного времени гроза начала стихать. Капли дождя поредели, сила его была на исходе.

Тёгер и Миккель вышли на двор поглядеть, что делается вокруг.

Грозовая туча висела над фьордом, сизая и тяжелая. Молнии били из нее не переставая, вспенивая воду. На востоке небо прояснилось, там снова зажглись звезды. Река набухла и бурлила, кругом все было мокро, и в воздухе стоял кисловатый запах. Но выбравшись на вершину ближайшего холма, они увидели плачевное зрелище. В глаза им бросился огонь многочисленных пожаров, горело по всей округе в десятке разных мест, пламя огромных костров, торжествуя, поднималось к небесам.

— Ох! — только и выдохнул опечаленный Тёгер. Он торопливо соображал, у кого горит.

— Загорелось в Гробёлле и в Коуруме, — сказал он огорченно. Внезапно он повернулся в другую сторону и воскликнул с облегчением:

— Нет, пронесло!

Миккель поглядел в ту же сторону. Дом Йенса Сивертсена на берегу фьорда по-прежнему был цел и невредим. Миккель вспомнил Анну-Метту, и сердце его встрепенулось. Оказывается, она больше значила для его сердца, чем он предполагал.

— Вон крыша обвалилась, — пробормотал Тёгер, который уже снова повернулся в сторону горящих деревень. В том месте, куда он смотрел, пламя как раз столбом взметнулось вверх.

Туча нависла над Саллингом. При каждой вспышке можно было видеть дома и прямоугольники полей, свет был так яркий, что они различали даже составленные в зароды снопы по склонам холмов, видели белую пену прибоя. Недолго пришлось ждать, пока и там вспыхнули пожары, сверху их озарял блеск молний. Тёгер каждый раз вздрагивал, точно от боли.

— Тяжкая ночь выпала нынче для многих людей, — проговорил он, качая головой. — Пойдем поглядим, что делается с жерновками.

Там все оказалось в порядке. Вода в мельничном ручье поднялась высоко, но плотина стояла крепко. Колесо едва выступало из воды. Тёгер, вздыхая, пошел в дом. А Миккель отправился на пригорок, величавое зрелище притягивало его к себе, навевая множество мыслей.

Туча сползла на самый край неба и погромыхивала вдалеке приглушенными раскатами, молнии сверкали слабее. Куда ни глянь, со всех сторон полыхали зловещие костры пожаров.

Миккель повернулся в южную сторону и там увидел большое туманное облако, высокой стеной воздвигнувшееся в небесах. Верхний край его светился, и внутри чувствовалось какое-то странное движение; пронизанное тонкими иглами молний, оно казалось живым. Внезапно на нем проступило алое зарево, словно отблеск пожара, загоревшегося позади его толщи... И вдруг безмолвно возникло в небесной вышине видение — показался всадник, конь несся вскачь, распластав хвост по ветру, сапоги всадника высовывались носками в пустое пространство. А сзади, вздымаясь и клубясь, неудержимо катилась, затопляя воздушный простор, конская и людская волна — тысяча копий, как одно, — разом повернулась, и новые кони и копыта устремились в пустоту; высыпав на открытое пространство, они то взмывали вверх, то опускались вниз, и зыбкими призраками без единого звука истаявали в глубине неба. И все новые шеренги выступали вперед, высоко вздымая свои копыта, и проносились в головокружительной вышине — всадник за всадником на скачущих во весь опор конях; возникнув во весь рост, они склоняли вперед свои копыта, словно колосья, стелющиеся под ветром; они спешили, им далеко еще надо было скакать. Словно пульсируя, войско то бледнело, то проблесками вновь возникало явственно перед глазами — и вот тысячи и тысячи солдат, словно брошенные из одной горсти, рассыпались, сверкая, по небу и, увеличась, стали видны во весь рост; дюжие ландскнехты в прорезных камзолах шагали в прозрачном воздухе, неся на плечах аркебузы; одетые в латы величественные полковники скакали впереди на конях, царственно оперев в ляжку начальственный жезл, а позади галопом неслись упряжки с пушками и телеги, до краев нагруженные ядрами, летели куда попало игральные кости, шли, подоткнув подол, молодые дородные бабенки... и рыскающие псы, и мародеры, и попы, и тучаи — воронье! А за ними новые толпы ландскнехтов, разодетые в бархат и в перья, в щегольских башмаках, сверкая позументами, гурьбой устремляются вперед, куда глаза глядят, в неведомую даль. Высоко вскинув кудрявые головы, парят в облаках юные прапорщики, стройные, как Ганимеды, рядом с ними — сухопарые седые усачи, словно старые орлы, хмуро глядящие исподлобья. Длинной вереницей протянулось их шествие навстречу сияющим звездам, и все искатели военного счастья, все неукротимые бойцы истаяли, словно роса, в безбрежном пространстве.

## МЕСТЬ

Однажды в сентябре Миккель Тёгерсен рыбачил из лодки неподалеку от впадения реки во фьорд, вдруг он увидел, что к нему идет Анна-Метта; Миккель пристал к берегу, но не вышел ей навстречу, а дождался ее приближения. Она остановилась в нескольких шагах и улыбнулась ему; на голове у нее был повязан темный платочек. Миккель поздоровался, некоторое время оба молчали.

На посеребривших полях сбивались в стаи перелетные птицы; воздух был удивительно прозрачен и чист. Все растения точно поблекли, преображенные этим странным светом. Казалось, будто Миккель и Анна-Метта молчали, любясь необыкновенной погодой. Анна-Метта первая покончила с этим занятием и перешла к делу.

— Отец поручил мне, если увижу тебя, передать его просьбу, чтобы ты посмотрел ночью наши сети возле чаечьего острова. Он сегодня уехал в город. Ну, а если бы я не встретила тебя, так тоже, мол, не беда.

— Ладно, посмотрю, — сказал Миккель, не сводя глаз с Анны-Метты.

Но думал он вовсе не о сетях, поставленных Йенсом Сивертсеном, а совсем о другом. Анна-Метта уже повернулась, но помешкала, прежде чем уйти, не желая, как видно, мириться с тем, что ее так нелюбезно спровадили.

— Слышь, коли ты хочешь, давай я тебя покатаю, — выговорил, запинаясь, Миккель и попытался изобразить улыбку.

Анна-Метта не уходила и смотрела на него дружелюбно.

— Вон какой теплый вечер нынче, солнце еще не садилось, — продолжал Миккель. Он наконец поднял глаза и увидел ее лицо.

Она стояла, устремив взгляд в сторону фьорда, и Миккелю почудилось, что в глубине ее голубых глаз промелькнуло живое чувство, пробужденное воспоминанием — воспоминанием о прошлом разе.

— Я, пожалуй, не прочь, — ответила она слишком уж ласковым голосом, и снова задумалась о чем-то своем, заглядевшись на фьорд.

— Так садись, что ли! — воскликнул Миккель нетерпеливо.

Она не обратила внимания на злость, которая слышалась в его голосе, и переступила одной ногой в лодку, Миккель не успел ее поддержать, она легко вскочила к нему сама и мигом устроилась на корме. Миккель выгреб на стремнину.

Сперва они долго молчали. Анна-Метта глядела вдаль на море. Солнце почти село, разгорался закат, его отсвет заиграл на поверхности фьорда. Стояла такая тишь, что слышно было пение птиц на берегу. Анна-Метта разговаривала с Миккелем о разных обыденных вещах, он отвечал ей немногословно; лодка уже вышла из устья и медленно плыла по фьорду, подгоняемая последними толчками слабеющего течения.

Вот и солнце зашло.

Скоро вода подернулась рябью — дул береговой ветер, это с наступлением сумерек поднялся ночной бриз.

— Пора возвращаться, — сказала Анна-Метта и вздохнула, прогоняя ненужные мысли. Миккель не отзывался. Она подняла глаза и встретила с его пристальным взглядом в тот миг, когда он с силой далеко забросил в воду оба весла; она вскочила так порывисто, что накренила лодку, и, обернувшись к берегу, увидела, как далеко они отплыли — внизу чернела глубина; Анна-Метта хотела уже кричать во весь голос, но вдруг осеклась, пораженная мелькнувшими воспоминаниями, — она только тихонько охнула, будто икнула, и снова опустилась на скамью.

Миккель скрестил на груди ничем не занятые руки.

Тут Анна-Метта встрепелась и разразилась слезами и воплями:

— Ой, да что это ты, Миккель? Что ты такое выдумал? Весла-то...

— Ничего, пускай плывут, — бросил Миккель в ответ сердитым и раздраженным голосом. — Я решил отбить тебя у Отто Иверсена.

— Ой, нет, Миккель! Миккель, не надо! — молила она в страхе, громко причитала и рыдала, она даже поползла к нему по дну лодки на коленях, ломая руки.

— Сядь на место! — резко прикрикнул на нее Миккель.

Она покорно села, низко склонила голову и, закрыв лицо руками, тихо заплакала.

Сгущалась тьма, вода потемнела. Берег вдали стал едва различим, на море пал туман. На западе

зеленела бездонная глубина небес. Лодка чуть заметно плыла вперед, дул ветерок, тихо плескались волны.

Миккель рассчитал, что их прибьет к берегу севернее Саллинга часов через пять.

Время тянулось медленно. Миккель смотрел на Анну-Метту. Она все еще сидела, уткнувшись головой в колени, и плакала. Вдруг она отняла руки от лица и взглянула на Миккеля.

— А я-то думала, что ты добрый, — сказала она жалким, усталым от слез голосом.

— Я и правда добрый, — ответил он, совершенно потрясенный. Он еле держал себя в руках. — Ты у меня в сердце, Анна-Метта, — пролепетал он горестно, заплетающимся языком. И уж другого ничего сказать не мог. Он больше не знал, не понимал ничего и чувствовал одну только обиду и страдание, которые завладели его душой и обрекли его на несчастье.

Тихо-тихо плыла на волнах лодка по темному фьорду, и земли ни с той, ни с другой стороны не было видно.

## РАСПЛАТА

Стояло пасмурное октябрьское утро, моросил дождь, когда к пристани копенгагенского порта причалил большой корабль. Он пришел из Швеции. С корабля спустили сходни, и на пристань, весело и беспечно переговариваясь друг с другом, вышла целая компания дворян, все они сразу отправились в город.

Один остался, после того как все другие сердечно с ним попрощались. То был Отто Иверсен. Он дожидался, когда со шхуны выведут его коня. Шведский поход закончился для него удачно. Он заслужил почет и кое-чем разжился. После войны он испросил разрешение покинуть службу, и ему не терпелось домой, скорее домой.

Дожидаясь на пристани своего коня, Отто Иверсен оглядывался по сторонам; странное чувство было у него на душе: вот он вернулся наконец-то из дальних странствий, а вокруг по-прежнему стоят те же дома, и за прошедшие три месяца ничего не переменилось; и вдруг он заметил старика в черном плаще, который, смиренно приблизясь, о чем-то заговорил с капитаном. Но тут Отто увидел морду своей лошади, ее выводили под уздцы два человека и уговорами старались заставить ее ступить на сходни, лошадь упиралась, вскидывая головой. Отто обернулся и очутился лицом к лицу со стариком — тот успел подойти и склонился в учтивом поклоне.

— Вы господин Отто Иверсен? — спросил он по-немецки.

Получив утвердительный ответ, старик совершенно переменился, подобострастное выражение исчезло с его лица, он приблизился к Отто вплотную и негромко заговорил:

— Es sind drei Monate her, daB ein Otto Iversen in meinen Garten hereinbrach und meine Tochter entehrte. Sie also sind es gewesen, ja — ich seh'es schon..

Вытянув шею, он впился взглядом в глаза Отто Иверсена. Губы его выворачивались в судорогах, и голосом, вырывавшимся из глотки, словно сиплый птичий шип, он извергнул чудовищные слова:

— Verflucht sollst du sein auf Erden, horest du mich — ruhelos, schlaflos, dein Kelch Sehnsucht, das Brot Stein dir im Munde. Du sollst verwesen, verwesen, dein Glied verfaulen zwischen den Beinen, du sollst deinen Vater und deine Mutter sterben sehen vor Scham, krr...krr... Ungliück über dich! Hinwelken sollst du wie ein raudiger Hund, und dein Leichnam soil aus den Lochern deines Sarges triefen. Ungliück!

Старик вращал побелевшими глазами и, воздев к небесам коричневые костлявые когти, призывал проклятие на голову Отто.

Отто Иверсен отшатнулся. Он видел, что позади уже стоит оседланный конь, и, повернувшись на каблуках, схватил уздечку. Конь тронулся с места, и Отто побежал рядом. Подскакивая на одной ноге, он со второго прыжка на бегу поймал другой ногой стремя и бросил себя в седло. Через несколько минут он на всем скаку вылетел через Западные ворота из города.

Во время скачки он накрепко замкнул свое сознание, не признаваясь самому себе, что слышал эти слова. Он весь подобрался, плотно обхватил ногами бока лошади и целиком отдался скорой и тряской езде. Рассекаемый воздух гремел в ушах. Отто не подпускал к себе злое колдовство, не поддавался ему. Поля, и дома, и пожелтелые леса поворачивались на обе стороны и пропадали за спиной. И всякий раз, как в памяти вставал образ старика, Отто приводил в действие поводья и шпоры, убыстряя и без того бешеный скак. Таким образом он изничтожал зловещую встречу, как будто ее не было. Когда его взмыленный, пышущий жаром конь пронес его через Роскилле, она была уже почти забыта, а когда вечером он миновал леса в окрестностях Соре, сам кипя и дымясь от бешеной скачки, он окончательно подавил в себе воспоминание. Только достигнув Корсёра, он сошел с коня и остановился на ночлег; в это время уже стояла кромешная тьма.

Наутро Отто Иверсен проснулся, и сразу — Анна-Метта! С этими словами он соскочил с постели. Через полчаса он уже плыл через Бельт [HYPERLINK "#с\\_21" {21}](#) и чувствовал себя превосходно — только нетерпение его мучило, и тяга к родным краям трепала, как лихорадка.

На Фюне Отто Иверсен как бы впервые обнаружил своего коня — до сих пор он и не замечал его. Прежнего гнедого скакуна убили под ним у стен Стокгольма, и вместо него он получил этого рыжего голенастого жеребца. Резвый попался чертяка, однако же и колотит на нем, точно ты сидишь на бревне: глупая скотина несется через ухабы, не разбирая дороги. Ладно! Плеткой его и шпорами, да почаще! На что ты мне сдался этакий! То ли дело прежний конь, тот был смирного нрава и просто из кожи лез, лишь бы угодить хозяину, да вот погиб и зарыт в шведской земле... Эх, чтоб тебя нелегкая! И Отто безжалостно рвал удилами губы долговязого рыжего верзилы. Но постепенно всадник начал испытывать известное уважение к жеребцу, который всю дорогу скакал, потел и неутомимо трудился.

После Оденсе с севера налетел шквальный ветер с проливным дождем. Отто пригнулся, но поскакал еще быстрее. Вскоре на него опять накатило бешенство: неужели этот верблюд не может идти ровнее! Ураганный ветер заставил всадника свеситься набок, он громко заорал и несколько раз огрел безропотное животное по шее, так что оно припустило в карьер. Буря все крепчала. Скрипя от ярости зубами, Отто погонял коня. И вдруг — нате! Жеребец нелепо подпрыгнул и после нескольких бестолковых скачков неожиданно встал. Отто Иверсен просто взвыл от злости. Молиться было не в его привычках. Он спешил домой, скорее — домой!

Во всех постоянных дворах, где Отто Иверсену приходилось делать остановку, у конюхов, окидывавших коня взглядами знатоков, появлялось на лицах какое-то торжественное выражение: неизреченный приговор их гласил: нынче — конь, завтра — разбитая кляча.

«Анна-Метта!» — думал Отто Иверсен, во время переправы через Малый Бельт [HYPERLINK "#с\\_22" {22}](#) . «Анна-Метта!» — произнес он однажды вслух, проезжая лес возле Вейле. Два дня он бился и воевал со своим конем, одолевая холмы, леса и броды, — мимо крестьянских хуторов, деревенских церквей, мимо странствующих торговцев, мимо лачуг и пасущихся телят. Был дождь, и было ведро. Перелетные птицы стаями летали над пожелтевшими лесами. А к ночи он добрался до Раннерса,

ворота оказались уже заперты, но он объехал город, вплавь перебрался с конем через реку и продолжал свой путь.

Спускаясь на рассвете с крутого холма, Отто Иверсен вдруг почувствовал, что конь под ним изогнул спину горбом, передние ноги у него подломились, и он грянулся вниз, головой оземь. Отто Иверсен слез с седла, приподнял коню морду, но у того и глаза уж остекленели. Конь дрыгнул раз-другой длинными своими ногами и околел так же молча, как прежде; в мучениях, напрягая все свои силы, он проскакал из конца в конец всю Данию. Отто Иверсен снял с околевшего коня сбрую и пешком отправился в ближний городок.

Пополудни Отто Иверсен прискакал домой на новой лошади. Скача во весь опор, он перевалил через гряду холмов, в считанные минуты пересек всю долину и на полном скаку осадил коня перед домом Йенса Сивертсена; он спрыгнул с седла и, тяжело дыша, подошел к крыльцу. Йенс Сивертсен не спеша отворил дверь и вышел с непокрытой головой навстречу гостю.

— Анна-Метта! — выпалил Отто Иверсен. — Где Анна-Метта?

— Анны-Метты нету дома, — ответил ему Йенс Сивертсен и, бросив на Отто растерянный взгляд, добавил — Давно уж нету.

— Что такое? Куда же она подевалась?

Йенс Сивертсен нагнул голову, точно защищаясь от студеного ветра. Хотел было ответить, да увидал, как молодой барин вдруг весь посерел и на глазах осунулся; старик смутился и промолчал.

— Куда она делась? — спросил Отто со страхом.

— Уехала в Саллинг и нанялась в услужение, — сообщил ему Йенс Сивертсен и, сам не свой от горя, подошел к коню и стал разглаживать растрепанную гриву. Конь, пофыркивая, потянулся к нему мордой, а Йенс все ласкал и поглаживал его, ровным голосом повествуя о том, что здесь произошло за время отсутствия Отто Иверсена.

— Уж, значит, месяц будет, как она уехала. С тех пор сгинул куда-то и сынок Тёгера, тот, что приезжал к нам из Копенгагена. Ушел будто бы в море порыбачить — так люди мне сказывали, когда я вернулся. Я так думаю, что их, должно быть, отнесло течением к Саллингу.

При этих словах Йенс Сивертсен неуверенно взглянул на своего слушателя.

— По первоначально я долго искал и людей на том берегу расспрашивал, но никто их не видал, и люди ничего не знали. И вот только четыре дня назад я ее разыскал, она нанялась в батрачки на один двор в Вестерсаллинге. Домой она нипочем не захотела вернуться, я уж и так и этак ее уговаривал — ни в какую.

Йенс Сивертсен понизил голос:

— На вид по ней ничего не заметно — жива и здорова. Только вот очень уж убивается. А Миккель... про него с нею и заговаривать не смей. Он-то смылся и был таков.

Йенс Сивертсен опять поднял голову, и по его горько сжатому рту можно было прочесть всю правду.

— Это ведь он все натворил, — добавил старик торопливо и лихорадочно, но в то же время с большой убежденностью.

Видя, что Отто Иверсен по-прежнему молчит, Йенс аккуратно расправил еще одну прядь лошадиной гривы и продолжал свою речь:

— Кузнецу Тёгеру все это, как и мне, тоже не в радость. Сына теперь не воротишь, да еще сраму не оберешься. Вот так вот живешь и не знаешь, что тебя ждет, иной раз и до старости еще не дожил и



вдруг — на тебе! Вот я и говорю...

Положив подбородок на шею коня, Йенс в глубоком раздумье устремил взгляд на фьорд, где катились холодные волны под низко нависшими хмурыми тучами. Наконец он обернулся и поглядел немного на лицо Отто Иверсена. Какое там! Это было и не лицо вовсе, по нему точно тряпкой прошлись, все черты мучительно сжались в кулачок, и оно стало похоже на мордочку задохшейся в дыму кошки.

Йенс Сивертсен отпустил лошадь и отошел в сторонку, бормоча про себя какое-то слово, обрывок молитвы.

А Отто вскочил в седло, уселся поудобнее, сказал коню «но!». И шагом, нога за ногу, поехал к себе домой, в Мохольм.

## СМЕРТЬ

В самый разгар лета, когда солнце стоит в зените и все живое цепенеет от раскаленного зноя, случается порой, что в самый полдень с южного края небес вдруг низвергается поток лучей, в белый дневной свет врывается еще более ослепительное сияние. И ровно через полгода, когда фьорд скован льдом, а вся земля покоится под снегом, ее вновь посещает то же призрачное видение. Среди ночи ледяной покров фьорда внезапно из конца в конец разрывают трещины под грохот канонады, похожей на рев обезумевшего зверя. Мужики прокапывают в сугробах узкие тропинки от своего крыльца к скотному двору. Где-то там сейчас тролли и эльфы, где глас природы? Пожалуй, уж и йовен помер и поминай как звали. Все сравнялось. Ущербно стало существование. Все попряталось — быть бы только живу. Вот рыщет в дубняке лисица, но провалилась по брюхо в сугроб и, насмерть перепугавшись, выкарабкивается из снега.

Тихая настала пора. Морозная мгла навеки закрыла фьорд. Из заледенелой его пустыни доносятся странные вздохи, одинокий рыбак колет лед на своей проруби.

И вот ночью снова повалил снег, весь воздух стал снежным, ветер несет потоки стужи. Ни души не видать окрест. Вдруг подъехал к переправе у Вальпсунна всадник. Путь надежный проложен для всех на другой берег; и, не замедляя бега, всадник крупной рысью выезжает на лед.

И полетели из-под копыт гремучие молнии, и рев прокатился по фьорду на много миль кругом; вытянув шею, конь рассекает порывы метели: конь — могучий скакун, так и мелькают неумолимые ноги.

Откинуло ветром серый плащ всадника, под ним — голые кости, меж ребер вихрится снег. Это сама смерть скачет по земле. Череп с тремя волосинами украшен короной, железная коса через плечо — словно победное знамя.

У смерти свои причуды — завидев в ночной тьме огонек, она вздумала остановиться. От хлопка по крупу конь взвился в воздух и мигом исчез. Остальной путь смерть идет пешком, словно человек, который откинул все заботы и побрел себе куда глаза глядят.

При дороге на ветке сидит в полосах падающего снега и непроглядного мрака ворона, башка у нее велика для птичьего тела, мерцает блестящий круглый глаз — ворона признала путника; склонив набок голову, она беззвучно хохочет, широко разевая клюв, высунув длинным жалом язык, — такой смех разбирает ворону, что, того гляди, свалится с ветки. Она долго провожает идущую мимо смерть взглядом, полным пронзительного веселья.

А смерть шествует дальше. Вот она догнала человека, уже дотронулась рукой до спины и оставила

лежать на дороге.

Огонек. Не сводя глаз, смерть идет на свет. Следуя путеводному лучу, она долго тащится через замерзшую пашню. Наконец впереди показался домик, и смерть ощутила вдруг дивное тепло: вот она и пришла домой, тут ее извечный приют. Долго она не могла сыскать родного дома. Теперь-то, слава богу, нашла. Смерть вошла, и двое одиноких стариков приняли путника. Они-то увидели перед собой странствующего подмастерья, изнуренного и хворого. Тот, не говоря ни слова, лег в постель — сразу видно, что болен бедняга. Больной лежит на спине, хозяева ходят подле него со свечой, он про них забывает.

Пришелец притих, но не спит. Вот он застонал, сперва потихоньку, редкими жалобными стонами, точно несмелый ходок, на ощупь выбирающий дорогу, — всплакнул немного и опять умолк. Но стоны продолжают, становятся громче; сухие глаза и жалобный голос. Тело вскинулось, изогнулось дугой, одними только пятками и затылком касаясь кровати; в последней тоске страдалец устремляет взгляд в потолок и вдруг раздражается неумолчными воплями, как роженица. Наконец он падает, ослабев, на подстилку, жалобный плач все тише. И вот он умолк и лежит спокойно.

## ВСТРЕЧА

В году 1500-м юнкер Слентц вторгся со своей гвардией в Голштинию [HYPERLINK "#с\\_23" {23}](#), его наняли король Ханс и герцог Фредерик [HYPERLINK "#с\\_24" {24}](#), собравшиеся идти войной на Дитмарскен [HYPERLINK "#с\\_25" {25}](#).

На правом фланге одного из отрядов шагал Миккель Тёгерсен. Полгода тому назад он стал наемником в войсках юнкера Слентца. Миккель недурно смотрелся в строю — долговязый, поджарый, будто высушенный до костей, он особенно выделялся благодаря своим рыжим усам. Своим видом он напоминал распятого разбойника, но не того, которому суждено было вместе с Назарейнином попасть в рай, а как раз на другого. Вооружен он был фитильным ружьем и мечом, одет был в синие бархатные штаны с помпонами, кожаный колет и железный шлем. Вся его экипировка была снята с покойника, на которого Миккель однажды поутру набрел на большой дороге. Рядом с Миккелем шагал Клас, который дожил до этого похода. Товарищи Миккеля пели, и он тоже подтягивал, как мог:

Споем, приятель. Помнишь, слава богу,  
Ту ночь в Богемии, ночной цветущий шлях!  
Там потерял ты руку, глаз и ногу  
И прыгаешь с тех пор на костылях.  
Тесс... Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свилле-вилле-вит, ой-ой,  
Рискуешь головой!  
Так что ж, жениться? Жить со вздорной бабой?  
Господни страсти, нет, приятель, нет!  
Так что ж, жениться? Жить со вздорной бабой?  
Господни страсти, нет, приятель, нет!  
Тесс... Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,

Свилле-вилле-вит, ой-ой,  
Рискуешь головой!  
Ты, пташка, бросила гнездо родное,  
Чтоб край найти, где небеса синей.  
Скажи, откуда ты, с лугов далеких  
Иль из глубин больной души моей?  
Тесс... Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свилле-вилле-вит, ой-ой,  
Рискуешь головой!

О, мать! Да будет шнапс, пока живу я,  
А крылья дай, когда пробьет мой час.  
О, мать! Коль крылья есть, пока живу я,  
Да будет шнапс, когда пробьет мой час.  
Тесс... Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свиллевиллевит, моргни-ка глазом,  
Свилле-вилле-вит, ой-ой,  
Рискуешь головой!

День тянулся долго, и песни в конце концов смолкли — позади было много верст, и впереди еще оставался далекий путь. Когда уже к ночи они добрались до королевского лагеря, все были изнурены до скотского отупения. Светил месяц, и землю покрывал тонкий слой снега. Миккель шагал, уставясь себе под ноги, в последние часы он двигался, как во сне. Вдруг ему бросились в глаза косые тени, ложившиеся на снег впереди его шеренги — шесть беспокойно двигающихся теней. Он с удивлением отметил про себя, что тени совсем не одинаковы, некоторые, казалось, были посветлее, а его собственная была вроде бы немного темнее остальных. Он задумался над этим, на мгновение похолодел от страха — забыл виденное, снова вспомнил... а марш продолжался. Громадная масса людей все шагала и шагала вперед. Поодиночке они бы давно свалились от изнеможения, но все вместе продолжали идти, и Миккель тоже шел — он опять позабыл обо всем на свете.

Они пришли в лагерь, и им разрешили расположиться на отдых. Миккель ночевал в овине, где вповалку спало еще сто человек. Но едва он задремал, как его точно ошпарило изнутри, он вскочил, как встрепанный, хватая ртом воздух. Он увидел тот же темный овин, все было спокойно, но только что ему привиделось войско на марше, растянувшееся на несколько миль и заслонившее собою весь свет, — далеко впереди под нависшим небом маячили черные знамена, и он сам тоже шел в этом строю и чувствовал в душе ту бессловесную тоску, которая овладевает каждым измученным солдатом во время безостановочного марша. Почти одновременно с Миккелем вскочил и прерывисто дышал рядом с ним Клас. Тихонько и как-то по-особенному дружелюбно посмеиваясь, он шепотом сообщил Миккелю, что ему снилось сейчас, будто они все еще на марше.

В эту ночь Миккель еще несколько раз порывисто вскакивал ото сна, мучаясь ломотой во всем теле и кошмарным видением идущего войска. И каждый раз, просыпаясь, он слышал, как еще кто-то из постояльцев негостеприимного овина ворочается на соломе и стонет.

Саксонская гвардия соединилась с войском короля Ханса в январе. Впервые за последние два года у

Миккеля нашлось с кем поговорить по-датски. Однажды он услышал, что в королевском войске находится Отто Иверсен — он служил в чине прапорщика в кавалерии. Ненависть так и вспыхнула в Миккеле. Он сгорал от нетерпения поскорей повстречаться с Отто Иверсеном. Небось Отто Иверсен тоже от души ненавидит Миккеля? Что ж, надо надеяться! Но Миккелю никак не везло на встречу. Зато Клас однажды нечаянно столкнулся с Отто Иверсеном и рассказал Миккелю о своей встрече. Клас напомнил Миккелю о том вечере, который свел их всех в Копенгагене три года тому назад. — Подумать только! — удивлялся Клас — Вот и Генриха нет... Умер Генрих, погиб от рук глупого мужичья. — Клас покачал головой: «Никогда, дескать, не забуду Генриха».

А нынешняя война уже шла своим чередом. Началась она, как известно, при страшной самоуверенности и кичливости в стане нападающих, а закончилась для них неслыханной бедой — их всех перерезали. В старые времена люди знали толк в драматическом искусстве и разыгрывали талантливые пьесы. Обратите внимание на антитезу, заложенную в основе этого сюжета, — перед вами рыцари, которые так искренно уверовали в свое превосходство, что оставили свои доспехи в обозе, а сами кичливо нарядились в раззолоченные одежды. И сам начальник — грозный полковник Слентц тоже верил, что его солдаты опрокинут и сметут дитмарсенцев, так сказать, голыми усами: вот они — пятнадцать тысяч сердец, которые так и распирает от горячей крови. Предмет насмешек рыцарей — герцог Пер Мельдорфский, граф Поуль Хемингстедтский. И в довершение всего — уже совершенно фантастическая *licentia poetica* в виде тысячи пятисот обозных телег, заранее приготовленных для добычи. Вся эта гигантская машина не должна была удивить тех, кто не знал, чем кончится дело; ибо все это так обыкновенно и так согласно с человеческой натурой. Пока человек жив, для него только естественно воображать себя бессмертным. Высшая степень здоровья находит свое выражение в похвальбе и угрозах; самый сок человеческой энергии проявляется в безудержном вранье. Мужчина в расцвете сил стремится к убийству. Жизнь — это убийца.

Далее акт второй — резня [HYPERLINK "#с\\_26" {26}](#). Эти высокородные головы были расколошмачены крестьянскими дубинками среди пышных декораций, изображавших бурю и оттепель, снегопад с дождем при норд-весте и затопление побережья разбушевавшимся морем. Несколько выстрелов из десятка дрянных пушчонок — и вот уже ядра впиваются в тучное тело армии, смерть чавкала на этом пиру самым невоспитанным образом, уписывая богатое угощение. Они тонули, их затапывали в грязь, и дитмарсенцы усердно отворяли горячую кровушку, которая так и хлынула потоком на волю. Старые вояки, будучи продырявлены, еще не так спешили истекать кровью, зато из молодых здоровых парней она выхлестывала круто, в один толчок. В этом-то и заключается весь цинизм и вся соль этой пьесы. Эффект, сюжета основывался, как уже сказано, на внутреннем противоречии.

Миккель Тёгерсен видел, как погиб Клас. Мужик дитмарсенец налетел на него сбоку и отхватил ему топором большой кусок черепа.

Через некоторое время Миккеля оттеснили в канаву, и он с головой погрузился в обжигающе холодную воду. Его немного отнесло вниз по течению, прежде чем он вынырнул. Уцепившись за что-то и немного отдышавшись, он увидел, что очутился рядом с королевской конницей. Это зрелище скорее напоминало котел, в котором варились кони и люди, чем стройные боевые порядки, — никто не мог двинуться ни вперед, ни назад. Все смешалось в этом кровавом побоище... Но Миккель высматривал Отто Иверсена и отыскал его. Тот находился в середине плотной живой

массы и держал знамя. Конь его был зажат со всех сторон, Отто смирно стоял на месте, и вид у него был безразличный. Его лицо посинело от холода.

Миккелю любопытно было поближе разглядеть своего недруга и убедиться, что причинил ему непоправимое зло. Он остался лежать и дождался, когда Отто бросил на него взгляд. Отто Иверсена не взволновал вид Миккеля. Его руки окоченели до синевы. На морозе кожа делается ужасно чувствительной, и даже малейший удар по замерзшим костяшкам способен вызвать слезы у взрослого мужчины. Стужа отбивает обоняние. Миккель и сам был еле жив от холода. Он отдался на волю стремительного течения и поплыл дальше в ледяной каше среди мертвых тел. Миновав войско, он вылез на берег и живым добрался до Мельдорфа [HYPERLINK "#c\\_27" {27}](#) .

## ЧАСТЬ 2. ВЕЛИКОЕ ЛЕТО

### АКСЕЛЬ СКАЧЕТ ВПЕРЕД

На епископском подворье Йенса Андерсена Бельденака в Оденсе шел пир. Из окон падал на улицу свет, в темном городе это было единственное освещенное место.

Во двор въехал всадник; покуда он искал свободное кольцо для привязи, сверху до него долетали голоса, словно шумные порывы ветра: «Хо-хо!» Всадник прискакал издалека. Его звали Аксель. Он слышал, как шум перекачивался из комнаты в комнату через отворенные двери, и когда эти звуки, внезапно усилившись, могучим нескончаемым потоком хлынули вниз, точно вода через открытые шлюзы, он понял, что наверху распахнули дверь на лестницу, ведущую к открытому настежь парадному входу. Под взрывы раскатистого хохота и выкрики, доносившиеся из верхних покоев, он поспешил где попало привязать своего коня; среди общего гомона он различал чей-то отдельный хохот, который перекрывал слитное гудение и напоминал быстрый град барабанной дробы, — он то исчезал, то возобновлялся с новой силой, и Аксель с удовольствием вообразил себе человека, который смеялся этим смехом: каков у него должен быть вид, когда он издает такой рев во всю глотку и весь полыхает огнем, — он должен являть собою чудовищное зрелище, — воплощенный пожар. Аксель бегом взлетел по лестнице и с разгону ворвался в пиршественную залу.

Он подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как четверо здоровенных ландскнехтов, протопав в ногу строевым шагом, поднесли к столу молодую женщину на большом медном блюде. Она сидела на корточках, ухватившись за его края, красуясь в наряде распущенных по плечам черных волос. Не дав никому опомниться, молодцы водрузили блюдо на стол среди прочей снеди. На беленых стенах пламенели факелы, за столом сидело человек двадцать бражников, и все надрывались от хохота — одни сгибались пополам, другие повалились назад. Пораженный этим зрелищем, Аксель всплеснул руками и застыл, стискивая пальцы, но между тем он уж успел заметить, что взрывы смеха, перекрывавшие хохот остальной компании, исходили от сидевшего во главе застолья здоровяка. Глядя на него, было видно, что не так уж он веселится, как можно было подумать по его смеху. То был епископ.

В этот миг в зале все стихло. Когда сотрапезники отсмеялись, оказалось, что шутка, пожалуй, вышла не так уж удачна; все смущенно переглядывались, косясь друг на друга покрасневшими и повлажневшими глазами; утерев слезы, иные пытались, но не могли возобновить прежнего хохота. Девушка на блюде медленно наклонила голову, и черные волосы свесились ей на лицо.

— Что случилось? Что тебе нужно? — воскликнул в это время Йенс Андерсен, выходя из-за стола. Направляясь прямо к пришелице, он на глазах посерьезнел, и когда остановился в полуаршине от

Акселя, тому показалось, что сейчас он его ударит.

— Ну, что?

Аксель сунул руку за пазуху, чтобы вынуть спрятанное под платьем письмо, и Йенс Андерсен сразу же понял этот жест.

— Хорошо, — сказал он, — это потом успеется. А сейчас будь гостем — садись и поешь!

Йенс Андерсен снова вернулся к столу, взмахнул руками, повеселел и все больше раззадоривался от каждого своего возгласа, и гости ему отвечали тем же, оживляясь вместе с хозяином.

— Ну как? Неужели никто не хочет отведать кусочка?

Йенс Андерсен по-кошачьи повернулся к Акселю и заглянул ему в глаза, жестокая прихоть вспыхнула на его лице. Он ухватил Акселя за плечо и, понизив голос, довольно властно и вкрадчиво, но также с известным добродушием сказал:

— Кто пришел последним, тот больше всех голоден. Лучшее угощение осталось нетронутым, так бери же ее себе!

Услышав этот приговор, все с облегчением опять захохотали и захлопали себя по ляжкам. Аксель же склонился с галантной признательностью и, дружелюбно подмигнув, кинул испытующий взгляд на девушку, которая уже взяла себя в руки и под его взглядом тряхнула волосами.

— Беру с благодарностью! — сказал на это Аксель. Прямодушный ответ, сказанный чистым и звонким голосом, пришелся как раз на паузу между разговорами и вызвал такой взрыв громогласного одобрения, от которого закачался потолок. Взгляды присутствующих обратились в этот миг на стоявшего перед ними паренька; одет он был недурно, в дороге платье его промокло и перепачкалось, лицо разрумянилось под дождем, и волосы растрепались. Живым взглядом он обвел сидящих за столом. Гости уже снова принялись за кружки. Никто и не посмотрел на девицу, которую в это время выносили из зала. Зато она сама обернулась с порога и улыбнулась жалкой улыбкой со своего высокого сидения; сквозняк раздувал ее длинные волосы, бедняжка продрогла до косточки. Тогда Аксель кивнул ей на прощание. Она была просто гулящая девка, епископ нанял ее на этот вечер.

— Как ее зовут? — спросил Аксель позднее, покончив с едой. Попойка еще продолжалась, и Аксель разговорился с одним из солдат, которые вносили парадное блюдо, с долговязым рыжеусым рубакой. То был Миккель Тёгерсен, он служил в свите епископа.

— Агнета, — ответил ему Миккель.

— А она была недурна!

Миккель промолчал. Аксель не вытянул из него лишнего слова. Аксель встал, пригладил волосы, платье его обсохло, и он отдувался после обильной еды. Видя, что от Миккеля все равно не добьешься толку, Аксель отвернулся от него и стал разглядывать сидящих за столом. Гости показались ему не стоящими внимания; тут были средней руки дворянчики в кавалерийских сапогах, несколько толстобрюхих бюргеров с печатками на большом пальце, один монах-францисканец, один писаришко, несколько любекских шкиперов [HYPERLINK "#c\\_28" {28}](#) ; почти все были пьяны.

Аксель расхаживал по зале, звеня огромными звездчатыми шпорами.

Зал производил впечатление запущенности и неуютя. Йенс Андерсен не успел хорошенько обжить этот дом, он лишь недавно воротился после своего пленения и жестокой ссоры с королем. Епископ был уже немолод, и пережитые передраги оставили на нем заметный след, лицо его осунулось. Но он

уже собирався в новое путешествие — на сей раз в Стокгольм. И нынешний пир епископ задавал одновременно в честь своего прибытия и предстоящего отъезда.

В полночь Йенс Андерсен кивком позвал за собой Акселя. Казалось, епископ был в изрядном подпитии, все лицо у него горело, и даже плешивой макушки досягали играющие сполохи, однако походка была твердой. Они вошли в темную комнату, с порога на них пахнуло запахом книг; два больших пса встретили их рычанием.

Йенс Андерсен засветил восковую свечу и расположился в кресле за столом. Пока он читал, одна из собак подошла к Акселю и положила ему на колени свою голову. Комнату загромождали раскрытые ящики с письмами, повсюду лежали книги — в мешках или просто сваленные грудями на полу.

— Да! — Йенс Андерсен обернулся к Акселю, и тому показалось, что большая седая его голова неузнаваемо изменилась — на лице проступили суровые складки. Он заговорил с Акселем незнакомым и резким голосом, и только во взгляде еще оставались следы беззаботности: итак, Акселю предстояло снова отправиться в путь — к епископу Бёрглумскому, ему дадут провожатого. Пожалуй, пускай это будет Миккель Тёгерсен. Завтра поутру Акселю будут вручены письма и даны необходимые указания. Дело это спешное. А нынче вечером он может располагать собой по своему усмотрению.

С этими словами епископ протянул свою крупную руку и зашуршал бумагами, взор его сделался сосредоточенным и отсутствующим. Аксель встал и вернулся к остальной компании. Миккель Тёгерсен удивился и в то же время обрадовался, услышав, что его вместе с Акселем посылают в Бёрглум [HYPERLINK "#c\\_29" {29}](#). Договорившись, как лучше провести остаток ночи, они отправились в дом, где жила Агнета, и нашли там ночлег. Оба сочли полезным для предстоящего совместного путешествия установить хотя бы поверхностные приятельские отношения, взаимно обнаружив общую слабость.

Агнета подарила Акселю на память свой локон.

На следующий день в восемь часов Аксель и Миккель выехали из Оденсе, обоим вручены были для доставки письма и даны устные напутственные инструкции. Аксель должен был по пути доставить письма нескольким помещикам. Йенс Андерсен затевал несколько дел одновременно.

При выезде из города перед Акселем один-единственный раз промелькнула улица Оденсе, дома с островерхими крышами и флюгарка, которая медленно поворачивалась в туманном утреннем воздухе, ему вспомнилась Агнета, и в тот же миг его до краев переполнила нежность к этому городу — таким он и запомнился Акселю навсегда.

Первые мили они проехали молча. С утра было ненастно, кони скакали во весь мах, на лошадиных мордах блестели капельки росы. Когда начало проясняться, Аксель стал приглядываться к своему спутнику и обратил внимание на худобу его бледных рук с тонкими запястьями. Но он уже и раньше встречал такие слабые с виду руки и знал, что мускулы у него прячутся ближе к плечам. Аксель заметил, что, когда кони переходили в галоп, Миккель Тёгерсен умело собирал своего скакуна и как-то незаметно, без лишних усилий добивался того, что конь и всадник становились единым целым. На Миккеле была одежда зажиточного ландскнехта и добротное оружие. Но щегольской наряд только подчеркивал нищенскую неприкаянность, которая была написана на его лице; жесткие рыжие усы придавали ему залихватский вид, однако не могли прикрыть рта, который без слов рассказывал свою повесть о вечных бесприютных скитаниях; верхняя губа у него припухла, словно от частого

потаенного плача.

Понемногу всадники согрелись. Миккель прокашлялся и стал осматриваться по сторонам. Дорога шла вверх по склону холма.

— Что делается нынче в Копенгагене? — спросил Миккель.

— Моровое поветрие, — бодро ответил Аксель. — Последним, что я увидел, оборотясь, когда выезжал из Западных ворот, было пламя пожара.

— Вот как!

Аксель продолжил рассказ и скоро перешел к зимней кампании, в которой ему довелось участвовать. Эта тема все еще сильно занимала его, и он поведал о сражении при Богесунне [HYPERLINK "#с\\_30" {30}](#) и страшных невзгодах, пережитых в лесах Тиведена [HYPERLINK "#с\\_31" {31}](#).

— Стоял такой мороз, — уверял Аксель своего слушателя, — что нельзя было притронуться к латам, пальцы сразу примерзали. Снег там не такой, как в Дании, он мелкий, колючий и похож на наждачный порошок, он лип к рукам и был жгучим, как огонь. С еловых ветвей на всадников падали снежные пальцы и, попав на кожу, присасывались к ней, словно ненасытные пиявки. Шведский снег, наверно, так прокален и высушен тамошней стужей, что пристаёт к голым рукам и сосет кровь, того и гляди всю выпьет. А хуже всего снег, который ложится прозрачной пленкой, он сам собой вырастает на коже, как мох; тела убитых покрывались им в мгновение ока. Да, тяжело всем тогда пришлось. Когда светило солнце, воздух был полон тонюсеньких иголок, так что при каждом вздохе люди корчились от боли; по ночам лошади сбивались в кучу, они стонали и кашляли, как старички: «Кх-кх-кх!» А когда началась битва, сначала ничего не ладилось, каждая рана причиняла нестерпимую боль, и визг стоял, точно свиной режух.

От пушечных выстрелов ветки ломались, как стекло. Люди прямо зверели и сходили с ума. Зато мы одержали великую победу. Сейчас королевская армия осаждает Стокгольм.

Временами сквозь тучи проглядывало апрельское солнышко. Путники насилу перебрались через Бельт — ветер дул, не переставая, и течение очень усилилось. Лошади испугались и чуть было не попрыгали за борт, пришлось их накрепко привязать. Высадившись на берег, Аксель вскинул голову и, пригнувшись, сильно втянул в себя воздух.

— Вот и Ютландия! — сказал он. — Тут я еще никогда не бывал.

Миккель молчал. Аксель почувствовал, что рослый сухопарый ландскнехт задумался, верно, о чем-то своем. Аксель со стороны посматривал на своего спутника, и разглядывал шрамы, испещрившие его лицо загадочными письменами.

— Тут в Ютландии зарыт клад, и я его когда-нибудь добуду, — прокричал Аксель на скаку, когда они уже снова мчались галопом, так что ветер свистел в ушах.

Миккель повернул голову и рассеянно кивнул на его слова.

— Богатый клад!..

Обидевшись на Миккеля за недостаточное внимание к его словам, Аксель прищипорил своего коня; всадники мчались бок о бок, кони неслись во весь опор, пожирая дорогу. Аксель скакал с широко открытым ртом и пружинил ногами, делая много движений, Миккель же сидел мешковато, не делая усилий, чтобы приподняться на стременах; казалось, он даже не дышит.

По небу неслись густые тучи, то приоткрывая на бегу белесое негреющее солнце, то снова плотно смыкаясь. В стороне над мокрыми полями, борясь с ветром, летали вороны. Ветер гнул



придорожные кусты. А далеко впереди, встав ногой на землю, двинулась навстречу путникам туча, и они въехали в крутящуюся тьму, в которой свирепо хлестал холодный дождь. На размокшую дорогу, обдающую грязью из-под копыт, обрушились плети дождя, от скачущих лошадей валил пар. Пар срывался с лошадиной шкуры и стелился позади, как дым степного пожара, уносимый ураганом. Так они скакали весь день.

## НОВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Ютландии путники остановились на постоялом дворе; было уже поздно, и давно пора бы ложиться спать, но Аксель опять завел речь о своем сокровище. Рассказ привлек внимание Миккеля, он слушал, поставив локти на стол и уперев подбородок в ладони, перед самым его лицом горела свеча; Аксель, рассказывая, наклонялся к нему через стол:

— Оно находится где-то посередине Ютландии, вот все, что я знаю, мне не хотелось кому-то показывать эту бумагу. А клад там большой, я каждый день о нем думаю, но пускай он себе еще полежит — к чему спешить, когда я и без того знаю, что дело верное. Придет время, и я найду человека, который мне прочитает, что там написано. Вот, погляди!

Аксель сунул руку под свой потертый камзол, покопался за пазухой и вынул грубую роговую ладанку, которую носил на шее. Показав ногтем, как она открывается, он объяснил, что внутри спрятан сложенный в несколько раз пергамент. Рассмотрев коробочку, Миккель перевел взгляд на лицо Акселя и убедился в том, насколько оно молодо — такая молодость почти граничит с невменяемостью. Взгляд его голубых глаз был, собственно, еще не вполне человеческим, в нем отсутствовало то сознательное выражение, которое присуще человеку, про которого известно, что его зовут Оле или там Иозеф, и который сам вполне отдает себе в этом отчет. Он был хорош собою — черные усики, простодушный рот, свежие краски, как будто тающие в окружающем воздухе. Зато рука у него была широкая, волосатая, самого недвусмысленного вида.

Аксель убрал ладанку на место и покивал головой:

— Вот так-то! — проговорил он, словно бы про себя. Миккель спросил, сколько ему лет.

— Двадцать два года, — сказал Аксель и посмотрел на Миккеля взглядом здравомыслящего человека. Затем он рассказал Миккелю, как он решил обставить дело, чтобы не остаться на бобах; беда была в том, что он не мог сам прочесть документа, он был написан по-еврейски.

Миккель вставил, что знает еврейский язык.

— Вот это да! — бросил Аксель, но между тем, перегнувшись через стол навстречу Миккелю, он с блестящими глазами продолжал приглушенным голосом свой рассказ:

— Я буду ждать удобного случая. Подожду, пока не встречу однажды ученого человека, хотя бы священника, которому недолго осталось жить, и буду следить за ним. И вот когда он уже будет при смерти, но еще не потеряет сознания, тогда я попрошу его прочесть мой листок. Так будет всего надежнее. А потом можно и не спешить. Когда захочу — приду, ковырну сапогом песок на краю какой-нибудь заброшенной плотины, или где там еще хранится мой клад — в кургане, может быть, или лежит в сундуке, зарытом под проезжей дорогой... И вот я достану оттуда широкий золотой ожерелок — полновесную вещь старинного червонного золота, что как жар горит. Сколько мне известно, меня ждет законное наследство. Оказывается, на мое имя положены были деньги, и немалые, которые я мог получить к своему двадцатилетию. Я их еще не востребовал, а записку я получил и того раньше, когда мне исполнилось восемнадцать, ее принес какой-то старичок. С тех

пор я ее берегу. Небось не пропадет! Сверху должны лежать золотые перстни, а под ними, на самом дне, кожаный сверток, развернешь — а там шкатулка. На первый раз я выну один золотой ожерелок и возьму перстень с камнем, чтобы на пальце носить, с невиданным бриллиантом. А остальное пускай еще полежит, чтобы оно там множилось. Представляю себе, как драгоценные камни шевелятся в потемках, расползаются во все стороны и растут под землей. Мне только остается ковырнуть пальцем и вытащить их на свет. Золота мне не надо, деньги тоже не стану держать в кубышке, они у меня не залежатся; так и вижу — я еду, и денежки катятся. Я хочу побывать в Кёльне, и в ПавиюHYPERLINK "#с\_32" {32} хочу... А кроме того, есть там мечи с роскошными рукоятками, золотые цепочки, пускай их лежат спокойно до поры до времени в надежном месте. Миккель, слушая его речи, потихоньку заулыбался и стал оглядываться в безлюдном помещении: — А не пора ли в постель?

Аксель сразу же согласился, и они поднялись из-за стола. Но улегшись в гостиничную кровать, путешественники обнаружили, что овчины, которыми она была накрыта, сопрели от сырости, и спать под ними невозможно. Ругаясь, они улеглись одетые поверх одеяла, и Аксель тут же уснул. Миккель долго лежал без сна. Внезапно он добродушно рассмеялся сам с собой. Разные мысли теснились у него в голове — не то чтобы он вспоминал прошлое или думал о чем-то определенном, а просто осознал вдруг свое смиренное существование, свое привычное разочарование от постоянных неудач, ощутил свое одиночество. И уже совсем проваливаясь в сон, успел вдруг вспомнить этот клад червонного золота, который лежит себе неглубоко под землей и только дожидается, когда кто-нибудь копнет верхний слой песка и мелкого гравия, чтобы блеснули ему прожилки тусклого золота, словно отростки, отходящие от зарывшегося в темные недра могучего корневища. И вот он становится на него обеими ногами. А по другую сторону провала он увидел женщин в белых одеяниях, сидящих кружком на камнях, а посередине стояла одна — самая высокая и статная. Тут он хотел было послать голубя. А немного погодя они начали на глазах опускаться, исчезая в глубине. Через час они выбрались наверх по эту сторону пропасти, на руках и коленях у них зеленели влажные пятна от сока растений, через которые им пришлось проползти. А сам он стоял перед ними, возвышаясь над золотым кладом. Издалека ему кивал сам король.

Наутро они поскакали дальше, занимался ясный и светлый апрельский день. Синие лужи, стоявшие на дороге, с треском проламывались под копытами. Весенние краски уже позолотили поля, протянувшиеся между перелесками, в обновленном воздухе было видно на много миль кругом. А на дальнем краю земли виднелись по косогорам дерзко взобравшиеся на самый верх округлые макушки курганов, чьи западные склоны были седыми от утренней росы.

За все это погожее утро Миккель Тёгерсен не проронил ни слова, он ехал в глубокой задумчивости. Путники приближались к родным местам Миккеля, где он не бывал более двадцати лет. Ни о чем другом он не мог думать, с тех пор как узнал, что его посылают в Бёрглум. Он был настолько погружен в себя, что от неожиданности даже подпрыгнул в седле, услышав вдруг вопрос Акселя: — Послушай, а не здесь ли где-то поблизости должен быть Мохольтм?

— Что? Мохольтм-то? Здесь.

— Мне надо передать туда письмо. Помещика зовут Отто Иверсен. Миккель присвистнул на своего коня. Конь остановился и покосился на всадника, но тот снова пустил его вскачь. Оставшуюся часть пути они не разговаривали, пока уже к вечеру, перевалив через холмы, не увидели перед собой реку.

Река текла по белесой равнине, словно вышедшая на поверхность серебряная жила. На западе расстился фьорд, такой родной и неизменный. Взору Миккеля открылись знакомые крутые берега и цепочки холмов, они все так же привычно вздымались в чистую синеву небес, как и в прошлый его приезд.

Путники остановились в гробёлльской корчме. Потом Миккель объяснил Акселю дорогу к барской усадьбе, а сам направился в сторону фьорда навестить брата. Они уговорились встретиться наутро на постоялом дворе.

Аксель прискакал в Мохольтм, когда уже начинало смеркаться. Под стеною дома, беснуясь, заливалась лаем цепная собака, какой-то мальчонка в красных штанах копошился возле крыльца. Двор был пуст и безлюден, усадьба имела нежилой вид. В ту минуту, когда Аксель подъехал к крыльцу, из дверей вышел человек, это был сам помещик. Выслушав поручение Акселя, он пригласил его в комнаты. Усадив гостя за стол, Отто Иверсен зажег от пламени очага факел и вставил его во вделанное на стене кольцо.

Пока Отто Иверсен читал письмо, Аксель рассмотрел хозяина: он увидел сухопарого пожилого мужчину, пол-лица было закрыто бородой и подстриженными усами. Тусклые глаза перебежали по строчкам письма, по их выражению можно было судить о том, что там было написано. Прервав чтение, Отто Иверсен выглянул за дверь, чтобы крикнуть слугу. Престарелый слуга принес жаркое, поставил блюдо на стол и ушел. Больше он не показывался, и во всем доме не слышно было ни души.

Дочитав письмо, Отто Иверсен нацедил пива из бочонка, который стоял в углу, и подсел к гостю, чтобы порасспросить его, чего нового слышно на свете. Аксель с удовольствием рассказал про войну в Швеции, о сражении при Богесунне и о победе, одержанной королем, рассказал про Тиведен и про шведский снег... От сытной еды в нем взыграла кровь, и он славил ужасы войны. Время от времени Отто Иверсен откашливался — у некоторых людей встречается такое привычное покашливание, которого они сами не замечают. Иногда он поправлял чадящий факел. Наступила пауза. Аксель уписывал жаркое за обе щеки. Вдруг он оторвался от еды и поглядел на хозяина:

— Ведь вы, кажется, живете посередине Ютландии, не так ли?

— Да, пожалуй что можно так сказать. Большой ошибки не будет.

— Где-то здесь зарыто сокровище, у меня есть бумага, и там написано, где надо искать, — сказал Аксель, продолжая жевать. — И, может быть, оно спрятано неподалеку отсюда.

Отто Иверсен не сразу отозвался на его слова, и Аксель надолго приник к своей кружке; по звукам можно было угадать, насколько убыло ее содержимое.

Наконец Отто Иверсен выдавил из себя подобие улыбки и спросил Акселя, кто он таков и откуда родом.

На этот раз Аксель помедлил с ответом.

— Звать меня Аксель, — заговорил он наконец спокойным голосом. — Отчества своего я не знаю.

По-настоящему мое полное имя — Абсалон, но в деревне, где я воспитывался, меня прозвали Акселем. А родился я в Зеландии.

— Вон как!

— Да. А сейчас я состою в кавалерии на службе у короля Кристьерна и, когда надо, выполняю обязанности нарочного. В день, когда мне исполнилось восемнадцать лет, пришел какой-то старичок

и передал мне один документ, наказав, чтобы я его хорошенько припрятал; все это он сказал мне, когда мы с ним гуляли в поле, он мне поклялся своим именем, что я законный наследник, а звали его Менделем Шпейером.

Сказав это, Аксель снова принялся за еду, но, впрочем, он пожалел о своей болтливости. Подняв глаза, он увидел, что Отто Иверсен уставился на него неподвижным взглядом. Аксель отложил было в сторону нож, подумав, уж не захворал ли его хозяин. Но Отто Иверсен встал со своего места, откашлялся и поправил факел. Потом кашлянул еще раз.

— Мендель Шпейер... Уж не родней ли он вам приходится?

— По крайней мере я о таком родстве слыхом не слыхал. — Аксель посмотрел прямо в глаза Отто Иверсену, и тут-то Отто узнал его.

Это был сын Сусанны.

Немного погодя, Отто Иверсен спросил весьма неуверенным голосом, знаком ли Аксель с кем-нибудь в Хельсингёре.

Аксель отрицательно покачал головой и вновь принялся за прерванную еду. Руки его показались над столом, и Отто Иверсен тотчас признал короткопалые фамильные клешни. Какое-то растроганное чувство шевельнулось в нем, но тут же тревога ударила в сердце. Вот он — старинный грех, по-прежнему живой и алчный, возник перед глазами! Вот когда сказалось проклятие старого еврея! Что это он городит о каком-то ютландском сокровище? О каком документе шла речь?

Отто Иверсен отошел подальше от стола. Он был совершенно оглушен, как человек, который видит, что пожар уже охватил крышу, он знает, что надо что-то спасать, а сам стоит в оцепенении и не может шагу ступить на заплетающихся ногах. Что делать? За что хвататься?

Отто Иверсен был женат уже двадцать лет, и у него было восемь детей. В рыцарском зале красуется писанная маслом его супруга — ручки сложены на животе, и фигура ее очерчена ломким двойным изгибом, выражающим нежную кротость и чувствительность нрава — чинная дама с красноватыми веками. Детки растут славные, послушные; сам Отто Иверсен торгует дичью из своих лесов и разводит племенных бычков на продажу, дела у него идут на лад... В этот самый миг, когда пришелец с хрустом раскусывает мозговую косточку, малолетние дети Отто Иверсена крепко спят в своих кроватках, а в июне его хрупкая и слабенькая жена снова должна родить. Так неужели можно допустить, чтобы этот волк ворвался в семейное гнездышко и отнял у них последний кусок? Ну уж нет! Матушка Отто Иверсена покоилась в обитом бархатом гробу под плитами склепа, в этот миг сын вспомнил о ней... Не может быть, чтобы бог так тяжело его покарал!

Аксель окончил еду, в усадьбе царила тишина. От стен тянуло сыростью. Хозяин, застыв на месте, разглядывал своего посетителя. А тот, сидя за столом, размышлял в это время, какой ночлег ему могут предложить в такой захудалой усадьбе — придется заночевать среди ухверток под мышиную возню; тут хозяин снова приблизился к столу, у него было такое выражение, словно он только что вспомнил о каком-то несчастье. Лицо у него покрылось землистой бледностью, рот совсем утонул в бороде.

— К сожалению, мы не можем предложить вам ночлега, — пробормотал Отто Иверсен довольно невнятно, барабанив пальцами по столу и потупив глаза. — В доме — больные, да к тому же наехали гости, так что уж...

Он поднял глаза.

Аксель уехал не мешкая, и никакое сожаление не стеснило ему сердце. Выехав со двора, он тут же навек позабыл скупердя хозяина. Через час он был уже возле фьорда и остановился у дверей кузнеца. Навстречу ему на крыльцо вышел Миккель.

В доме кузнеца они провели вечер в уюте и покое. Хозяйство у Нильса Тёгерсена было поставлено хорошо; он был женат и обзавелся детьми, но в остальном мало изменился. Одетый в неизменный кожаный фартук, он показался Миккелю таким же хмурым, как прежде, и таким же двужильным. Миккелю повезло, потому что он застал старого Тёгера еще живым; старику было уж под девяносто. Он сидел в углу возле очага, ноги его были укутаны толстым слоем соломы. Он почти оглох, и ум у него ослабел к старости, но здоровье было еще хорошее. Сына своего Миккеля он так и не узнал. За ужином Миккель все поглядывал на отца. Невестка старательно ухаживала за стариком. Руки старого Тёгера были такие белые, словно покрылись плесенью, кожа пожухла, как вареная, на ней проступали выцветшие водянистые пятна, но трясучка не особенно бросалась в глаза. Нильс рассказал Миккелю, что восемь лет тому назад отец чуть не погиб под осыпью, забравшись в старую торфяную яму. Нильс в это время был в городе и еще не вернулся, и никому в доме не пришло в голову, что с Тёгером могло что-то случиться. Старика хватились только на следующее утро, отправились на поиски и нашли его в яме совсем засыпанного, руки его были прижаты к телу, глаза широко открыты; к счастью, под обвалом оставался доступ для воздуха, и он не задохся. Но с тех пор как его завалило землей, он иногда мучается страхами.

После ужина Миккель подсел к старику. Он хотел поговорить с ним, но из этой попытки ничего не получилось. Тогда он просто посидел подле отца, глядя на его большую бессильную голову, заросшую густым волосом. Он узнавал знакомые черты, хотя они почти утонули в зарослях бороды и усов, глаза казались незрячими. На ушах и на лысине старика появились какие-то наросты и пятна. Посидев и помолчав, Миккель достал старинную серебряную монету, поглядел на нее и стал совать старику в руки, но они ничего не могли удержать.

— Помните ли монету, батюшка? — крикнул Миккель отцу в самое ухо, совсем забыв, что в комнате есть другие люди.

— Бя... бя...

— Помните монету? — крикнул Миккель еще раз осипшим голосом.

Остальные не вмешивались и молчали, и Миккель еще долго просидел подле старика, свесив голову и закрыв лицо руками. Вскоре старый Тёгер уснул с широко раскрытым беззубым ртом.

Спать все ложились в одной комнате, и еще долго слышно было, как бессвязно бубнит что-то старый Тёгер и ворчит во сне, словно обиженный пес.

Наутро, когда Миккель и Аксель сидели в седлах и готовы были отправиться в путь, Миккель еще раз обернулся на прощание и, сделав над собой большое усилие, спросил, не глядя на брата:

— А как Анна-Метта, что с ней?..

— Она замужем, живет в Саллинге, у нее уже взрослые дети, — громко и без запинки сообщил Нильс, поспешая бегом возле всадников, так как лошади уже тронулись. — Йенс Сивертсен помер спокойно. Все у нее хорошо, Миккель, я сам хотел тебе сказать...

Он еще что-то крикнул вдогонку, но Миккель уже пустил коня в галоп, Аксель нагнал его только за холмами.

CONSUMATUM EST!

Это было во вторник, во время празднеств, происходивших в Стокгольме в честь торжественной встречи и коронации короля Кристьяерна [HYPERLINK "#c\\_33" {33}](#) . Миккель Тёгерсен пришел в караульную, у него было поручение к Йенсу Андерсену. Ему сказали, что Йенс Андерсен парится в бане. Но поручение было совершенно безотлагательное, и потому Миккель разделся, чтобы повидаться с епископом. Войдя в жарко натопленную баню, он сперва ничего не мог разглядеть перед собой — все застилал пар, густой, как белый войлок; Миккель слышал звон ведер, громкое шипение выплеснутой на каменку воды. В глубине пышущей жаром мглы звучали голоса. Миккель остановился на пороге, пар обжигал ему грудь и, превращаясь в водяные капли, струился по ногам. Вдруг впереди точно сгустилась из клубящегося пара человеческая фигура, и перед Миккелем предстал распаренный до медно-красного цвета человек. То был король Кристьяерн. Миккель поспешно отвел взгляд от его лица и, видя перед собой мускулистую, широкую грудь, покрытую густой рыжей порослью, услышал нетерпеливый королевский голос:

— Что тебе тут надо?

Миккель, склонив голову, объяснил, зачем пришел.

— Йенс Андерсен! — зычно крикнул король. — У дверей тебя ждет посланец с поручением. — С этими словами король снова скрылся в клубах тумана. Миккель выпрямился, у него все еще дрожали колени. Вскоре появился Йенс Андерсен, и Миккель передал ему свое сообщение. Он и сам не знал потаенного смысла, заключавшегося в словах, которые ему велено было запомнить и в точности повторить, но епископ, услышав их, сделался очень задумчив.

— Погоди здесь, — сказал он и пропал.

В кипучем дыму раздавались разные голоса, Миккель различал среди них короля и Йенса Андерсена. Затем послышался сердитый возглас короля. В бане наступила почти полная тишина, никто больше не плескал на каменку. Наверху открыли отдушину, пар мгновенно уплотнился и встал непроницаемой белой стеной, а в следующий миг в помещении развиднелось. Единым взглядом Миккель увидел всех, кто был в бане: они находились в десять раз ближе, чем он думал, оказывается, до них было рукой подать. Король сидел на лавке; кроме него тут были Дидрик Слагхек, Йон Эриксен [HYPERLINK "#c\\_34" {34}](#) и еще двое, которых Миккель не знал. Йенс Андерсен говорил с королем тихим и значительным голосом, остальные внимательно слушали, но Миккелю было не до того, чтобы прислушиваться к словам, он как зачарованный не мог отвести глаз от короля. Такой густой шерсти на груди и таких могучих рук он еще никогда не видывал; грудные мышцы жесткими буграми выпирали под кожей. Жилы выпукло змеились по ней, исчезая под мышками. Темно-рыжие волосы разметались по голове и поднялись от парного воздуха, точно мох, который тоже под дождем встает пышной шапкой, по мокрому лицу стекали в бороду влажные струйки. Грозен был вид короля в эту минуту, с какой-то сдержанной размеренностью он поочередно останавливал пронзительный взгляд на каждом из собравшихся, на лице у него застыло угрюмое и тяжелое выражение.

На остальных Миккель не обратил особенного внимания. Йон Эриксен неподвижно стоял перед королем со смиренным и страдальческим выражением, он был тощ до невозможности — сплошные кожа да кости, длинные костлявые ноги были обуты в деревянные башмаки, на щиколотках виднелись струпья и белые шрамы от недавно снятых железных оков. Рядом, спиной к Миккелю, стоял Йенс Андерсен, Миккель видел перед собой склоненное вперед туловище и мохнатые сплюснутые ляжки наездника. Не в пример ему Дидрик Слагхек был прекрасно сложен. К

несчастьем, тело его обезображивала лиловая звездчатая сыпь — метка французской болезни, он был усеян ею так густо, как святой Себастьян стрелами. Провалившийся нос делал Дидрика Слагхека похожим на обезьяну.

Но тут Йенс Андерсен дернул головой в сторону Миккеля, как бы напоминая остальным о его присутствии. Ничего из сказанного Миккель не слышал. Но король, взглянув на него, пришел в бешенство.

— Да отпустите вы наконец этого! — вырвалось у него в раздражении. Йенс Андерсен обернулся к Миккелю, выражением лица как бы смягчая королевский выпад, и Миккель поспешно вышел вон.

— А ну-ка, поддайте пару! — услышал он из-за двери возглас короля. Дожидаясь за дверью и облачаясь в свое платье, он снова слышал плеск воды и шипение пара. Звук голосов больше не доносился.

Через полчаса на пороге появился епископ, он был очень разгорячен и быстро дышал; отдуваясь, он стряхивал влагу, стекающую ему в рот, и отирал лоб, кончики пальцев у него сморщились от горячей воды. Миккель тут же был отправлен с ответным поручением к архиепископу Густаву Тролле [HYPERLINK "#c\\_35" {35}](#), оно состояло только из двух латинских слов. Миккель позволил себе улыбнуться, когда Йенс Андерсен заставил его, точно несмысленного мальчишку, несколько раз повторить эти слова вслух.

— Смотри же, запомни их хорошенько! — наказал ему епископ еще раз на прощание, прежде чем Миккель закрыл за собой дверь.

Архиепископ стоял у окна с гусиным пером в руке; едва Миккель вошел, он порывисто обернулся ему навстречу. Но услышав слова, которые должен был передать ему Миккель, он швырнул на пол перо и в сильном волнении принялся ходить по комнате. Миккелю велено было передать архиепископу от имени короля последние слова господина нашего Иисуса Христа, сказанные им на кресте, — в задумчивости архиепископ несколько раз повторил их вполголоса; на столе перед ним был расставлен дорожный алтарь, архиепископ всё кивал и кивал головой:

— Consumatume! [HYPERLINK "#c\\_36" {36}](#)

Миккель ожидал, не будет ли ответного поручения. Но Густав Тролле, казалось, переменял уже ход своих мыслей, он приблизился к Миккелю и остановился перед ним, рассеянно глядя ему в лицо. Бескровные губы его покривились с каким-то неопределенным выражением; может быть, это была растроганная улыбка, а может быть, гримаса, перед тем как чихнуть; голос, которым он заговорил с Миккелем, был странно кроток — архиепископ спросил, нет ли у Миккеля какого-нибудь желания, почему-то он проговорил это нерешительно и с запинкой.

От этих слов Миккеля бросило в жар. Вся двадцатилетняя тяжкая и бессмысленная солдатская служба промелькнула вдруг перед его мысленным взором, как один день. Он вспомнил мечты своей юности так, будто все это было только вчера. Чего бы он хотел пожелать? Если бы в его воображении кто-то задал ему этот вопрос, он ответил бы: «Всего!» Так бы он отвечал вплоть до нынешнего момента, когда его действительно спросили. Сейчас он не желал ничего.

Миккель уныло посмотрел на епископа. Нельзя ли сделать так, чтобы ему служить при особе короля, промолвил он скучным голосом. Он снова потупил глаза и начал втихомолку потирать руки, словно нищий, который, дожидаясь у чужого крыльца подаяния, ненароком задумался о том, как холодно ждать на ветру, пока наконец вынесут милостыню.

— Хорошо! — кивнул на это Густав Тролле. Он спросил Миккеля, не хочет ли он пристроиться писарем, коли знаком с латынью, но Миккель покачал головой. Вот если бы его назначили в конный отряд, охраняющий короля...

Удаляясь по улице от дома архиепископа, он шел понуро, точно глубокий старик. Много лет он мечтал о том, чтобы попасть на королевскую службу, и хотя его переполняла радость при мысли, что он своего добился, он в то же время был подавлен сознанием своего убожества.

В тот же вечер во дворце был дан большой бал для всего города.

Миккель Тёгерсен стоял в почетном карауле у дверей большого зала, одетый в железные доспехи и сверкая новеньким, с иголки снаряжением. Повышение в должности произошло с молниеносной быстротой; Йенс Андерсен тоже похлопотал в его пользу и вдобавок вознаградил Миккеля за верную службу из своего кармана. Во время представления у короля Кристьян не признал своего давешнего знакомого и принимал Миккеля чрезвычайно милостиво. А между тем это был тот самый человек, которого король готов был пригвоздить взором к двери своей купальни. Вот как порой все получается шиворот-навыворот — и в личине наготы можно скрыться не хуже, чем в маскарадном платье.

Вчерашний вечер был посвящен приему высшей знати, нынче на бал были званы офицеры королевской армии, служилая молодежь, а также добрые граждане города Стокгольма со, своими женами и дочерьми. Веселье удалось на славу. Стоявший на часах, точно статуя, Миккель имел внушительный вид, он был с головы до ног одет в блестящие доспехи, пышные усы его торчали из-под забрала, пазами он следил за танцующими.

И кого же увидал он среди них? Кто промчался перед ним в танце — дерзкий, блестящий, быстроногий? То был не кто иной, как Аксель — юный спутник, с которым они путешествовали весной. Миккель еще не успел хорошенько разобраться, что собой представляет этот беспримерный непоседа, так легкомысленно поступающий со своими тайнами иверяющий их первому встречному. Вы только поглядите, как он скачет! Можно подумать, что именно этот способ передвижения для него самый естественный, даже в покое он весь переливался блеском, словно зеркальное стеклышко в лучах солнца, взор его вечно неуловим, как и сейчас, когда он кружится в танце, подхватив в объятия хорошенькую горожаночку и предприимчиво поглядывая налево и направо.

Миккель провожал его взглядом, следя, как он уносится прочь, то скрываясь, то гибко выныривая из толпы, и вот уже только желтые перья, развевающиеся на его шляпе, мелькают в другом конце зала, потом он возвращался, мчась все в том же упоительном кружении, и запрокинутое лицо девушки все время было обращено к нему с тихой и опьяненной улыбкой.

Миккель незаметно переступил с ноги на ногу. Победно заиграла музыка. Ноябрь кидал в окна холодные порывы ветра пополам с дождем. Миккель перестал что-либо замечать вокруг, хотя глаза его были открыты; он впал в задумчивость. Какое-то мучительное чувство не давало ему покоя — тоскливое сожаление о собственной праведности и жгучее желание махнуть на все рукой и очертя голову окунуться в безумства, как те ничтожные людишки, которые ничего не понимают. Миккелю шел уже пятый десяток, однако он нисколько не образумился за прожитые годы. В желаниях своих он по-прежнему не успел разочароваться по той простой причине, что ни одно из них не исполнилось. Долгое отлагательство прибавило им живучести. Времени натворить глупостей



оставалось у него впереди больше чем достаточно.

Волны музыки вздымались все круче и бушевали безумней, оркестр громыхал, отмеривая такт, вихрем взвились смычковые, в быстром беге спустились с высокой ноты, и вот, грянув напоследок продолжительным ликующим аккордом, музыка смолкла. Танцующие пары, смеясь и болтая, разбрелись по залу.

Подбежал Аксель, хлопнул Миккеля по плечу и поздравил с новой удачей. Вот, дескать, и довелось нам вместе служить. Как только Миккель сменится или, может быть, завтра обязательно, мол, пойдем куда-нибудь, чтобы скрепить старую дружбу! Сказал — и был таков.

В перерыве между танцами по залу, окруженный свитой из самых знатных людей, прохаживался король. Иногда он останавливался и заговаривал с кем-нибудь из присутствующих горожан. Король был весь в соболях, на плечах у него лежала тяжелая цепь с орденом Золотого руна, несколько раз он принимался громко и весело смеяться. Йенс Андерсен старался вовсю, он сыпал остротами, повергая в смущение то одних, то других. Рядом с королем шел архиепископ Маттиас [HYPERLINK "#c\\_37" {37}](#) из Стренгнеса. Роскошный наряд старичка волочился по полу; однако держался он молодцом, раз-другой щегольнул пресноватыми анекдотами — единственными, должно быть, которые подхватил в давно минувшие безрадостные студенческие годы, — и, улыбаясь на все стороны, ошастливил всех зрелищем своего беззубого рта. Уходя, старикашка прелат еще раз обернулся на прощание, сощурил свои добрые глазки и покивал молодежи, все лицо его при этом осветилось лучезарной улыбкой.

Едва знатные господа ушли, музыка вновь загрела так, словно взревели иерихонские трубы, опять приглашая к танцу. Миккель старался разглядеть Акселя, но того, по-видимому, уже не было среди танцующих.

Немного погодя Миккель забыл про свое окружение. Он опять размышлял о своей пропащей жизни, перебрал все пережитое от начала и до конца и почувствовал страшную усталость — столько миль уже пройдено в погоне за несбыточным. Как же это случилось, что он изгнал счастье из своего сердца и среди счастливых людей чувствует себя бездомным скитальцем? Опершись на свою алебарду, он, стоя на посту, сложил латинское четверостишие в гекзаметрах, смысл его был таков: «Я упустил весну моей жизни в Дании, чая блаженство найти на чужбине; но и там я не обрел счастья, ибо всюду снедала меня тоска по родной земле. Но когда я понял, что весь пленительный мир напрасно меня обольщал, тогда наконец и Дания тоже умерла в моем сердце; так я стал бесприютен».

## ВЕСЕЛЫЙ КОРАБЛЬ

Акселя в это время не было среди танцующих, он был внизу в гриднице, где для гостей были накрыты столы с угощением и напитками. Он сумел зазвать туда свою даму, с которой протанцевал весь вечер напролет, и нарочно усадил ее в уголке, где было потемнее. Ее звали Сигридой, и она была дочерью одного из членов магистрата.

Аксель ухаживал за Сигридой и старательно потчевал ее. Но что бы он ни предлагал, она все время отвечала ему «нет». От хорошего прусского пива она отказалась наотрез, пирожного отведавать не пожелала. Аксель и так и сяк ее обхаживал, но все было напрасно: Сигрида, как видно, крепко вытвердила урок — на все отвечать «нет». Он и сам почти ничего не ел, да и невкусно ему казалось, пока наконец не уломал упрямую Сигриду скушать кусочек пирожного; тут он возликовал и на

радостях как следует угостился всем, что было на столе.

— Пригуби вина, Сигрида! — упрашивал Аксель. Она растерянно пролепетала «нет». Сигрида и сама не знала, чего ей хочется, соглашаться или не соглашаться; решила — нет! Аксель вдруг загляделся, что глаз не оторвать, на ее губки, нежные и влажные, словно цвет луговой, да так и застыл с кружкой в руке от нахлынувших мыслей. Тут Сигрида, осмелев, стала посмеиваться, Аксель допил свою кружку и тоже засмеялся, и они расхохотались во весь голос. После этого в глазах Сигриды так и осталась смешинка. До чего же она юная и хрупкая! Спаси бог и сохрани эти ручки, такие чистенькие, и маленькие, и худенькие!

У Сигриды было такое лицо, что по нему до сих пор было видно, какой она была в детстве; «и в то же время по нему можно было заранее угадать, какой она будет, когда станет старенькой бабушкой; кроткое лицо Сигриды являло собой мистерию трех возрастов человеческой жизни. При одном взгляде на ее тонкие белокурые волосы перехватывало дыхание.

Осторожным взглядом Аксель посмотрел на платье Сигриды — коричневая ткань была украшена прорезями вокруг шеи и на локтях, из которых проглядывала шелковая подкладка. Вдоволь наглядевшись, Аксель протяжно вздохнул.

Спустя некоторое время Аксель и Сигрида опять побежали в танцевальный зал, оркестр наярывал вовсю, и они танцевали долго, до потери дыхания, всю эту счастливую ночь напролет. Сигрида готова была танцевать неустойчиво. Чем дольше, тем все более тихой становилась девушка, но когда Аксель приглашал ее, она опять шла с ним танцевать и, казалось, не знала усталости. Руки Сигриды были холодны, ладони повлажнели, дыхание вылетало из ее уст с легким, едва слышимым вздохом. И после каждого танца она улыбалась, сама не зная чему.

К середине ночи быстротечное время для них остановилось, и наступила вечность, их танец длился с незапамятных времен. На Акселя накатила тоска, словно на ветхого старца, который вспоминает давно минувшее. Тогда он пожал руку Сигриде. Она взглянула на него и, словно очнувшись, улыбнулась ему открыто, от всей души, доверчивой и преданной улыбкой. Но он не знал, как откликнуться на зов ее чистой души. Они танцевали теперь так медленно, что их то и дело толкали со всех сторон, но они продолжали медленно кружиться, как во сне.

Вскоре за Сигридой пришел брат и увел ее домой. Аксель хотел проводить ее до дверей, хотя бы спуститься вместе по лестнице, но Сигрида сказала «нет». Это было последнее нерешительное и ласковое «нет», которое он от нее услышал.

Стоя на верхней площадке лестницы, Аксель провожал взглядом ее фигурку, закутанную в просторный плащ; сойдя вниз, она обернулась и кивнула ему, нежное личико ее все светилось белизной, озаренное сверху факелами. И вот она ушла и пропала.

В зале осталось совсем немного танцующих, все спустились вниз, чтобы выпить.

Там Аксель наткнулся на Миккеля Тёгерсена; тот, уже без доспехов, сидел в одиночестве за кружкой пива. И Аксель едва не кинулся на шею молчаливому вояке. Вдвоем они опорожнили несколько кружек.

Они посидели, перебросились какими-то незначительными словами — Акселю нравилось слушать мягкий голос Миккеля. В просторной гряднице шумело, набирая силу, праздничное веселье, отовсюду слышался звон бокалов и радостные возгласы. Отражаясь от сводчатого потолка, слетали вниз гулкие отзвуки царившего внизу слитного шума. Немецкие солдаты понемногу пьянели от

обильных возлияний, то тут, то там вспыхивали стычки. Почти все горожане уже разошлись по домам.

Тут Аксель, перегнувшись через стол и впившись в Миккеля немигающим взглядом, сделал ему одно предложение, он говорил приглушенным голосом в тоне, не допускавшем сомнений. Миккель дернул себя за кончик носа, что служило у него редким знаком веселого расположения, — мысленным взором он уже видел корабль; поглаживая усы, он кивнул Акселю.

Дело было в том, что в это время среди шхер возле Стокгольма стояла на якоре любекская флотилия, это были купцы, которые прибыли к Стокгольму по приглашению короля Кристьяерна, чтобы снабжать продовольствием осаждающую город армию. Часть кораблей уже покинула шведские берега, однако знаменитая гигантская каравелла, груз которой составляли так называемые *farende frouwen*, все еще оставалась на внешнем рейде. Этот корабль снарядил в плавание богатый любекский купец и отправил его вместе с грузом странствовать вдоль всего побережья, делая остановки в тех местах, где можно было встретить большое скопление ландскнехтов.

Аксель и Миккель тут же встали из-за стола, забрали свое оружие и двинулись в город. Стояла тьма, над землею стелился туман, было около трех часов ночи. Улицы были безлюдны, нигде ни огонька, несколько раз они даже падали, наткнувшись во тьме на какой-то хлам, который валялся под ногами; наконец они добрались кое-как до Южных ворот и уговорили стражника, чтобы он их выпустил. Под мостом вблизи городской стены обыкновенно дожидались на воде лодки, которые сдавались внаем, но в эту ночь ни одной не оказалось на месте. Осторожно ступая, приятели направились по узкой кромке берега на восток и, пройдя довольно далеко, набрали на лодку; сломав замок, они сели в нее и поплыли.

До стоянки кораблей надо было проплыть порядочное расстояние, и прошло немало времени, прежде чем впереди блеснули сквозь туман корабельные огни. Корабль, к которому они стремились, стоял крайним слева. После того как они минут десять поработали веслами во тьме и сырости неприветливой ночи, они увидели стоящую на якоре каравеллу, в туманной мгле возникла перед ними ее высокая корма.

Каравеллу нетрудно было найти, на борту кипело такое празднество, что слышно было издалека. Три фонаря — по одному на каждую мачту — озаряли светом палубу и корабельные снасти, палуба кишела людьми. Вокруг трех красных лун, подвешенных на мачтах, в туманном воздухе стояло широкое сияние.

— Вот куда запропастились все лодки, — сказал Аксель, негромко посмеиваясь, когда они проплывали под утлегарем. Действительно, вокруг якорной цепи покачивалась бок о бок целая флотилия лодок.

Сверху гостей окликнули по-немецки, то был суровый голос начальника. А над головами у них грозно разевал зубастую пасть резной дракон, которым был украшен нос корабля.

— Gute Freunde! — громко отозвался Аксель и, выскочив из покачнувшейся под ним лодки, ухватился за свисающую с борта веревочную лестницу. Шкипер протянул ему руку и помог перелезть на палубу. Миккель привязал лодку и последовал его примеру.

Возле мачт под фонарями стояли пивные бочки, вся палуба была уставлена маленькими парусиновыми палаточками, занавешенными с одного конца. Кормовая надстройка была ярко освещена изнутри, и оттуда доносились громкие звуки флейт и свирелей, веселье и звон бокалов.

Голоса были женские. И как же они согревали душу среди соленых морских зыбей! Они напоминали о домашнем уюте, сердце радовалось при звуках нежных голосов в неприятном и суровом корабельном окружении. Просмоленные палубные доски ходуном ходили от веселья, которое царило внизу и наверху, внутри и снаружи, весь корабль плавно покачивался на волнах. Из люков высовывались края перин и подушек.

Возле Акселя и Миккеля слышались легкие шаги, кто-то приближался к ним легкой походкой, но все же доски слегка пружинили под здоровой тяжестью взрослого человека. Из помещения показалась девушка в светлых одеждах, быстро направилась к ним и, не тратя лишних слов, стала обнимать гостей, ластясь и воркуя, так что оба сразу почувствовали себя согретыми ее дивной близостью.

Все вместе они пошли туда, откуда светил огонь фонарей, и были встречены приветственными криками и подъятыми бокалами; едва взглянув в лицо девушке, Аксель поспешно склонился; у нее были сросшиеся брови. Он склонился и, запинаясь, спросил по-немецки:

— Как звать тебя, белозубая?

Она отозвалась низким бархатным голосом, словно давно ждала его прихода и знала, что он появится:

— Люсия.

## ЗАПАДНЯ ИСТОРИИ

На другой день около полудня Миккель и Аксель воротились на берег. Они отправились на квартиру Акселя, он жил в чердачной камерке наверху высокого дома, фасад которого выходил на Большую площадь. Перед ними стоял кувшин с пивом, у обоих был заспанный и потрепанный вид. Однако глаза у них светились от потаенного удовольствия и оба, хотя с больной головой, предавались приятным воспоминаниям.

Особенно довольным и веселым казался Миккель, у него был торжествующий и почти вызывающий вид. Если внимательно приглядеться, в глазах у него было заметно какое-то почти женственное выражение, как будто он готов сейчас не то заключить в объятия весь мир, не то с таким же успехом пожелать ему провалиться ко всем чертям в тартарары!

Аксель не понимал, в чем дело, и с любопытством присматривался. На корабле он узнал про Миккеля нечто любопытное. Среди ночи он слышал громкие стоны, они доносились снизу из-под палубы, это были мучительные, протяжные вопли. В этих жалобных криках было что-то такое, отчего сжималось сердце: в них слышалась нечеловеческая тоска. Аксель хотел броситься на помощь; тогда ему сказали, что это кричит его рыжеусый приятель, ничего особенного с ним не случилось, просто в стельку пьян. Аксель все-таки пошел в трюм и увидел Миккеля; Миккель был не похож на себя, он лежал с перекошенным лицом, как злодей, привязанный к пыточной скамье. У Акселя до сих пор стояли в ушах эти жалобные стоны, которые издавал Миккель, при этом он изгибался дугой, касаясь опоры только пятками и затылком, его выкаченные глаза в страшной муке неподвижно глядели в потолок; Аксель слышал, как он задавлено хрипел и скрежетал зубами. Но теперь Миккель, как видно, чувствовал себя превосходно, лучше некуда.

Аксель перевел взгляд на круглые зеленоватые стекла окна. Сквозь него пробивался солнечный свет. Аксель распахнул раму. На улице был солнечный день. Крыши домов белесовато отсвечивали, внизу еле полз по протоке низко сидящий в воде ког

HYPERLINK "#с\_38" {38} , подставив ветру клочок

одного паруса, а вдалеке вставала высокая башня [HYPERLINK "#с\\_39" {39}](#) , ярко освещенная, она была отчетливо видна на фоне леса, можно было различить даже щербины в ее кладке, оставленные ядрами во время недавней осады. На площади под окном еще не просохла грязь и стояли лужи после вчерашнего дождя.

— Глянь-ка, Миккель, — воскликнул вдруг Аксель. — Похоже, в замке снова затевается праздник. К замку двигалась вытянувшаяся вдоль всей улицы вереница дворян и городской знати.

Миккель так и кинулся к окну:

— Значит, и мне надо спешить, — пробурчал он с беспокойством. Никак нельзя было ему где-то прохладиться, коли там что-то затевается; пожалуй что не оберешься теперь неприятностей. И Миккель, не мешкая, отправился на службу.

Аксель остался стоять у окна и видел оттуда, как вся знать и все богатеи Стокгольма вереницей тянулись к замку. Перед ним проскакали рыцари на пышнохвостых конях, их шляпы были украшены драгоценными камнями, камзолы оторочены мехом, на ногах сверкали золоченые шпоры; проехал мимо дряхлый и согбенный епископ Маттиас, красный бархатный плащ его ниспадал по бокам приземистого и невзрачного мышастого конька и, словно алый мак, горел на солнце. Важно выступали за всадниками знатнейшие горожане в богатых негнущихся одеждах, с длинными посохами в руках; шагом ехали дворянки; из боковых улиц прибывал еще народ и вливался в общее шествие, они текли к воротам замка и поглощались каменным зевом круглой арки.

Вдоволь наглядевшись на процессию, Аксель отошел от окна, потянулся, расправляя плечи, и уже не знал, чем себя занять.

— Сигрида! — Он еще раз с хрустом потянулся и улыбнулся, взволнованный сильным чувством. От нахлынувшей тоски по ней вся кровь в нем вскипела, распирая голову и грудь. Еще раз он оглядел свою каморку, заваленную оружием и конской сбруей, и пришел в полное отчаяние. Тогда он повалился на кровать да и уснул.

Проспав несколько часов, он пробудился и отправился в город. Солнце пекло, улицы точно вымерли. Только от постоянных дворов доносился гомон гуляющих солдат, однако даже хмельные голоса звучали глуше обыкновенного; сплошные празднества продолжались в городе уже третьи сутки. Аксель бродил по улицам, влекомый смутной надеждой. Он искал Сигриду. Убедившись, что поиски будут напрасны, он наугад выбрал среди шхер лесистый островок и долго шатался по нему, пока не исходил вдоль и поперек, как будто за какой-нибудь сосной его могла ожидать встреча с Сигридой. Там Аксель встретил закат и увидел, как зачернели островерхие крыши встающего из свинцовых волн города, резко выделяясь на фоне желтоватого неба. В городе зазвонили колокола, призывая на вечернюю мессу. С севера крутой стеной напозлали мрачные тучи, а на юге протянулась невысокая кромка тумана, словно там еще брезжил уходящий день.

Когда Аксель вернулся в город, уже совсем стемнело, повсюду царил покой, было очень тихо. Он взобрался к себе под крышу. Входя в каморку, он с порога услышал легкий женский возглас облегчения, как будто пропела птичка, и тут же кто-то бросился к нему на шею. Это была Люсия! Он засыпал ее расспросами: «Как, мол, ты сюда попала, ведь тебе нельзя показываться в городе, и как нашла дорогу на мою верхотуру?

«Да, чего же тут, мол, особенного — ты сам и рассказал, где живешь!» А что касается всего прочего, тут уж она исхитрилась и всех сторожей обманула.

Аксель принес еду и вино.

\* \* \*

А в это время Миккель Тёгерсен стоял в карауле в большом зале королевского замка. Он стал свидетелем рокового события в истории Северных стран[HYPERLINK "#c\\_40" {40}](#). Несмотря на то, что он присутствовал лишь в качестве зрителя, это наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.

Никто не предполагал заранее, чему суждено было случиться. И все избранное общество, которое с таким удовольствием беседовало между собой, наполняя просторное помещение пчелиным гудением, все это собрание, которое грелось в лучах столь близкого королевского солнца, благодушествуя в приятном ощущении чистоты и благолепия своих пышных нарядов, внезапно замолкло, и все притихли, точно мыши. И только один скрипучий и напряженный голос, то повышаясь, то понижаясь, гулко раздавался под высокими сводами. То говорил Густав Тролле. Его одинокий голос прозвучал предвестием надвигающейся беды, подобно тому как бывает в природе перед грозой, когда все замирает в гробовой тишине, среди которой громко раздается стук дятла, долбящего в чаще леса сухую ветку. Но от смысла сказанного у всех точно обмякли ослабевшие колени; немало слушателей, внимая этим словам, обливались, наверно, холодным потом.

Архиепископ ворошил сейчас неприятнейшие истории.

Миккель смотрел на Густава Тролле и не узнавал его лица. А он уже давно присматривался к архиепископу, потому что питал к нему в душе слепое восхищение. Густав Тролле, подобно Йенсу Андерсену, был ученым и влиятельнейшим человеком в своей стране, редкий умница и закаленный солдат, он был воплощением святости и полнейшей безнравственности, он владел всеми знаниями своего времени и богатейшим состоянием; никто не мог превзойти его в глубоком понимании богословских и правовых вопросов, а также в стратегическом таланте. Однако прежде при виде его лица Миккелю бросались в глаза избороздившие его глубокие морщины, на нем ясно были написаны несчастья, преследовавшие этого человека, в нем читалась нездоровая озлобленность, да и униженность можно было заметить в его чертах. Серьезное выражение, которое могло бы скрыть множество потаенных черточек, казалось, придавало этому человеку лишь вид уныния, улыбка его не красила; пожалуй, он был похож на серенького, одуревшего от забитости писаришку.

Но сейчас это лицо словно бы переплавилось наново и застыло. Такое же превращение происходит с робким и обожающим любовником — когда настал его час, тогда умильная сладость взоров сменяется неумолимой решимостью, а просительное ухаживание — грубой и властной требовательностью.

С этим своим архиепископом шведы обошлись со всей жестокостью, которую только способен навлечь на себя жестокосердный человек. Мало того что они сровняли с землей его замок вместе с укреплениями и разграбили его кафедральный собор, вдобавок они отняли у него все имущество, бросили его самого в темницу, как вора и разбойника, и подвергли пыткам. Они ожидали, что королем сядет его противник Стен Стуре[HYPERLINK "#c\\_41" {41}](#). Жители Севера всегда больше всего свирепствовали против себя же. Но королем стал Кристьян, самовластно завладев престолом вопреки желанию шведов и сломив их вооруженное сопротивление, и вот грянул час расплаты. Йон Эриксен, чья жизнь обернулась из-за его дарований чередой горьких несчастий, читал перед

собранием обвинительную грамоту. В этом самом замке, окруженном могучими укреплениями, он три года просидел пленником, еще не успели зажить раны на его щиколотках.

По мере чтения в зале поднялся ропот, собрание пришло в растерянное движение, люди заметались, как звери, попавшие в ловушку.

А события продолжали развиваться своим чередом, как и следовало в тот день, когда два сходных и в то же время несовместимых народа дошли до последней черты, за которой им предстояло расстаться. Сама судьба предназначила их для братского союза, ибо не могут единокровные братья жить друг без друга, зато они и терзают, и мучают друг друга, не дрогнувшей рукой наносят один другому кровавые раны, пока не пробьет наконец час разлуки, когда они разойдутся в разные стороны, унося в сердце своем смертную тоску.

В этот вечер несчастья усугубились еще одним непредвиденным обстоятельством, которого не могли бы измыслить нарочно самые злокозненные умы. Возникло оно по вине женщины, вдовы Стена Стуре. Поступая в согласии со своими убеждениями и общественным положением, она носила при себе некоторые бумаги, документы государственной важности; ей было немногим больше двадцати лет. И, единственная из всех присутствующих, она ответила на предъявленные обвинения, огласив документ, из которого явствовало, что все преступления против Густава Тролле и церкви совершены были по решению шведского Государственного совета и утверждены первыми людьми Швеции! Однако здесь шла речь вовсе не о правомочности того или иного решения Государственного совета, а о вещах гораздо более существенных. Таким образом, суд без хлопот узнал имена виновных и заполучил их собственноручные подписи. Водой можно залить обычный костер, но могучий пожар, вспыхнувший ярким пламенем, от воды разгорается только сильнее; одним словом, сам черт, наверно, постарался подкинуть суду эти документы.

Затем двери отворились и впустили вооруженных солдат; вошли латники с обнаженными мечами и начали брать под стражу обвиняемых.

Йенс Андерсен собрал под своим началом ученых юристов и повел разбирательство. Великий богослов и барышник умел привести букву закона в соответствие с требованиями момента, в этом деле он следовал велениям своей могучей души. И она подсказала ему правильный путь. Но и глубочайшая, сокровеннейшая правда, правда дьявольская, на сей раз дала осечку и не могла спасти Севера. Для северян характерно такое великое неприятие счастья, что даже крайнее, радикальное средство спасения приводит у них лишь к тому, чтобы навсегда покончить с малейшей надеждой. Такая мистическая рознь овладела этими народами, так неотвратим был тяготевший над ними рок! И государство Севера треснуло и развалилось натрое, словно камень, перекаленный в костре.

Это совершилось в день 7 ноября 1520 года.

Но тот, кто все держал в своей руке, кто собрал все эти неукротимые головы и воспользовался ради своего королевского дела талантами, злостью и коварной изощренностью честолюбивых умников, он в этот час сидел один в своей комнате, покуда слуги делали за него то, что следовало совершить.

Миккель Тёгерсен видел короля: Кристьерн сидел за столом, расправив плечи, едва касаясь стула выпрямленной спиной; он казался черным, как сажа, на фоне горящего позади камина. Миккель внес в комнату свечи. Он увидел лицо короля, оно было полно напряжения и одновременно расслаблено; у него было лицо человека, который, собрав все силы, готовится принять давно исполненное решение.

## ЛЮСИЯ

Люсия, дитя сумерек... А ведь она была молода! Она была падший ангел; одним словом — человек. У нее были сросшиеся над переносицей брови, сумрак отметил ее чело своей печатью — знаком нетопыря.

Смеяться Люсия не умела и только невесело ухмылялась, как бессловесные существа, которые в знак ли привета или предостережения одинаково скалят зубы. Лишь изредка она смягчалась, и тогда ее улыбка напоминала сентябрьский день в Дании, когда беспечные птицы стаями резвятся в воздухе, но блеклые осенние цветы стоят тихо, умудренные иным предвиденьем. Увы, Люсии не исполнилось еще двадцати лет, а груди ее уже начали обвисать, и, как ни грустно, они были жестки, словно рано опавшие плоды.

Порой Люсия напевала отрывок какой-нибудь песенки, но радоваться не умела. Она ничего не могла другого, как только падать и опускаться, словно она тонула в морской пучине, погружаясь на дно. Она выбрала такую жизнь по доброй воле, и потому в ней чувствовалась какая-то пугающая, бесчеловечная холодность; однако, невольно и неведомо для нее самой, все ее существо выражало простодушное недоумение, она напоминала навозного жука, который свалился на спину в дорожную колею и барахтается в ней, старательно перебирая лапками, делая последние шаги, пока его не раздавит проехавшее колесо.

Но были в эту ночь мгновения, когда Люсия сияла, облеченная царственным величием греха. Сумрачное ее чело озарялось ореолом неутолимого желания и ужаса, душа ее вспыхивала в безумных блуждающих очах, подобно взору крестоносца, узревшего, как пышным цветом пробились вокруг святого креста на его груди роскошные гроздья кроваво-алых роз.

Аксель задремал.

И снилось ему, что он неуклонно соскальзывает в иной — половинчатый, расплывчивый — мир; он сидел на берегу моря, и рядом была Сигрида, ему снилось, что на него напала неодолимая дремота. Он все-таки встал и, шатаясь, побрел, чтобы приготовить постель, и долго боролся с волнами, укладывая их и разглаживая, а одну — белоснежную — взял вместо подушки, но как ни старался, все уплывало у него из-под рук: только схватится за кончик простыни — глядь, она уже плеснула в руках и растеклась, и нету ее... дольше всего он пытался управиться с непослушными подушками, но в конце концов бросил.

...А немного погодя Аксель и Сигрида отлетели от земли. Вот они постояли, паря в воздухе, и Сигрида взяла его за руку. А потом они полетели далеко и высоко-высоко, но сонному Акселю все казалось, что надо лететь дальше и выше в небеса, и мнилось ему, что где-то на краю света есть нечто такое, что они должны увидеть. Они летели уже долго, и вот Сигрида начала уставать, ее полет отяжелел, и она стала жаловаться, и тут оба обрушились вниз. Аксель проснулся. Он снова засыпал и снова видел чудеса, а проснувшись, не мог их припомнить.

— Покажи, есть ли у тебя родинка, чтобы мне по этой отметине узнать тебя в аду, — стал просить уже полубезумный Аксель на рассвете.

Люсия засмеялась стыдливо, она чуть не плакала от счастья, и показала ему рубцы, которые остались у нее после наказания плетьюми; шрамы оплетали ее спину, точно бледные камышинки, и, как камышинки, оканчивались сверху коричневой шишкой в том месте, где кожу целовал грубый узел кнута.



...И опять Аксель не заметил, как сомкнулись его вежды, и снова он летал, но уже один. Стоя во весь рост на воздухе, он летел по улицам Стокгольма вровень с нижними краями крыш, прижав к бокам локти, словно бегун; его поддерживала на лету какая-то внутренняя сила, и он плавно и сильно стремил свой полет. Пустынные улицы настороженно замерли в сумеречном свете; далеко впереди, в глубине глухих переулков, шевелятся какие-то тени и бегут без оглядки прочь; но в тех местах, над которыми он пролетает, ему не попадает ни одной живой души. Горит и пламенеет золотом желтое небо, словно лелея блаженную тайну.

Вдруг в конце улицы вырастает поперек его пути стена высокого дома; Акселю становится страшно, как бы не разбиться о мрачную преграду, какие-то лица смутно маячат в оконных проемах; напрягая все силы, Аксель успел круто взмыть вверх, он легко переносится, через конек крыши, чуть-чуть не задев за него. Дальше он уже парит низко над землею, цепляя ногами за ветки и макушки деревьев. Но внезапно он опять преисполнился силы, и воля стремится его вверх, все выше, а небеса стали еще глубже и еще ярче горят золотом, он круто взлетает ввысь и повисает выше всех колоколен невесомой пушинкой среди чистого, вольного воздуха.

Летит Аксель, а внизу, глубоко под ногами бесшумно ходят волны в морской купели, прямо под собой он видит плывущий корабль и тревожно соображает, куда лежит его путь и сможет ли он в своем полете встретиться с кораблем. Ему чудится, будто лишь крайним усилием он направляет полет к желанной цели, хотя, казалось бы, и летит туда, куда хочет, по собственной воле. Но вот он благополучно опустился на палубу.

То был корабль счастья.

На носу корабля стоит дикарь и смотрит вперед, позабыв все остальное на свете, он весь — взор, устремленный в туманы моря; плывет корабль, с волшебной легкостью кланяясь на волнах.

Это Колумбов корабль счастья. Вот сам капитан потонувшего судна стоит у руля и, всматриваясь мертвыми глазами в компас, держит курс на юг; справа и слева стоят рядом с ним два нагих лесных гнома, от ветхости оба сочатся ядом. И паруса на реях, надутые ветром, тонки, как паутина, их пронизывает сияние звезд.

На корме в высокой каюте, на палубе, в трюме — везде, в каждом углу ждут женщины со всех концов света; всяких тут есть по одной, каких только можно найти в самых разных краях земли. Много там белых, от юных и тонконогих с едва обозначившейся грудью до жен пышнотелых, у которых от тяжелых юбок заглубели коленки; от барышень беленьких, отмытых до скрипа, до девок простых, деревенских, с дыханием молочно-парным, чьи мощные руки шершавы, покрыты пушком и увесисты, словно дубинки. Есть там смуглянки дерзко-невинные, есть женщины огненно-рыжие с ножками снега белее. Есть царственные пунцовогубые негритянки, украшающие стройные, угольно-черные бедра ожерельями из тигриных зубов; арабские девы — тонкие, гибкие, как леопарды; роскошные красавицы, взращенные в богатых польских усадьбах; миниатюрные создания из срединной Азии, нежные, как цветы; и островитянки из Южных морей, которых не видел еще ни один европеец.

Все они разнятся между собой — ростом, годами, сложением, — подобно тому как не сходны они нравом своим и мышлением. Одна с безмятежной улыбкой напрямик говорит все, что подскажет ей мудрое сердце; другая, с ясным, веселым лицом, — в душе затаила печаль; одни явными недостатками готовы хвалиться, другие ходят потупив очи и стыдятся своей безупречной стати. Есть

одна — кособока слегка, потому что и без нескладных нельзя обойтись на корабле счастья; одна — не совсем бела; другая полнотой удивляет, чрезмерно раздавшись в боках; зато и хрупкие девицы есть на корабле счастья. По отдельности вряд ли какую можно назвать совершенной, но лишней нет ни одной; и все это множество вместе близко уже к совершенству. На корабле счастья все они равны, ибо пленительна каждая.

Плывет по морю корабль счастья, с волшебной легкостью кланясь на волнах. Корабль счастья. И Аксель во сне на нем побывал. И чувствовал близость Сигриды.

Но тут он внезапно проснулся, и оказалась у него — Люсия.

Солнце давно уже встало, на площади спесиво и звонко пропели трубы.

— Ничего, — пробормотала сквозь сон Люсия, — просто трубы трубят, — и, поворочавшись с закрытыми глазами, легла поудобнее.

Но Аксель встал и отворил окно. Выглянув, он увидел стоящих в два ряда солдат с алебардами, их строй тянулся через площадь от замка до дверей ратуши. Кроме солдат на площади не было ни души. А у дверей ратуши...

— Поставили эшафот! — сказал Аксель и отошел от окна. Подхватив одежду, он торопливо натянул ее на себя. Люсия перевернулась на спину и, окончательно пробудившись от сна, безмолвно следила за ним глазами. Аксель вышел из комнаты и спустился вниз.

Скоро он вернулся. Входная дверь была заперта, и ему сказали, что герольды недавно объявляли, чтобы стокгольмцы сидели по домам и не выходили за порог.

Аксель подошел к окну и стал ждать. Прошло полчаса, прошел час, ему все больше не терпелось узнать наконец, что все это значило. Однако ничего не происходило. Несколько человек копошились вокруг эшафота, приводя его в порядок, кроме них ничего не было видно, только две шеренги солдат, протянувшиеся через всю площадь к замку. Наверх доносилось оттуда еле слышное бормотание и перешептывание. На улице стоял промозглый холод. Время от времени перед шеренгами солдат галопом проносился кто-нибудь из начальников, ровняя строй, затем он снова удалялся и застывал у закрытых ворот замка.

Спустя час Аксель еще раз подошел к окну поглядеть, что делается внизу, и увидел все те же шеренги.

КРОВАВАЯ БАНЯ[HYPERLINK "#c\\_42" {42}](#)

Тишь стояла в Стокгольме. Только цокают копыта конных разъездов, которые скачут по улицам, проверяя, все ли заперты двери.

Что же там делалось! Какие сцены вставали в воображении обывателей за запертыми дверьми! Все примолкли у себя по домам, из каждого окошка выглядывало непонимающее лицо с вытаращенными глазами, к каждой щелке приникло по настороженному глазу. Весь город кучно лепился на своем островке, словно большой муравейник, по бокам на все стороны торчали вверх подъемные мосты, словно разинутые челюсти, а внутри по тесным комнатушкам тысячи доведенных до иступления душ, очумев от темного страха, строили самые дикие предположения. От муравейника, кишящего растревоженными муравьями, исходит особенный кисловатый запах; таков сейчас был воздух Стокгольма, отравленный незримым чадом расстроенного воображения.

Лишь около полудня — Аксель к этому времени не находил себе места от бешенства, вновь и вновь видя перед глазами неизменно ровный и терпеливый солдатский строй, — около полудня наконец —

началось.

Да, все эти люди, которые вчера, разряженные в пух и прах, шли в замок, преисполненные чувства собственной значительности для страны, сейчас шли обратно.

Можно было подумать, будто знатнейшие мужи Швеции всю ночь, не жалея сил, учились ходить правильным строем. Туда они шли вразброд, как придется, сегодня возвращались построенные согласно чину и званию, впереди — высокое духовенство, за ним — дворяне соответственно знатности рода, а замыкали шествие правящие бургомистры, члены магистрата и состоятельные горожане. Никто уж не возвышался в седле, все нынче спешили и сравнились и брели покорно, словно стадо попарно связанных овец. Палач, протомившийся все утро без дела, дождался наконец своего часа. Стройной процессией приблизились они к эшафоту; разбитые подагрой старички епископы плелись довольно понуро; среди дворян иные выступали гордо, как заносчивые бараны; некоторые горожане вскидывали и мотали головой, совсем по-овечьи, как бы силясь сбросить веревку; но большинство послушно следовало за стадом. Всего их было тридцать или сорок пар. Архиепископ Маттиас из Стренгнеса за свой высокий сан удостоился чести первым сложить голову на плахе: он все еще был облачен в алый бархатный плащ. Аксель узнал его, когда старичок, опустившись на колени и сложив руки, обратил вверх свое сморщенное личико. Но время не ждало, палачам предстояло немало хлопот. Архиепископ поднялся с колен и стал раздеваться под открытым небом.

Тут Акселем овладело страшное беспокойство, его точно колотило изнутри. Он обернулся к Люсии, которая выглядывала у него из-за плеча, и отпихнул ее от окна.

— Не смотри на это, — бросил он ей в таком лихорадочном возбуждении, что она задрожала; Люсия снова спряталась в постель.

Когда Аксель воротился к окну, казнь уже совершилась. Полуголое тело архиепископа Маттиаса лежало на земле в одних штанах и чулках, а голова лежала рядом, чуть в стороне от него. Алый плащ... Нет, то была его собственная кровь, которая широко растеклась вокруг.

Аксель не успел отвести глаз от этой бедной отрубленной головы, как свистнул ему в уши меч палача и хрястнул удар, и на глазах у него вторая голова отпрыгнула с плахи на землю, и вслед брызнула струя крови. То была голова епископа Винсента из Скары. Тем временем раздевался Эрик Абрахамсон Лейонхувуд. Площадь заволновалась, слышались громкие выкрики и ругательные слова. Весь в огне и в лихорадке, Аксель глядел в окно. Он увидел, как очень тучный дворянин, воздевая руки и махая ими в воздухе, держал речь, но невозможно было понять ничего, что он выкрикивал срывающимся голосом. По ту сторону площади в окнах верхних этажей видны были лица, и речь мятущегося человека, видимо, обращена была к ним. Но те ему не отвечали. Аксель посмотрел на серые тучи, они плыли над самыми крышами, время от времени покрывая площадь мелкой сеткой морозящего дождя.

Аксель видел, как одного за другим хватали и уводили людей, и узнавал среди них представителей высшей шведской знати. Некоторые торопились и впопыхах сами раздевались, путаясь в рукавах, другие дожидались, когда с них стащат платье, предоставляя палачам управляться, как им вздумается. Стадо теснилось и жалось друг к другу, окруженное со всех сторон вооруженными солдатами. Среди последних Аксель разглядел Миккеля Тёгерсена и еще кое-кого из своих товарищей.

Аксель уже успокоился и наблюдал сверху за тем, как распоряжался внизу Йорген Хумут, руководивший работой палачей, помахивая затянутой в перчатку рукой — ради такого случая он вырядился, как на праздник.

Уже много голов полегло кругом, вернее, они торчали на окровавленной земле, словно высунувшиеся из воды пловцы. Кровь растекалась по площади, образуя фигуру, похожую на гигантскую букву. Всякий раз, как Аксель подходил к окну, у этого рунического знака уже успевали вырасти новые ответвления, словно бы с каждым разом он приобретал новое значение. Казнь следовала за казнью с утомительным однообразием. Ненастный день становился все пасмурнее, собирался дождь. Толпа людей редела, зато высились горы трупов.

Аксель глядел, затаив дыхание. Когда легла вся родовитая знать и недостижимые для простого смертного вельможи, а палачи еще более рьяно принялись рубить головы простым горожанам, Аксель вдруг с головокружительным чувством — ибо увиденное не укладывалось в его сознании — ощутил всю непостижимую огромность власти, которой должен располагать король, когда такое совершается по его велению! Он мысленно представил себе короля — его коренастую фигуру с мощным торсом, медвежьи плечи и толстые, как бревна, руки. Такому человеку по плечу тяжелое бремя, он способен горы своротить с этим повелительным лицом. Аксель припомнил взор короля, подобный острию копья, его беспокойные брови. Он вспомнил голос короля, безжалостный от переполнявшей его гордыни. Он ощутил веяние самовластного духа и склонился перед державной силой.

Наконец Аксель отошел от окна и захлопнул ставни.

Они с Люсией сели обедать. Люсия не выказывала никакого любопытства и не расспрашивала его о том, что происходило на площади. Поев, они легли спать. За окном лил проливной дождь.

\* \* \*

День смеркался, когда Аксель проснулся, разбуженный каким-то шумом на чердаке: слышались шаги человека, который старался ступать как можно легче; они удалились в глубину чердака и смолкли. Аксель вспомнил о пустующей чердачной камерке с окном на двор, вскочил с постели и выбежал на чердак.

Едва он открыл дверь, какое-то чутье подсказало ему, что в тот же миг кто-то бывший здесь спрятался. Остановившись на пороге, он огляделся по сторонам; в камерке стояла пустая кровать, ставни на окне были приоткрыты. Вдруг на кровати приподнялся и сел живой молодой человек из плоти и крови; судя по одежде, это был юноша знатного происхождения, у него было бледное и продолговатое лицо; выскочив из кровати, он улыбнулся Акселю полуиспуганно, но в то же время и как бы полущутливо. Он был очень высок и тонок в талии, над верхней губой темнела узенькая полоска; молодой человек был одет только наполовину. Вдруг Аксель заметил, что при нем нет оружия, и в тот же миг увидел на запястьях пришельца багровый след веревки.

Тут уж Аксель все понял, он так и сорвался с порога навстречу незнакомцу, они заговорили, перебивая друг друга.

— Поди сюда, — сказал Аксель быстро.

— За мной гонятся, — принялся объяснять другой как бы в извинение. — Меня зовут...

В тот же миг лестница, ведущая на чердак, громко закрипела, и грубый голос ворвался в тишину дома. Беглец огляделся по сторонам, ища, где бы спрятаться; он был в растерянности, но не испуган;

несмотря ни на что, он взял себя в руки и попытался улыбнуться, сейчас, казалось, он пустится бежать, но на самом деле не стронулся с места. Тяжелые шаги загромыхали по чердаку. Аксель стал с силой пихать незнакомца, словно заталкивая его в угол, где по крайней мере было темнее, чем тут, на самом виду, и пришелец, пошатываясь под его натиском, все так же улыбаясь, отодвинулся в сторону, куда его толкали. Но тут он выпрямился и сдвинул брови. И в этот миг плечистый ландскнехт, весь в коже, гремя железом, врывается в дверь, словно сорвавшийся с привязи разъяренный бык, волочащий за собой порванную цепь, длинный меч ландскнехта задел за дверной косяк и запружинил в ножнах. Аксель стоял перед ним раздетый и безоружный; он отлетел, словно пушинка. Рука его оказалась снаружи за окном, и он, сам не зная как, отломил от крыши кусок подгнившей доски, но он даже не успел осознать, что происходит... — топот ног, короткая схватка, словно между буйволом и жеребенком. Аксель вдребезги разбил свою палку о шлем солдата, услышал его запаленное дыхание, и тут внезапно схватка кончилась, и противники разлетелись в разные стороны. Молодой незнакомец, шатаясь, пятился назад, через несколько шагов остановился, как будто хотел набрать побольше воздуха, и вдруг издал звенящий крик.

Все это продолжалось каких-нибудь три-четыре мгновения. Огромный обезумевший детина одним прыжком вскочил на подоконник и протиснулся из окна на крышу.

— Да куда же ты, одурел, что ли! — невольно крикнул вслед ему Аксель, он знал, что до земли здесь будет двадцать локтей[HYPERLINK "#c\\_43" {43}](#). Но над подоконником показалась грубая, потная рожа солдата. Аксель увидел, как он разевает пасть и хватает воздух, повиснув снаружи за подоконником, за который он уцепился руками, чтобы спуститься вниз. Вот он отпустил одну руку, через мгновение исчезла и другая. Аксель бросился к окну и увидел, как его недавний противник быстро и уверенно идет бочком по карнизу, пробираясь к наружной галерее, с которой вела лестница на потемневший двор. Обернувшись к незнакомцу, Аксель увидел, что тот зашатался.

— Он меня проколол! — прошептал молоденький швед, смущенно глядя на Акселя. Он резко выпятил грудь, схватившись за бока, взгляд его сделался блуждающим, как у больного или как будто он о чем-то просил, он подошел к кровати и лег навзничь прямо на голые доски. Один-единственный болезненный стон, затем мучительный хрип вырвался из его горла. Когда Аксель приподнял его, он был уже мертв.

Удар клинка пришелся ему в самое сердце. По лицу еще раз прошла дрожь, верхняя губа несколько раз дернулась. И было ему всего-навсего восемнадцать лет, он был ужасно худым и казался преждевременно постаревшим; быть может, он пережил голод во время осады. Аксель уложил как следует мертвое тело, сел рядом и смотрел. Он был совершенно раздавлен горем, внутри у него все сжималось в мучительной судороге, рассудок его мутился.

За дверью слышались крадущиеся шаги, кто-то шел через чердак, дверь скрипнула, Аксель вскинул голову и увидал вошедшую Люсию. Она увидела, что произошло, и тихонько легла подле Акселя, ее волосы упали на лицо покойника. В памяти Акселя, пока он там сидел, всплыло одно воспоминание. А вспомнил он, как однажды в зимнюю ночь лежал у костра в заледенелых лесах Тиведена, завернувшись с головой в одеяло, и думал о том, как страшно беден человек в смерти. Как раз тогда в армию пришло известие о смерти Стена Стуре. Датчане с большим удовлетворением приняли эту новость, и весь вечер, несмотря на собачий холод, в лагере царил веселье. Снег по-праздничному скрипел под сапогами, и звезды сверкали над лесом, переливаясь всеми цветами

радуги. Смакуя новость, кругом обстоятельно обсуждали, каким образом погиб этот опасный человек. Но Аксель, своими глазами видевший удар, поразивший Стена Стуре на льду Богесунна, и порадовавшийся тогда зрелищу сраженного врага — конь и всадник рухнули на сверкающий лед, ударившись в отражение коня и всадника, — этот Аксель вдруг задумался об одиноком человеке, помиравшем в санях со сломанной ногой над замерзшей пучиной Меларена [HYPERLINK "#с\\_44"](#) {44} . Он умирал, он должен был умереть.

В черном воздухе падал и падал снег, или то само небо, нависнув над землей, грозило пасть на нее; застонал и задышал лед под санями, словно уж вся земля изнемогла и не хочет больше нести эту ношу. И тут разорвалось человеческое сердце, не вынеся королевской заботы. Вся земля шведская ушла у него из-под ног, словно подломившийся лед, и текучие зыбкие волны, и все королевские замыслы, и болезнь, и страдания кончились для Стена Стуре, сидящего в узких санях, подобно тому как смолкает плач младенца, когда остановится укачивающая его колыбель. Когда к нему подошли, он уже был мертв. Снег больше не таял на его лице. Куда ни глянь — всюду раскинулись льды и снега, и ты, Стен Стуре, сидел смирнехонько. Откуда-то издалека, из морозной пустыни донесся еле слышный призыв: «Помоги!» И отзвук певучего призыва ответил: «О, Стен Стуре!»

\* \* \*

Поздним вечером пришел Миккель Тёгерсен. Он застал Акселя и Люсию над покойником, оба сидели по сторонам мертвого тела с горящими огарками свечи в руках. Миккель ничего не сказал, лицо у него было усталое и осунувшееся. Поглядев на убитого юношу, лежавшего на полу, он вызвался спустить его во двор, чтобы избавиться от трупа. Аксель и Люсия ушли к себе и легли; лежа в постели, они слышали, как Миккель вполголоса разговаривает сам с собой.

Когда Миккель, убрав покойника из дома, вошел к Акселю, тот спал. Люсия лежала с открытыми глазами, но она и бровью не повела при появлении Миккеля; уходя, он видел, что она все так же лежит — уставясь немигающими, печальными глазами на свечу.

Наутро Люсия проснулась первой. Свечки на столе догорели, но за окном уже рассвело. Она приподнялась и села в кровати, повела глазами, как будто прислушиваясь к позвавшему ее голосу. Затем легким движением открыла роговую ладанку на шее у Акселя, вынула пергамент и спрятала его в свой кошелек. Аксель успел поведать Люсии о своем сокровище, да и во сне о нем бредил. Люсия из предосторожности полежала еще немного, Аксель крепко спал. Она крадучись встала, оделась и тихонько ушла своей дорогой.

MISERERE!

Серое ноябрьское утро занялось над Стокгольмом нехотя, без рассвета; первым признаком жизни и движения была судорожно извивающаяся фигура, вздернутая на виселицу.

В середине дня жители начали понемногу выползать из домов, чтобы поглазеть, что произошло. Обезглавленные тела все еще валялись на площади среди крови и грязи после прошедшего ночью дождя. Их сторожили мерзнувшие на холодном ветру ландскнехты, которые подкреплялись для сугрева от промозглой сырости вином и пивом. Пополудни палачи опять принялись за работу, потребовалось казнить еще довольно много избалованных судом еретиков и изменников.

Тише тихого выдался день, скаредный и короткий, как никогда; едва начавшись, он перешел в вечер, так и не посветив хорошенько.

Клонясь к закату, солнце запыхало сквозь тучи костром, и все облака развеялись перед ним, и небо

постепенно очистилось, словно медленно приоткрывая очи. После захода солнца ясное небо еще долго светилось бледным светом. Далеко в открытом море еще долго виднелись, исчезая, десяток темных точек — то были любекские корабли, ввечеру они снялись с якоря и, подняв паруса, вышли в море. Сгущались на западе краски вечерней зари, задумчивы сделались небеса, так просторно стало вдруг на исходе минувшего дня, такого невозмутимого холода полон был этот вечер.

Среди этой тишины ударили колокола церкви святого Николая печальным протяжным звоном. «Да, да», — отозвались им тотчас же с Нёрремальма колокола в монастыре святой Клары и с церкви святого Якова. И на Сённермальме зазвучали колокола — то подавала голос колокольник Марии Магдалины. И когда все они загудели взыскующим хором, вместе с ними заголосили, часто причитывая, колокольцы малых часовенок.

Вот он град, окруженный водою, темнеет, как отколовшийся обломок суши. Остров-злосчастье, где каждый звук — плач, где бронзовые языки тревожат воздух и вопиют и воздух откликается вздохом под мучительно-ясным небом. И воздух гудит гулом и качается, словно живой, в страшной муке. Тонко плачет, рождаясь, залиvistый звон и замирает усталой волной. И, замерев, вздымается вновь, и вновь накатывает плач, и воздух от боли дрожмя дрожит, кричат уныло незримые глотки, и воздух ропщет.

Долго говорили городские колокола, долго, стеная, изобличали и вдруг разом грянули бурным набатом. И мгновенно в ответ на мятежный колокольный гром воздух, доселе стесненный, выдохнул криком, и звонкие вопли пронзительно разлетелись в горних высях: дикие, вольные звуки такой чистоты, какой на земле не услышишь, рождались в надзвездном пространстве. Как будто сонмы незримых существ заматались в пламенном небе, и белые гигантские тела, словно молнии, рассекали воздух и оттуда взывали, и сверху низвергались на землю их голоса, — они пели, взывали, и рыдали, и пели.

Миккель Тёгерсен вошел в город через мост со стороны Сённермальма. Он услышал колокола, он вступил в город и побрел по его улицам. Никогда прежде он не замечал, как низко ходит по земле пеший человек, никогда еще он с такой остротой не ощущал себя на самом дне своей подневольной жизни, так низко, что дальше некуда. Жалкие домишки больше возвышались над землею, чем он, бредущий у их подножия; он взглянул снизу на громады деревянных строений, низко склонил голову и поплелся дальше, точно вол, влекущийся под гнетом ярма. У подножия домов с одной стороны улицы тянулась сточная канава, полная стоялой бурой крови, которая стекла сюда с площади. Дул ветер, и воздух до самых высот казался истощенным от лютого холода. Холодно было, холодно! Миккель прошел через площадь, где грудой лежали казненные, целая гора совершенно неподвижных тел; он направился к церкви святого Николая.

На паперти закопошились хворые и калеки и устремились навстречу Миккелю, боясь, как бы не опоздать со своим убожеством; подымаясь со ступеней, они трясли своими лохмотьями, и оттуда пахло тяжелым духом гноящихся язв.

Один, одетый в белую суконную рвань, показывал свои беспальные, прежде времени истлевшие руки, протягивая за подаянием вместо них свои губы. Ощупью приволокся на звук мальчик с глубокими кроваво-красными язвами вместо глаз. Другой молодой калека приполз по ступеням, толкая перед собой доску с двухпудовой тяжестью своей раздутой, как бревно, ноги, от которой разило тепловатой вонью воспаленного тела. Воздух над папертью был нагрет от густой испарины

горячечных больных.

Но внизу ступеней, в сумрачной тени под церковной стеной, сидело существо, представлявшее собой мешок тряпья да голову. У него было женское лицо, раздутое и перекошенное водянкой, существо было безного и безруко, и только глаза — жили; вот оно устремило прежде потупленный взор вверх, и когда Миккель глянул вниз с состраданием, он содрогнулся при виде злобного выражения этих глаз; из них прыснула на него звериная злоба, лютое зложелательство ко всему свету.

При входе в церковь на Миккеля повеяло запахом ладана, высокое пространство воздвигалось над его головой, сквозь загадочный сумрак пробежали таинственные блики по мощным каменным плитам, негромко гудел орган, стая звуков витала вверху под темными сводами. Лишь кое-где на торжественно убранных алтарях горели свечи.

Миккель не пошел дальше порога, он стал в уголке у входа и, чувствуя, что ноги подламываются от усталости, уселся в темноте прямо на полу. Он закрыл глаза.

Тихо гудел орган. От этих звуков Миккелю делалось и легче, и в то же время тяжелее на душе.

Такова уж его всегдашняя судьба — быть отверженным, оставаться за порогом. Поэтому и целительная музыка слышна ему приглушенно, из отдаления. Он бесприютен, и нет ему пристанища. Не успел Миккель это подумать, как в тот же миг звуки вдруг хлынули во всю мощь, точно во всю ширь отверзлись закрытые врата! И, ликуя, вознеся в вышину звонкий хор, зазвучала песнь. Все тонкие трубы органа запели ее в полную силу, молодыми и чистыми голосами, под траурный рокот и задушевные бархатные ноты басов. Песнь ширилась и росла.

И Миккель умилился в сердце своем.

— Господи Иисусе! — возопил он. И он открыл свою душу всесильному. И почувствовал тогда, как растаяло бремя его одиноких лет.

Да, он был одинок. Но одинокий обречен, и однажды это непременно обнаружится. В бессвязном потоке времен вязнет мысль; ясность и простота все дальше отступают и покидают тебя. Могучие силы, которые ты в себе ощущал и которыми так гордился, словно никто на свете не может сравниться с тобой, ныне подорваны сомнением: что значит твое воображение, если миру сему оно не опора? Ты таков же, как все прочие, — не сильнее других, но среди всех ты пребудешь один как перст, судьба твоя — быть одиноким.

И что же с тобою стало? Куда подевалась природная доброта твоего сердца, глубокая потребность творить всем добро, потребность, которая в юности не давала тебе спать по ночам? Жизнь не дала тебе утолить могучее стремление к счастью, она понудила тебя к ненависти и мести, и ты стал бесприютным скитальцем. И тогда ты возмечтал, что сыщешь себе пристанище на чужой стороне и там на свободе сможешь горевать; хотя бы выплакать, на худой конец, свою непонятную болезнь. Но и то не сбылось, жизнь и тут не дала утешения, не позволив щедро излиться неистощимому кладезю страданий и слез.

Струится органый поток, утоляя печаль. Наконец-то слились горе и радость в блаженстве тоскующего плача. Звуки псалма врачуют дух, навеявая целительные видения. И сердце вдруг шелохнулось в груди, словно плод во чреве, словно наделенный собственной волей еще не рожденный младенец.

О! Как светло и упоительно поют прозрачные голоса; орган взывает, и гремит, и лепечет, и все, даже звериные, голоса звучат в его музыке, все безгласное заговорило первозданными голосами, слышны



трубы судного дня и белые флейты, поющие в райских куцах.

И тут вдруг открылся проблеск света и осветил дорогу, ведущую из царства смерти в страну великого лета. Собираются туда все погибшие из городов и с полей сражений, бредут пахари, бросив свой плуг, и моряки, причалив к берегу, покидают корабль, встают из могил погребенные, и все стекаются в толпы, чтобы идти этой дорогой.

Хладный ветер несбывшихся надежд свищет вокруг. Они идут за милосердием, ибо в жизни не знали ничего, кроме горя. И стоит в толпе скрежет зубовой, и тысячи проливают слезы и ломают руки, ибо горько жилось им в земной юдоли. И летит в вышину вопль страдания от идущей толпы, и, обратив бледные лики к звездам, молят они у звезд милосердия.

С враждебной земли поднимается стон бренного творения, вой всего, что подвластно губительному времени. И поет-завывает ветер о вечном земном увядании, о бренности всего сущего. Это самый холодный ветер из всех, что гуляют по свету, жало его пронзительней зимних стуж, в нем слышится призыв шелестящих льдистых иголок, что вальсируют в снежных тучах, в нем проносится эхом топот копыт, отзвуки смеха и жизни, уже минувшей; это — целый концерт, унылый и тихий! Чу! Вот под сурдинку слышится стук костей, и самый сокровенный звук всей этой музыки похож на шорох, доносящийся из гроба.

Тише! Вьюга взиграет в душе у тебя, коли осмелишься мыслить; забвение дохнет на тебя леденящим хладом. И в памяти зимней остается только метельная песня снегов.словно острое жало вопьется в твое сознание неслосная мысль о мраке.

Так внимают бедные земные изгнанники, и страх их объемлет. Они жмутся поближе друг к другу, но не от взаимной приязни, а скорей словно стадо, оставленное пастись на безлюдном острове, — во время осенней бури скотина выходит на самый край моря и, вытянув морды к желанному берегу, ревет, призывая на помощь.

Жизнь здесь проходит в полумраке, изгнаннику негде согреться, он всеми покинут и не знает дружеской ласки. Кто мерзнет сам, заботится о том, чтобы его ближнего тоже хорошенько просквозило; кто страдает в нужде и лишениях, тот по капле вливает яд зложелательства в сердце собрата по заточению. Долго тянутся тревожные ночи для одинокого, для незащищенного.

Но Миккель узрел царя всех страданий! Он расслышал его в музыке псалма. Он увидел, как Господь и Спаситель принимает под свою защиту всех безутешных; одного за другим он подбирает их с дороги, Бог не брезгует их наготой. Милосердный Спаситель дарует бедным утешение, согревая своим теплом. Узрел Миккель, как всем обремененным душам воздается по их заслугам и они, воспрянув, причащаются славы Господней. Льется на них музыка. И зрит Миккель всех, кого он знал в своей жизни, все собрались тут вместе, кого растерял он с годами: удрученные лица, которые он мельком заметил среди павших на поле сражения, вновь перед ним, ныне они воспряли. Зрит он отца своего Тёгера Нильссена представшим пред Богом в изувеченном старостью обличье — полновесно свидетельствуя телом своим. Он зрит отверстые небеса, и в сердце своем сокрушается он перед Богом. На коленях он выползает на середину церкви и там падает ниц.

#### НЕЗАМЕТНАЯ СУДЬБА

Шел снег. Большая площадь в Стокгольме покрылась мягким, сияющим белизною ковром, а снег все сыпал с вышины равномерным потоком. Еще на город не спустилась тьма, но в окнах уже засветились огни.

По всем улицам, выходящим на площадь, туда устремился по-праздничному нарядный народ; топчa первый снег, они сходились к высокому крыльцу городской ратуши. Ратуша сияла ярко освещенными окнами, город Стокгольм давал банкет в честь короля Кристьяерна. Едва приглашенные встали из-за столов и зал освободился, туда хлынула молодежь, которая давно уже теснилась за дверью, дожидаясь своего часа. Начинались танцы.

И вот заиграла музыка. Аксель первым вышел на середину. Он самозабвенно проплясал целый час, без памяти отдаваясь перипетиям танца, не заботясь о том, кто их с ним разделяет. Почувствовав жажду, он спустился вниз и по пути выглянул на улицу, там было темно, как в печной трубе, белый рой снежинок впорхнул в открытую дверь, словно стая мотыльков, летящая на свет. Аксель вышел на улицу и пустился по ним за несколько кварталов проводить расхворавшегося Миккеля. Миккель слег неделю тому назад, и, по всей видимости, дела его обстояли неважно.

В захудалой гостинице, где поселился Миккель, Аксель встретил компанию ландскнехтов, занятую выпивкой. Поздоровавшись с ними, Аксель прошел мимо, в глубину помещения, откуда был вход в комнатуху, где лежал больной Миккель. Там было темно и душно от застоявшегося воздуха. У Миккеля был жар; слабым, горячечным голосом он осведомился, кто там пришел, Аксель зажег свечу и пожал потную руку Миккеля.

— Ну, как дела?

Миккель представлял неутешительное зрелище. Лицо его было покрыто красными пятнами, по лбу струился пот, он так исхудал, что страшно было смотреть. От неодолимой усталости он еле приоткрыл веки, и тут же они снова закрылись, глаза у него были воспаленные и мутные.

— Гм, — только и сказал удрученный его видом Аксель. Он опустился на соломенный стул возле кровати и несколько минут просидел, разглядывая лицо больного. Миккель отрывисто и быстро дышал и ерзал головой по подушке, словно ему хотелось, но не было сил перевернуться поудобнее. Аксель подал ему воды, но он только скривил рот, показывая, что не хочет.

Похоже было, что Миккель так и помрет в этой запустелой комнатенке. Вот чего он достиг. На побеленной стене висел его боевой меч с рукояткой, истертой хозяйской рукой. Но сейчас руки Миккеля казались вялыми и бессильными. Жесткие усы, тронутые проседью, слиплись от слюны. Облысевший лоб как-то странно выпятился углами, суровый и жалкий, словно топором рубленный и кое-как сколоченный деревенским столяром. А щеки у него совсем запали.

Аксель не знал, что и сказать. Да и о чем тут было говорить. Акселю было невыразимо тягостно. Ему хотелось стереть слюзу с усов Миккеля, но он так и не решился. Он долго просидел над Миккелем, глядя, как тот терпеливо и, по своему обыкновению, скрытно переносит свою болезнь.

— Ну что ж, — пробормотал наконец Аксель и встал. Склонившись, чтобы погасить свечу, он еще раз попытался поймать взгляд Миккеля, затем пожал его горячую руку, пробубнил что-то на прощание и ушел.

На улице тьма была, хоть глаз коли, вдобавок он невольно зажмурился от снега, поэтому Аксель нечаянно налетел на какого-то прохожего, он засмеялся, и прохожий засмеялся тоже — это был быстрый девичий смех.

— Сигрида! Сигрида! — воскликнул обрадованный Аксель и протянул руки, чтобы снова поймать ее. Но затем, прислушавшись к шагам, понял, что она идет с провожатыми, они прошли молча, и он сообразил, что зря раскричался. Встреча произошла у входа в ратушу, и когда двери открылись и

оттуда на крыльцо упал свет, Аксель разглядел, что Сигрида пришла в сопровождении брата и какой-то пожилой женщины. Аксель отвесил им почтительный поклон.

С тех пор как Аксель протанцевал с Сигридой весь вечер в день их первого знакомства, он неустанно ее искал, но так и не мог найти. А теперь не был уверен, как надо себя вести. Но Сигрида сразу, без жеманства, открыто посмотрела ему в глаза. Они пошли танцевать. Сигрида была еще вся холодная после улицы, от ее платья на Акселя веяло холодком, от волос исходил нежный холодноватый запах, свежее лицо сияло румянцем.

— Как могло случиться, что мне не удавалось тебя разыскать? — спросил Аксель во время танца, горя от возбуждения. А Сигрида, продолжая танцевать, задумчиво молвила ему в ответ: «Да». Вот что сказала ему девица Сигрида.

Пламя свечей так и плясало по стенам, словно их шустрые огоньки не могли гореть спокойно и ровно, покуда впивают питательный жир. Половицы сотрясались под ногами кружащихся пар. Просторный зал был едва освещен, углы тонули в полумраке, и по краям двигались в танце странные тени; увечных теней здесь было больше, чем живых людей. И холодный сквозняк раздувал висевшие по стенам ковры. И музыка визгливо завывала, и кружились пары, и невесомые тени в смертельном прыжке перемахивали через мрачные пропасти в темных углах.

— А я не мог вспомнить, какая ты на самом деле, — задыхаясь, влюблено шептал девушке на ухо Аксель во время танца. — Я запомнил тебя иначе. А на самом деле ты... — Он долго молчал, и грудь его ходила ходуном. — О, Сигрида!

Сигрида двигалась в танце, точно погруженная в непостижимые грезы.

— Да, — отвечала Сигрида нежно и тихо.

Городские музыканты, несравненные искусники, стояли насмерть, трелью рассыпался, трепеща, язычок кларнета, и дудели звонкие трубы, и бодрый такт отбивал барабан.

Длится ночь, и всю ночь напролет длятся танцы. Вечный танец танцуют Аксель с Сигридой. И тут увидал Аксель, как бледен лик танцующей Сигриды.

— Вдруг бы сейчас у тебя изо рта хлынула кровь! — вырывается неудержимый возглас у Акселя, и он почти цепенеет. Вскинув взгляд почерневших и округлившихся глаз, Сигрида бледнеет еще сильнее, он крепче прижимает ее к себе дрожащей рукой и ведет ее дальше в медленном-медленном танце.

Потом они сидели у стены на скамейке, устланной подушками. Говорил Аксель, а Сигрида навстречу ему зажигалась жизнью. Она открыто смотрела на Акселя во все глаза, словно изучая, и он невольно повел плечами — гляди, дескать, вот я. У него были синие рукава с голубыми прорезными буфами, в которых проглядывала желтая шелковая подкладка, и зеленые чулки; башмаки его напоминали рыбу-молот с удлиненной мордой. Сигрида была в голубом бархатном платье с широким вырезом, ее грудь была закрыта льняной сорочкой с глухим воротом; тонкие волосы цвета ячменной соломы гладко обрамляли ее лицо. Она показала Акселю свой перстенок со сверкающим бриллиантом. Перстенок сидел на коротковатом пухленьком пальчике.

— У нас с тобой похожие руки, — сказал Аксель. И, понизив голос, спросил:

— Хочешь, я подарю тебе колечко? У меня их много. А, Сигрида? Сигрида равнодушно перебила его. Он спросил еще раз. Сигрида, не задумываясь, бросила «нет» и, тряхнув головой, откинула волосы.

— Не «нет», а «да», «да»! — настаивал Аксель, испуганный ее отказом. Его уста, усердно источавшие потоки красноречия, замерли; он умолк, вперив в нее долгий, настойчиво молящий взор. И взволнованные вздохи исторглись из его груди..

Тогда Сигрида кивнула ему, не поднимая глаз. А у него вдруг сделался понурый вид, он молчал. Но тут Сигрида невзначай засмеялась, и выражение его лица мгновенно переменилось. Очарованный и плененный, он склонился к ней и с искренним увлечением стал говорить о своем сокровище.

Дескать, все будет у нее — все ожерелки червонного золота, все переливчатые яхонты, играющие разноцветными лучами после долгого плена в черных недрах земли. И будут у нее браслеты тяжелые и цепочки неподдельного чистого золота, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Только пожелай — все будет твое!

— Потанцуем? — предложила Сигрида, засмеявшись. Она встала и облегченно вздохнула — ей было до смерти скучно от этих сказок.

Обиженный Аксель повел ее танцевать. И все-таки он был совершенно счастлив, его настроение передалось и Сигриде, и она глядела на него с влюбленной улыбкой, согретой девическим ласковым выражением. Она танцевала — такая молоденькая и хрупкая, близкая и в то же время далекая.

Так вот и прошла эта ночь. Едва Сигрида подавала ему надежду, Аксель впадал в необъяснимое уныние; когда же она, по девичьему обыкновению, развеивала все его упования, он, страдая, почему-то был счастлив. Тогда она сменяла гнев на милость и, сжалившись, точно возвращалась из далекого далека, одаряя его своей близостью. Едва он успевал ощутить как бы сожаление от одержанной победы, как она принималась смеяться, повергая его в пучину страдания и восторга. Так прошла эта ночь.

В три часа за Сигридой явился брат вместе с пожилой спутницей, чтобы увести ее домой. Акселю разрешили ее сопровождать. Снегопад кончился. Над землею стояла морозная, тихая ночь. Снег блестел, Аксель узнал наконец, где живет Сигрида. Взволнованный и оживленный, вернулся он в свою комнатенку, твердо решив, что добьется Сигриды.

Прошло несколько дней. Состоялась помолвка, и Аксель стал женихом Сигриды. Ее родня согласилась на это не слишком единодушно, не очень-то поверив поначалу в сокровище, хозяином которого будто бы был Аксель. Но Аксель хлопал себя по груди, показывал ладанку. Кто, мол, тянул за язык этого, как его там, Менделя Шпейера, зачем ему было врать? Почему бы человеку, не знающему отчего имени, не оказаться богатым наследником? Пускай его происхождение покрыто мраком неизвестности — тем лучше! Вот извлеку, мол, мое наследство, хотя спешить с этим делом вообще-то некуда, тогда уж все узнают, кто таков на самом деле Аксель. И он твердо стоял на своем; и кто, скажите на милость, мог бы долго противиться убеждениям человека, который настолько был чужд сомнения? И помолвку справили с большой пышностью.

...Славный город Стокгольм утопал под чистейшим снежным покровом, и снег все сыпал и сыпал, скрывая следы. Что ни день, в городе шло веселье, чуть ли не каждый день у кого-нибудь из состоятельных горожан в доме бывали вечеринки, устраивались танцы.

Однажды ночью Аксель приставил к окошку Сигридиной опочивальни лестницу, но ему не дали залезть: братья со смехом и шутками стащили его вниз, и по этому поводу ему пришлось угощать всех в погребеке при ратуше. Свадьба была назначена в канун рождественских праздников.

Да, принакрывшись снегом, Стокгольм пировал как ни в чем не бывало. На улицах все время

шатались подгулявшие компании. Однажды поздним вечером, возвращаясь к себе домой, Аксель увидал впереди женщину, она медленно брела, прижимаясь к домам, нахлобучив капюшон по самые брови; женщина была одна, без провожатых, и она плакала. Аксель заметил только, что она молоденькая. Так чего же одна бродит по улицам да еще и плачет? Правда, когда он с ней заговорил, она ничего не ответила, но он взял ее за руку, и она послушно пошла за ним. Все время, пока она гостила в его каморке, она не произнесла ни слова. Всю ночь напролет проплакала и провздыхала безутешно. Просыпаясь, Аксель всякий раз слышал рядом ее безмолвное горе, он так и не узнал, отчего она была в таком отчаянии. Утром она облеклась в свои черные одежды и ушла в слезах, как появилась.

В день своей помолвки с Сигридой Аксель сходил проведать Миккеля Тёгерсена, который все не поправлялся. Миккель уже не мучился, зато на него напала страшная слабость, и он таял на глазах. Аксель заметил мертвенную бледность Миккеля; казалось, больной и сам уже знал, что жить ему осталось недолго.

Просидев целый час возле умирающего, Аксель сильно приуныл от собственной беспомощности, наконец он встал и хотел уйти. Миккель открыл глаза и шепотом попрощался, но когда Аксель совсем было направился к двери, он его окликнул. Видя, что больной хочет что-то сказать, Аксель наклонился поближе.

— Твой клад... Хочешь, я прочитаю сейчас твою записку? — вымолвил больной еле слышным голосом.

Аксель выпрямился, на глаза у него навернулись слезы. Тогда он с внезапной решимостью очень твердо поглядел в глаза Миккеля.

— Нет, — ответил он просто и без околичностей. И прибавил, смущенно вертя в руках шляпу: — Ты знаешь, мне все-таки кажется... Вот увидишь, ты еще поправишься, Миккель.

Ошарашенный отказом, Миккель Тёгерсен засмеялся. Глядя в спину уходящему Акселю, Миккель почувствовал такую досаду, что в душе поклялся ему отомстить. Он опять ненавидел.

Со следующего утра Миккель Тёгерсен пошел на поправку. И в конце концов таки выздоровел.

## В ПЕРВОБЫТНОМ ЛЕСУ

Два года Миккель Тёгерсен и Аксель не видались. Выздоровев, Миккель в королевской свите отправился в Данию. Но еще раньше из Стокгольма куда-то пропал Аксель. Об его исчезновении много судачили, он пропал накануне рождества, на другой день после свадьбы, и с тех пор точно в воду канул. Поди узнай, что там было! Сказывают всякое, будто бы среди невестинной родни кто-то падал в обморок; ну а Сигриде выпало раннее вдовство. Меньше всех, хотя, с другой стороны, опять-таки больше всех, переживал эту историю не ведающий раскаяния Аксель. Для него дело обстояло как нельзя более просто, хотя, если свести концы и начала, это была долгая история. На третий день после венчания сел он верхом и выехал прогуляться к югу от города. Мысли о Сигриде наполняли его таким несказанным счастьем, такую силу и бодрость ощущал он в себе, что невольно подумал о Кирстине, оставшейся в Дании. То, что слышалось ему, было криком его собственного сердца, но ему почудилось, будто слышался далекий зов; сердце его громко ликовало, радуясь богатству, которое он обрел в Сигриде, он же подумал, что слышит зовущий голос Кирстины. И так пылко разыграла в нем любовная страсть, что он погнал коня во весь опор. Мысль о Кирстине запала ему в душу, и он во что бы то ни стало захотел ее повидать.

Аксель забыл, что со времени их встречи прошел почти год, что их разделяли сотни миль пути, — он уже галопом скакал по королевскому тракту на запад. После целого часа бешеной скачки конь перешел на рысь, и тут Аксель, разумеется, вспомнил, что в Данию путь еще далек. В один миг туда не перенесешься. Но в это время не рассуждающий порыв уже сменился в его душе сознательным решением; продолжая ехать уже без спешки, он прикинул в уме сложившиеся обстоятельства. Итак, он едет в Данию, чтобы проведать Кирстину, прошлогоднюю свою возлюбленную.

К вечеру Аксель был уже за двадцать миль от Стокгольма. Он остановился в придорожной корчме и уселся в сторонке, отдельно от всех. Толковали о Густаве Эрикссоне [HYPERLINK "#с\\_45" {45}](#) Васа, но Аксель не вслушивался. К нему обратились с вежливым вопросом, что новенького слышно в Стокгольме, но Аксель мало что им рассказал. Они и сами отстали от него, когда узнали, что он датчанин. Акселю не хотелось ни с кем разговаривать, он думал о Сигриде.

Еще нынче утром — с тех пор позади осталось несколько херредов [HYPERLINK "#с\\_46" {46}](#), между утром и вечером пролегли леса, деревни и снега, и лик прошедшего обернулся как бы в профиль, — а давеча утром Аксель еще целовал Сигриду. Он встал первый и захотел прогуляться, а ей показалось слишком холодно. Когда он стал целовать ее, она все же осмелилась выпростать, руку из перин и обняла его за шею. Просто чудо, какая она была маленькая и беленькая! И, очутившись на вольном воздухе, он почувствовал, что в нем все клокотало от счастья, и, чтобы дать выход своему чувству, он ничего не придумал лучшего, как вскочить в седло и скакать во весь опор, так что свист стоял в ушах.

Вот как оно, значит, случилось. Через столько-то дней, проскакав оставшийся путь, он увидит Кирстину. Он радовался при одной мысли об этом и до хруста стискивал руки. О, милая Кирстина! Он точно воочию видел крестьянский дом на береговой круче и яблоню, свесившую ветки над его крышей. А внизу, у подножья обрыва, наверно, все так же набегают соленые волны, как и в тот мартовский день, когда он в последний раз видел все это, обернувшись в седле и кинув прощальный взгляд.

Ночь Аксель крепко проспал в корчме. Но вдруг проснулся, как встрепанный: только что над ним склонялось лицо Кирстины, ее уста были на вершок от его губ.

— Сигрида! — вздохнул он шепотом и заснул.

На следующий день он ехал в трескучий мороз. Неровная, каменистая дорога все время взбегала и спускалась по холмам, в ушах гремело от звона копыт и от ветра. А он пел. Пение его вплеталось еще одним пронзительным голосом в шумы скачки. Он мчался и пел, и ураганный ветер со свистом хлестал ему в лицо, а снег и камни летели из-под копыт. Мелькали озаренные солнцем заснеженные поля, изредка на пути попадалась изба из рыжих бревен, огромные заиндевелые скалы торчали над землею, словно черепа погребенных великанов. Промчавшись по лесной дороге мимо ельника, он вихрем ворвался и пролетел через узкую расселину и все пел. Словно склонившись над ненасытными жерновами, он сыпал на них нескончаемой струей свою песню, и зернышко за зернышком она пропадала в шумнозвучной гущине.

Еще восемь, еще десять дней... но тут вдруг Акселю стало неважно все время скакать на запад, когда надо было держать путь на юг. С какой стати ему ехать по тракту! Наверно, ближе будет, если он срежет путь. И Аксель свернул с дороги в лесное бездорожье.

Он проехал весь день. Но к вечеру вместо ровной поверхности под ногами стал все ощутимее

идуший кверху уклон, он становился все круче, все каменистее. С утесов кивали покосившиеся от древности нелюдимые сосны, непроходимые дебри подлеска заполнили пространство между ними, всюду были снежные сугробы; пришлось Акселю слезть с коня и вести его в поводу. В этом не было ничего веселого для Акселя, он едва продвигался вперед. Перед тем как окончательно стемнело, он очутился у входа в узкую и мрачную лощину, однако ее дно было достаточно ровным, чтобы проехать верхом, и он долго ехал в ущелье среди ночной тьмы. Потом оно кончилось, и дальше Акселю опять пришлось шаг за шагом продираться сквозь лесную чащу, ведя коня в поводу. Путь вел все время в гору, деревья росли все гуще и гуще.

В ночи царило полное безмолвие, деревья спали, скованные морозом, не слышно было ни звука. Аксель совершенно не задумывался о незавидности своего положения.

Прошло двое суток, и отныне его судьбою стало тянуть за собой несчастного коня сквозь непроглядные дебри среди ночной тьмы и жестокой стужи; в этом заключалась его нынешняя жизнь. К полуночи Аксель набрел на домик в лесу, попросился на ночлег и получил пристанище. Переночевав в этом доме, Аксель остался в нем жить, ибо дочь дровосека была красавица. Хозяина звали Кесой, а его молоденькую дочь Магдалиной. Наутро, когда Аксель спустился с чердака, куда его поместили ночью, он застал одну Магдалину. Кеса давно ушел в лес, а Магдалина стряпала над очагом. Аксель посмотрел на нее; после первого взгляда и тот и другой порывисто шагнули друг другу навстречу, замерли, точно приняхиваясь, сразу осмелели, будто бы век были знакомы, и стали заигрывать — хорошо выспавшийся Аксель с хохотом размахнулся, чтобы ее шлепнуть, она, готовая дать отпор, хохоча, погрозила ему воздетым черпаком. Но Аксель тут же, отбросив шутки, обхватил ее за талию и впился глазами, словно стараясь заглянуть в самую глубину ее зрачков. Магдалина дрогнула под его взглядом, но он поцеловал ее с непререкаемой твердостью. И в тот же миг они пали друг другу в объятия.

Воротившись домой, Кеса долго молча слонялся из угла в угол, потом покивал сам с собой; молодые истолковали его кивание за согласие. Таким образом Аксель был принят в зятя и зажил в лесной хижине.

— Ладно уж, бери ее за себя, — сказал Кеса, неожиданно опустив топор, это было спустя несколько дней, Аксель помогал старику рубить деревья в лесу. Кеса смотрел на Акселя с таким выражением, словно за прошедшие дни обо всем передумал и решил окончательно.

— Бери ее за себя! — С этими словами Кеса оперся на топор и задумался. Ему она тоже досталась, можно сказать, нежданно-негаданно, продолжал старик свои рассуждения. У него в доме все тогда вверх дном перевернулось, когда там вдруг завелась женщина. После-то она сбежала, а его оставила с младенцем на руках: детей родить ума не надо. Он назвал тогда девочку Магдалиной. Чем не имя? Хотя ее вообще-то не так зовут, наверно, надо бы ее... Да чего уж там! Живет ведь и вон какая сильная и красивая выросла, не хуже других, поди...

— Так что бери ее себе, — закончил Кеса. — Коли нажито без труда, то и потерять не беда.

Поплевав на руки, Кеса снова принялся рубить дерево. После этого он уж больше речей не держал.

\* \* \*

Зима набирала силу, стояли трескучие морозы. Все ветры утихли, воздух точно помертвел.

Белое, искрящееся холодом солнце висело в полдень далеко от земли, словно кусок льда, потом наступал ранний вечер, и оно закатывалось за лес, мрачно полыхая кровавым заревом. Молчание

долгих ночей лишь изредка прерывалось, когда какая-нибудь истомленная птица, вяло взмахивая крыльями, на лету задевала ветку, с которой сваливался сыпучий снег, или откуда-нибудь издалека доносился вдруг тоскливый вой дикого зверя, изливающего свои жалобы на голодное и холодное житье.

В лесную хижину мороз не мог проникнуть. Кеса плотно законопатил все щели сверху донизу мхом и держал в запасе целый ворох овчин, в которые на ночь можно было укутываться, и очаг никогда не погасал. Огонь в нем горел день и ночь. В углу возле очага лежали наготове свежесрубленные, сырые дрова; в домашнем тепле на коре оживал мох; свежая древесина, оттаяв, сочилась смолой. Стосковавшиеся по огню поленья занимались пламенем и, словно нежась, вытягивались и тончали. Дым плавал по всей избе, обволакивая лицо, оставляя на губах привкус леса. На поленьях в огне проступала влага, вся сила древесных соков исходила с паром, наполняя избу пряными запахами. Однако рождество нечем было по-настоящему отпраздновать, в доме не нашлось ничего съестного, кроме хлеба да остатков залежалого, высохшего копченого мяса. А скоро нечем стало кормить и Акселева коня. Кеса пожимал плечами: «Для чего, мол, тебе конь-то...» В тот день, когда об этом впервые зашла речь, заросшее бородой лицо старика оживилось, он вдруг превратился в деятельного и предусмотрительного человека. В конце концов они согласились на том, что коня следует зарезать, и Кеса взялся совершить задуманное своими руками. Однако он отложил исполнение назавтра и вел себя очень таинственно.

На другой день Кеса спозаранку разбудил молодых и торжественно вывел их на крыльцо. Лошадь лежала перед крыльцом уже мертвая и еще не остывшая. И тут Кеса начал разделывать тушу, сперва медленно, но понемногу оживился и вошел во вкус своего занятия.

Тут Аксель понял, что Кеса-то, оказывается, язычник, и ему сделалось не по себе. Но после того как сам надрезал жилу и отведал теплой крови, сладострастная тяга к запретному победила и он разохотился вдвойне. Магдалина тоже участвовала в разделке, и все втроем они поработали на славу. Кеса под шумок выплеснул на юг и на восток несколько чашек горячей крови. Он неуклюже радовался своему умению разделывать туши и, тыкая ножом, показывал, где находятся самые благородные и главные части, и кивал при этом: «Вот так-то, мол».

— Коню-то было восемь годков, — поделился он, по-свойски подмигивая Акселю. Тому пришлось подтвердить правильность этого наблюдения, и Кеса, разжав ладонь, показал ему окровавленную косточку, по которой он узнал возраст. Уткнувшись в разрез на брюхе лошади, Кеса, донельзя увлеченный своим делом, по локти запустил в него руки. Он был доволен, что все получилось так удачно и он не зря постарался, лошадка не даром была резвая и горячая. Это же надо, сколько в ней было жару, до сих пор так и пышет, того гляди руки ошпаришь!

Утро еще не кончилось, и Магдалина позвала их за стол полакомиться с пылу, с жару отборными кусочками; Кеса при виде горячего мяса закрипел зубами, он так и вцепился в него всеми пальцами! А Магдалина, светло посмотрев на Акселя сестринским чистым взором, выставила перед ним сердце коня, зажаренное на вертеле, из вен столбом подымался пар. Аксель равнодушно принялся за еду, но когда распробовал, его было уже не оторвать.

Весь день держалась ясная и безветренная морозная погода. До самого вечера они все время ходили туда и сюда — то резали тушу, то садились за еду. Крепкий запах вареного и жареного мяса еще напоминал о только что освежеванной, окутанной паром туше и о шевелящихся еще кишках. Весь



дом пропах убоиной, чад вырывался из приземистой двери и валил через крышу. Там начал подтаивать нависший над крыльцом снег и снова замерзал, превращаясь в кроваво-красные сосульки. Вечером Магдалина вернулась к тому, с чего начинала, и напекла кровавых лепешек. Молодые заметно попритихли; зато разошелся Кеса, еда привела его в такое блаженство, что он урчал над ней и в полном восторге кудесил во славу солнца и луны. Старик как начал с утра, так весь день ел не переставая и по уши измазался мясным соком и салом; навалившись всей грудью на стол, он вытянутыми руками, казалось, обнимал нагроможденное на нем изобилие, он жевал, запихивал пальцами в рот выступавшее в углах губ сало, урчал и пел. Магдалина то и дело подходила к столу и, выбрав какой-нибудь лакомый кусочек, быстро расправлялась с ним своими мелкими белыми зубками.

...Всю долгую ночь напролет с чердака, где улегся спать на моховой подстилке Кеса, раздавались в безмолвной тишине его невнятное бормотание и песни. Молодые проснулись и слушали, как он бредит во сне. И однажды среди недвижного ночного мрака до них донесся из леса шум, словно дрожь прошла по лесу или вздох пробежал по деревьям, с ветвей посыпался иней и сорвались затвердевшие пласты снега, в лесу тихо зазвенело и вдруг заплакало и завывало в отчаянной тоске. Аксель выглянул в окошко и сквозь зеленую муть увидел на снегу останки коня, белые ребра торчали в воздухе, как шпангоут разбитого корабля. На небе стоял месяц, и окоченелые лошадиные ноги отбрасывали на снегу глубокие тени в его зеленоватом свете.

На другой день все опять принялись за еду и наелись до отвала, а Кеса не отходил от еды, пока его не сморил сон. Но до этого он порядком напугал Акселя и Магдалину явным приступом умопомешательства; он точно захмелел от жратвы и, совершенно обалдев, пьяно уставился на Акселя и Магдалину, пел какую-то песню о мертвых лошадях, которые ржут в аду; пропитавшиеся жиром волосы на голове стояли дыбом, борода торчала во все стороны. Расходившись, он осыпал Акселя и Магдалину страшнейшими угрозами, тут же их прощал, захлебываясь от умиления; затем, качая головой, он погружался в собственные мысли и начинал без удержу предаваться воспоминаниям. Аксель уловил из его бормотания несколько старинных женских имен и невольно, наблюдая бушевавшие старика разнообразные чувства, воображал себе его бывших подружек: одна была белокурая толстушка, другая — стройная и черноволосая с озорными глазами, третья — взбалмошная и лукавая, как лисичка... Кеса размахивал перемазанными в крови ручищами, закатывал глаза, распевал и жадно запихивал в рот еду.

Когда он наконец свалился, Аксель с Магдалиной отнесли его на постель. И на третий день продолжалось пиршество, на четвертый Кеса протрезвел, и началась будничная жизнь.

\* \* \*

Но вот наступила шведская весна. Приход ее тянулся несказанно долго. Но вот однажды огнеструйное солнце воссияло в нежной синеве небес; хотя на небе не было видно ни единого облачка, земля умывалась талой водицей, снега рушились, исходя влагой, лучи света играли на воде, сверкали повсюду в тысяче капель.

В первый же прохладный, но бесснежный день, когда над землей проносились летучие тени, а по воде пробегала рябь, Аксель отправился в лес. Одинокая пташка прощепетала что-то с вершины дерева, с поднебесной вышины, где плавали белые облака — воздушные туманы весны. Весна была в разгаре. В лесу стоял запах, напоминавший о минувшем лете, от ароматов прошлогодней травы и

мокрой древесной коры кружилась голова. Где же твой конь, всадник? Где твой конь?

Как тесно стало в избушке старого Кесы! Она походила на корабельную каюту после многих месяцев плавания — в горнице лежала затхлая, привычная грязь. А на лавке сидит Магдалина. Как она пышно расцвела! Ничего не скажешь — красавица! И румянец играет на щеках отдыхающей женщины.

Солнце пригревало все теплей. Однажды Аксель, запрокинув голову, поглядел в небо, и вдруг ему в лицо пахнуло теплом и ослепительный луч сверкнул в глаза; тут он решил не дожидаться, пока в свой черед придет лето, а добыть его немедленно. Его охватило беспокойство при внезапной мысли, что в Дании сейчас уже лето. Так было — верхом на коне он ехал по ласковой Дании среди вересковой степи и повстречал девушку, пасущую овец; сощурясь от солнца, она шла ему навстречу через рошу, ступая босыми ногами по не смятой траве, и цветы колыхались от ее шагов. И широко простиралась среди курганов раскинувшаяся на много миль равнина.

В тот же день Аксель покинул лесную избушку Кесы.

### ЛАДАНКА

И вот остается нам поведать об Акселе, о бастарде; долго носило его по свету в чреде непрестанных коловращений. Предназначение, которое он сам выбрал для своего путешествия: навестить в Дании Кирстину, а после, разумеется, воротиться назад к Сигриде, не пустило стройного побега на древе его судьбы, а превратилось в засохший сучок в гуще крепких ветвей, которые отняли у него жизненные соки, — Акселя водило по белу свету переменчивое увлечение женской красотой.

Следует заметить, что со временем, после множества приятных походов, у Акселя под влиянием опытности притупился вкус даже к самым привлекательным девушкам. Это вовсе не означало, конечно, что он стал их теперь избегать, однако ненасытность едва не пересиливала в нем чувства благодарности, и, не удовлетворяясь полнотою цельного счастья, он готов был при первой возможности урывать попутно и половинчатое счастьешко, да и все четвертинки в придачу.

Благодаря сердечной простоте Акселя он, несмотря ни на что, оставался в ладу со всеми людьми. Главная особенность его натуры заключалась в том, что, как бы ни складывались обстоятельства, он все принимал за должное: попав в самую скверную переделку, он нисколько не падал духом, а, напротив, чувствовал себя как нельзя лучше; Аксель всегда оказывался в выигрыше, и ему просто некогда было испытывать утраты. Он знал только приобретения, ничем никогда не поступившись. Когда он уходил, то не оставлял позади своего сердца.

И вот наконец странствия Акселя привели его в Данию, ибо там его ожидало великое лето. Спустя год или немногим более, после того как он, обвенчавшись, ускакал покататься верхом в окрестностях Стокгольма, претерпев много случайностей, он завершил в Дании свои причудливые скитания. За это время много чего произошло. Отпала от Дании Швеция; со всех сторон, куда ни глянь, на страну надвигались войны и мятежи. И скоро, скоро уже из рук великого короля Кристьяерна выпадет расколовшаяся держава.

Слушайте же, как все это было. Миккель Тёгерсен очутился в Ютландии по поручению короля. Выехав из Тю, он сделал остановку в Спёттрупe близ Саллинга, и ему пришла мысль завернуть проездом в родные места, коли уж судьба забросила его так близко. Во-первых, нельзя было знать заранее, доведется ли ему еще когда-нибудь там побывать; могло статься, что этот приезд окажется последним. Король обещал дать ему отпуск, и Миккель собирался через год-другой совершить

паломничество в Святую землю.

На постоялом дворе, расположенном в Саллинге неподалеку от Вальпсунна, Миккель услышал неожиданную новость. Хозяин рассказал, что поблизости празднуется сговор, пир там идет горой, и это, мол, совсем недалеко отсюда, в четверти мили пути вдоль побережья, в селении Кворне. Гулять начали еще вчера, и, как видно, ни завтра, ни послезавтра еще не кончат, хотя это еще и не свадьба, а всего только сговор. Случай этот необыкновенный — про жениха рассказывают, будто у него денег куры не клюют. А звать его Аксель, и по всему видать, что он знатного рода. Известно, что он — служилый офицер, но вот откуда он взялся, этого никто не знает. А еще говорят про этого Акселя, что у него сокровищ видимо-невидимо; судя по одеже, он по крайней мере герцог. Конечно, и невеста не какая-нибудь голодранка, это — Ингер, дочка богатея Стеффена из Кворне. Теперь они, значит, жених и невеста. У Стеффена на подворье так гуляют, что кругом на полмили шум слышать. Вот что рассказывал хозяин постоялого двора, а Миккель Тёгерсен внимательно слушал; он всегда был хорошим слушателем. Он и сам кой о чем порасспросил и узнал, что жену Стеффена зовут Анна-Метта... про нее тоже можно рассказать целую историю. Ингер-то не Стеффенова дочь. Ну да Анна-Метта уж двадцать лет как за Стеффеном замужем, у них есть и общие дети, а что было, то уж быльем поросло. Как там у них что случилось, толком никто не знает; некоторые говорят, будто в молодости Анну-Метту увел из дому какой-то школяр и надругался.

Миккель Тёгерсен и был тем школяром. Сейчас никто бы не узнал в нем прежнего паренька. Он здесь лишний, никто его не ждет. И вдруг из разговора с посторонним, ничего не подозревающим человеком, который затеял эту беседу, радея о прибылях своей питейной торговли, он нечаянно узнает, что у него, оказывается, есть двадцатилетняя дочь. Оделив посетителя вдобавок к пиву подходящей словесной приправой, хозяин корчмы отошел, предоставив его самому себе. Всё правильно: Миккелю привычно сидеть одному, *alienus* — вот вечный припев его жизни.

Все, что говорили об Акселе, было правдой, скоро предстояла его свадьба с дочерью Стеффена из Кворне Ингер. Вдоволь побродив по свету, Аксель в один прекрасный день прискакал сюда, в захолустную деревеньку; случилось это несколько дней тому назад. Молва далеко разнесла славу Ингер, Аксель услышал о ней задолго до того, как увиделся, и вот уже с неслыханной пышностью справляется их помолвка. Стеффен из Кворне был самым богатым хозяином во всей округе; кроме приходившейся на его долю пахотной земли, он владел еще дубравой, да еще к тому же занимался рыболовством и торговал солью со своей солеварни.

Оставив лошадь в трактире, Миккель пешком отправился вдоль берега моря. Вечерело. Он пришел в Кворне гораздо раньше, чем ему бы хотелось. Услышав скрипку, которая играла на дворе, где шел праздник, Миккель остановился, прислонился к забору возле какого-то огорода и дальше не пошел. Вечер был удивительно теплый, и до темноты оставалось еще долго, потому что настали белые ночи. Весело пели в пруду на все голоса лягушки, со стороны моря доносился время от времени крик неугомонной морской ласточки. На огороде, возле которого остановился Миккель, среди капустных грядок росла бузина, до него донесся знакомый запах ее листвы, и ему сделалось так грустно от старых воспоминаний, что он в душе за себя испугался. Он повернул назад и по вечерней прохладе побрел к себе в трактир.

На другое утро Миккель опять стоял на том же месте и, постояв, удалился. Пополудни он снова туда вернулся, но на этот раз прошел немного дальше и приблизился к усадьбе Стеффена. Наконец он

дошел до ворот и остановился напротив через дорогу, но войти у него не хватило сил. Весь двор был забит выездными колясками, из дома доносился веселый шум и гомон, раздавались выкрики.

На крыльцо выскочил ребенок, побежал в дом и рассказал, что у ворот стоит высокий военный человек. На крыльцо вышли люди поглядеть, кто пришел, и Миккель ретировался. Но не успел он немного отойти, как услышал позади быстрые шаги, его окликнули.

То был сам Аксель. Он несказанно обрадовался встрече и долго не мог опомниться от удивления.

Радость его сразу сменилась огорчением, потому что Миккель ни за что не соглашался идти с ним в дом, хотя и пришел сюда по своей воле. Акселю это было непонятно. Они стояли и говорили посереде дороги, оба смущенные. Аксель в праздничном платье и с непокрытой головой, потому что выскочил прямо как был, он изо всех сил старался ублажить Миккеля. Миккель, невесело сутулясь и молчаливо потирая ладонью поседевшую щетину на подбородке, еле цедил слова.

Миккель заметил, что Аксель изменился с тех пор, как они виделись, он стал ровнее, но вся его былая непоседливость, казалось, сосредоточилась теперь во взгляде, глаза его так и сверкали живой отвагой.

Аксель уж в двадцатый раз принимался уговаривать Миккеля: «Пойдем, мол, что же ты!» Зная странности Миккеля, он все-таки не терял надежды: «Ты бы, дескать, хоть на Ингер посмотрел! Как можно уйти не повидавшись! Все, мол, будут рады тебе. И стол накрыт, и поесть, и попить — всего вволю».

— ...А мать моей Ингер что-то разболелась, когда я рассказывал о тебе, — заметил Аксель между прочим, смеясь такому забавному совпадению. — Пойдем уж! Ты вот придешь — она и выздоровеет!

Миккель отводил свои светлые глаза в сторону, не отказывался, но и не соглашался идти. Аксель тянул его за собой, Миккель упирался и в глубокой задумчивости потирал подбородок.

— Что поделаешь! — Аксель безнадежно вздохнул, и у него опустились руки. Теперь он стал предлагать, что сам навестит Миккеля в трактире, где тот остановился: «Что, мол, за спешка такая!» И Аксель взял с Миккеля обещание, что он до завтра еще побудет в трактире..

— Ладно! Только приходи один, — жестко отрубил на прощание Миккель.

На том они и расстались.

На другой день Аксель застал Миккеля готовым к отъезду, коня он отправил заранее на пароме и сейчас нетерпеливо расхаживал по двору. Видно было, что ему давно уже не сидится на месте.

Аксель смотрел на старинного боевого товарища с добрым чувством, и, видя, что тот во что бы то ни стало стремится в путь, Аксель, желая сделать для Миккеля хоть что-то приятное, предложил ехать вместе, решив проводить его через пролив на пароме.

Отплыв от берега, они долго еще молчали, Миккель был по-прежнему чем-то угнетен, но на середине пролива, где солнце глубоко пронизывало толщу зеленой воды, а впереди и за кормой виднелись светлые, по-летнему приветливые берега, тут уж Аксель поглядел окрест на морской простор и, не в силах сдержать себя, невольно заулыбался. И он стал рассказывать Миккелю про Ингер, как они славно с нею заживут: он купит поместье, теперь-то уж пора, он заберет свой клад... Ингер...

Аксель все говорил, голос его звучал так безгранично нежно и бережно, он глядел перед собой невидящим взором, и временами растроганно посмеивался, до глубины взволнованный тем, о чем

говорил. Беспокойство охватило его; он вскидывал головой, выразительно взглядывал на Миккеля, позабыв обо всем на свете... а Миккель страдал от божественного добросердия юноши, как от обидной несправедливости, творимой расчетливо и бессердечно.

Аксель точно и не заметил, как они очутились на химмерландском берегу; не переставая рассказывать, он пошел с Миккелем по дороге.

Миккель уже не прислушивался, что говорит его спутник, он брел понуро, свесив голову на грудь. Они вышли в открытое вересковое поле, и вокруг них сомкнулась тишина. Настоянные на зное полуденного солнца терпкие запахи сухих трав наполняли воздух. Над дорогой с жужжанием пролетела пчела. Пение кузнечиков звучало из зарослей вереска, словно прерывистые вздохи. Кругом не видно было ни малейшего признака жилья или человеческого присутствия, и только широкая дорога, лениво змеясь, несла на своих изгибах чешуйчатый узор от множества проехавших колес. В миле пути виднелись гробёльские холмы. Прозрачный небосвод высоко обнимал широкие просторы земли.

И тут, оставшись с Акселем совсем наедине, Миккель свершил свою месть.

Он не в силах был простить Акселя. А Ингер он ни разу в жизни не видел. И об Анне-Метте он нисколько не задумывался, разве что о своем мучении. Одна только мысль была у него в душе — о том, как Аксель оскорбил его в Стокгольме. Это да еще... еще — неукротимая ненависть к Акселю. Но в то же время сердце у него колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. И чем больше он заклинал себя к действию, тем больше одолевала его слабость. Он был на грани обморока, как человек, который тщетно силится высказать любовное признание и не может. В сущности, для Миккеля все было совершенно безопасно, и он мог действовать наверняка, однако он медлил ради собственного удовольствия, ради своих терзаний. Он был унижен, оглушен своим унижением, сердце его сгорало. Ему казалось, что весь мир против него ополчился. В конце концов помрачение захлестнуло его, и все-таки он не мог решиться на черное дело. Не мог до поры до времени, пока не настал миг, когда словно не он, а кто-то другой совершил задуманное.

А произошло это так. Миккель вдруг споткнулся и остановился, уставясь неподвижным взором на Акселя. Аксель осекся и замолк посреди рассказа. Тогда Миккель выхватил свой длинный двуручный меч и напал на Акселя; тот был безоружен; Миккель наступал на него, странно размахивая выставленным перед собой клинком с беспомощностью ничего не соображающего от злости ребенка. Однако удар, который он нанес Акселю, был не на шутку жесток. Аксель, не говоря ни слова, следил за мечом и, защищаясь голыми руками, он чуть было не схватился за клинок, но в этот миг острая сталь поразила его колено. Боль хлестнула вверх, отозвавшись во всех суставах, она сотрясла его так, что голова пошатнулась на позвоночнике и Аксель пал наземь.

Миккель медленно вложил меч в ножны. Он постоял в раздумье, поглаживая усы. Затем нагнулся над Акселем, сунул руку ему за воротник, нашарил на теплой груди роговую ладанку. Сняв ее с шеи Акселя, он отошел на несколько шагов и только тогда открыл.

Ладанка была пуста; убедившись в этом, Миккель зашвырнул ее в кусты вереска и без оглядки пустился бегом по дороге.

## ВЫСКУЕМЫЙ

Спустя несколько часов Аксель очнулся. На ногу было не встать, она сильно разболелась; протащившись с десяток шагов по дороге, Аксель сел посреди колеи и стал ждать — дышал себе

потихоньку и ждал. Голова так разламывалась от боли, что темнело в глазах. Колено ныло не переставая, и он долго боялся взглянуть на него. Наконец решился, быстро обнажил ногу и посмотрел, что с ней сделалось. На колене оказалась всего лишь маленькая резаная рана с наружной стороны, и кровь даже не текла; но колено распухло, и до него нельзя было дотронуться.

День клонился к вечеру. Распелись перед закатом птицы. Из степи тянуло легким ветерком. Рядом рос кустик медвежьего винограда, но ягоды были еще твердые и неспелые.

Издали слышалось поскрипывание колес, кто-то ехал от паромного причала. Это был воз, запряженный парой волов. Упряжка двигалась медленно, еле ползла. Наконец она приблизилась настолько, что Аксель мог окликнуть возчика. Аксель не стал просить, чтобы его отвезли до перевоза, он спросил, где находится ближайшая корчма, если ехать к востоку, и так как ближе всего оказалось до постоянного двора в Гробёлле, он попросил, чтобы его туда отвезли. На постоянный двор они добрались только к ночи, и хотя возчик подстелил Акселю охапку вереска, его все-таки растрясло в дороге и он чувствовал себя довольно скверно.

Его уложили спать в единственной комнате для постояльцев, и он задремал.

Поутру Аксель проснулся; в окне белел рассвет, но вместо облегчения от мучительных снов его ждало совсем другое; первое, что он ощутил после пробуждения, была боль в ноге, давшая знать о себе резким толчком; это был такой удар, что Акселя обдало жаром, когда, он понял, что все случившееся было не сон, а правда. Но после того как он глянул, у него и вовсе мороз по коже прошел — колено распухло вдвое против обыкновенного, оно было красным и беспокойно ныло. Тогда Аксель упал навзничь и залился слезами, трепеща, словно былинка на ветру; он молитвенно складывал руки и роптал на свою судьбу, глотая соленые слезы, струящиеся по щекам.

Утро еще не кончилось, когда в комнату Акселя вошел странный человек, черномазый и невысокого роста, он назвался Захарией. Захария был бродячий цирюльник, случайно оказавшийся по соседству. При виде его у Акселя сразу полегчало на душе.

— С добрым утром! — бодро приветствовал больного Захария деревянным голосом. — А ну-ка посмотрим, что там такое.

С этими словами он откинул перину и обеими руками схватился за больное колено. Аксель единственный раз громко вскрикнул.

— Хо-хо! — приговаривал Захария и невнятно ворчал, он ощупывал ногу костлявыми жесткими пальцами, но Аксель вытянулся на кровати и молчал.

И снова:

— Хо-хо! — Захария нагнулся пониже и промурлыкал: — Ага! Так я и знал.

Распрямившись, он сказал Акселю, что надобно сделать надрез и выпустить гной — дело совсем пустяковое.

Он взялся за свои приготовления, принес таз с водой и вынул из сумки орудия своего ремесла. Аксель не сводил с него преданного взгляда, и в его памяти навсегда запечатлелся образ этого человека. У Захарии была смуглая дряблая кожа землистого оттенка, плоскогубый рот был точно подернут плесенью, десны и полусгнившие зубы имели такой вид, словно он пил едкую кислоту. Воспаленные глаза отливали краснотой, а под ними лежали иссиня-черные пороховые тени; волосы похожи были на сопревшее под дождем сено, и даже маленькие усики его по цвету напоминали прелое сено. Движения у него были быстрые и верткие, как у ящерицы, а глядя на его коричневые

руки, невольно казалось, что они привычны копать во всяческой гадости. Вдобавок от него исходил сухой и резкий запах, который источают жабы и другие пресмыкающиеся.

Раскладывая на соломенном стуле ножи и маленькие медные щипчики, Захария между делом все время что-то рассказывал, молол какую-то пустопорожнюю чепуху и при этом смеялся, раздражаясь неожиданными залпами громкого хохота.

— Ну-ка, — сказал он, наконец посерьезнев, сладострастно протянул руки к больному колену и стал нащупывать место для разреза. Резал он молча.

Прикосновение ножа к ране пронзило Акселя такой нестерпимой болью, что в первое мгновение он обомлел. Тогда он напрягся и задержал дыхание, в то же время изо всей силы вжимаясь гудящей головой в подушку; все поплыло перед ним, и он медленно погрузился в беспамятство.

Очнувшись, Аксель увидел над собою лицо цирюльника и услышал его повелительный голос: «Выдохни воздух! Дыши!» Ему показалось, что в комнате темно, в приотворенную дверь снаружи заглядывали чьи-то лица.

Аксель наклонился с кровати, его вырвало, и он без сил повалился опять на постель. А боль была тут как тут — такая нудная, такая нечеловеческая! Она терзала его исподтишка, но с такой неодолимой силой. Ах, нет, нет, нет! Но боль не проходила. Он барахтался в простынях, как человек, провалившийся под лед; трясся от слабости головой, он дышал сквозь стиснутые зубы, измученная грудь ходила ходуном при каждом вздохе. Он то и дело облизывал пересохшие и точно опаленные или разбитые губы.

— Ничего, ничего, — успокоительно приговаривал над ним Захария, помешивая в ковшике какую-то черную кашу. — Ничего, сейчас полегчает. Тут у меня хорошая мазь, она составлена из семидесяти семи элементов, в ней соединились все природные силы, вот сейчас мы помажем и тогда... Хо-хо! Захария начал втирать мазь в свежую рану, и Аксель опять потерял сознание. Придя в себя, он увидел, что нога его, крепко перевязанная, как палка, вытянута на кровати. Жгучая боль в ране немного утихла, словно болезнь утолила свой первый голод. Но затишье продлилось недолго. А Захарии не было рядом, он уже ушел.

Весь день Аксель промучился, боль накатывала волнами, и он захлебывался в ней, потом лежал совершенно без сил. Ему принесли обед; лязгая зубами от озноба, он торопливо покончил с едой, словно спеша поскорее отделаться, чтобы закрыть глаза и возобновить тяжкую страду.

Открыв глаза через несколько часов, он ожидал, что застанет ночь. Но было еще светло, потому что в это время стояли белые ночи. Он понял, что за окном светлеет ночь, и тут, словно некое откровение, открылся ему весь ужас постигшей его беды. Он мучился невыносимо, колено болело ритмически, приступы боли следовали друг за другом с размеренными промежутками, словно болезнь была живым существом, которое терзало его по обдуманной системе. Аксель был один и рыдал, горько всхлипывая. Всю эту белую ночь он пролежал без сна, и все больше и больше овладевала им болезнь.

Но когда встало солнце, в сердце его зазвучал могучий ритм, оно пело, наливаясь силой, он чувствовал себя богом, с каждым новым толчком крови в голове у него возобновлялось сознание боли. Он жил, окруженный грохочущими громами, хотя возле его ложа стояла нерушимая тишина; господи, какое утешение услышать вокруг себя как бы прерывистые вздохи воздуха; и Аксель рос, преисполняясь силой, в ощущении своей чудовищной обреченности и в чаянии близкой смерти.

\* \* \*

Аксель рывком пробудился ото сна и подскочил на кровати, ибо снизу из-под одной коленки вдруг, словно луч, протянулось ощущение увядания, как будто сама смерть приникла устами и присосалась к этому месту. Аксель обливался потом. Дрожа от изнеможения, он повалился головой на подушку. Ему стали являться лица. Едва улегся его испуг, как вдруг навстречу выбежал заяц, его глаза росли и росли. На перине жужжали металлическими крыльями мясные мухи, жужжание становилось все громче и громче! Это пели каменные жернова! И Аксель примирился со своим страхом и покорно провалился в беспамятство. Но потом снова проснулся, и снова возобновились его мучения. Явился Захария и снял повязку. Он недовольно поджал губы, в ране начался антонов огонь. Он сделал еще один надрез и помазал его новой действенной мазью. Покончив со своим делом, он подсел к больному и начал болтать и плести разные истории. Акселю стало полегче, наседавшая боль отпустила, он отдыхал...

О чем там говорит Захария? Занимательная бывальщина о каком-то городе в глубине германской земли, который Захария повидал во время своих странствий. Город был населен одними калеками, и, чтобы благополучно выбраться оттуда, надо было подвязать себе одну ногу и ковылять через город на костылях. Тут уж было не до споров.

Аксель видел перед собой Захарию, точно в тумане; глядя на ослабившееся в улыбке лупоглазое лицо, он подумал, что цирюльник похож на большого щелкунчика.

Отрывочно Аксель прослушал и еще одну историю. Дело опять происходило в стенах какого-то немецкого городишки. Захария проходил через него на своем пути и увидел, как перед ним на улице разбегается народ, улица опустела, всех точно ветром сдуло; казалось, какая-то неведомая сила втягивала людей в двери и калитки. Отчего же, оказывается? Оттого, что посередине улицы трусил один несчастный бешеный пес с раскрытой пастью, из которой капала пена.

Аксель задремал.

Захария стал рассказывать ему легенду про то, как один монах шел в Иерусалим по прямой дороге. Сначала он миновал два прозрачных озера, потом перелез через горку и обошел вокруг рва. После долгого странствования по долам, по холмам он дошел до двух высоких белых гор и там помолился. Затем он долго брел по круглому плоскогорью, сперва вверх, потом вниз. С вершины он увидел Гефсиманский сад. И наконец попал в Иерусалим.

Вдруг Аксель совершенно проснулся, его насторожило что-то в рассказе цирюльника. И Аксель увидел на его грязно-коричневом лице выражение веселости.

А было это не что иное, как тошнотворная история про какую-то служанку из Голландии. Однажды она пришла к Захарии по поручению своего хозяина и спросила у него какого-нибудь средства от крыс. Это была статная, дебелая девица лет двадцати, из тех скороспелых, в которых кровь так и бродит. И притом, обратите внимание, чувствовалась в ней эдакая ленца; словом, девица из тех, которые очертя голову по полгода сряду наслаждаются запретной любовью; тут уж промашки не бывает. И, представьте себе, через два дня приходят и зовут Захарию на осмотр трупа. Конечно же, это была она. Она была брюхата. Хо-хо-хо! Она приняла внутрь восемь лотов [HYPERLINK "#с\\_47" {47}](#) крысиного яду, все, что тогда приобрела обманным путем. И вот пожалуйста, лежит на столе. Ну и вид, скажу я вам, был у покойницы! Словно всемогущий Господь, вдыхая в нее жизнь, подул с такой силой, что ее разнесло пузырем.



И тут Захария разразился таким смехом, как будто разом рухнула целая поленица дров. Но Аксель глядел на него с глубочайшим ужасом. Из всей истории до него дошло только одно — что цирюльник видел это лежащее на столе мертвое тело. И он вспомнил об Ингер, как она сорвала мимоходом полевой цветок и несла его потом в руке, и сама светилась, как огонек... с ним рядом. Все его существо возмутилось и кричало: «Нет! нет! этого не могло быть». И он закрыл свои усталые вежды, отвернулся лицом к стене и затаил дыхание, глотая слезы.

## ДАТСКАЯ СМЕРТЬ

Аксель, беспечный Аксель умер вечером под открытым небом, в последние часы он был в полном сознании.

На третий день после того, как он был ранен, к нему подступила смерть. И вечность стала ему невмоготу, за двое суток телесных мучений он избыл свою жизнь. Почувствовав последний жар, он просил, чтобы его вынесли на улицу; пока его несли, он все время кричал нечеловеческим криком. За порогом его усадили на стул, и там он просидел целый день. Открыв глаза на солнечный свет — возле колодца крикали утки, — он увидел перед собой Миккеля Тёгерсена, который стоял и ждал уже некоторое время.

— Неужели ты не можешь выздороветь? — спросил несчастный старый горемыка.

Аксель безразлично покачал головой и закрыл глаза. Спустя долгое время он их снова открыл и увидел, что Миккель все еще тут.

Было жарко, как в печке, и тихо. Солнце блестело на глиняном черепке, валявшемся на земле.

— Погляди-ка, пчелки-то роятся, — произнес бесхитростный мужичий голос с трактирного порога. Высоко над огородом носился в белоснежном воздухе пчелиный рой; он повис почти против солнца круглым живым облачком; оно то растекалось по сторонам, то собиралось плотным поясом вокруг копошащегося ядра, иногда оно совсем исчезало в слепящем огне солнечных лучей; внутри него клокотало, как в кипящем горшке.

Аксель слышал голос Миккеля, тот говорил, что ладанка его была пустой:

— В ней ничего не было, Аксель!

Но Аксель выслушал его равнодушно. Пока он был жив, ему и в голову не приходило усомниться, что документ — вот он, при нем; а теперь, когда пришло время умирать, тем более стало неважно, если бумажка исчезла.

— Можешь ли ты простить меня? — вопрошал из глубины своего ничтожества Миккель. Но он только напрасно докучал умирающему своими приставаниями. Аксель не шевельнулся. Потом он заметил, что Миккель ушел.

Теперь Аксель непрестанно думал об Ингер. Неужели там о нем забыли? Никто не приехал. Он, правда, не посылал им весточки, но в душе надеялся, что они его все равно разыщут. Совсем недавно он и сам не хотел ее видеть, но сейчас... Почему же они не разыскали его? Вот ведь Миккель — захотел и нашел! Так отчего же никто из них не появляется? В груди его поднимались безмолвные рыдания. Он сидел совсем тихо. И не было ему никакого облегчения, он даже не мог сделать глотательного движения, чтобы немного утишить огонь, сжигавший его грудь. Во рту все пересохло.

\* \* \*

Попозже к концу дня Аксель проснулся с ощущением, что боль куда-то исчезла!

Да, действительно! Он даже покраснел от горячей благодарности. Боль прошла, точно ее и не было!

Он непрестанно чувствовал свое избавление и не помнил себя от переполнявшего его счастья. До крайности обессилив, он вел себя очень спокойно, и кончина его происходила изумительно легко и безболезненно! Лишь изредка встрепенется в груди усталое сердце, словно утомившееся дитя, которое радо грядущему сну и, всхлипывая, улыбается.

В мыслях у него все так прояснилось, вспомнились позабытые вещи; былое и настоящее вспоминались ему в нерасторжимом единстве, не причиняя страдания. Горечь воспоминаний покинула его. И не жаль было умирать. Не так уж это страшно, когда можно умереть прежде самой смерти.

Аксель вспоминал случаи из своего детства; он был тогда настолько гордым, что грубости и побои были ему скорее по нраву, чем ласковое обращение. Поди, лежит еще на том же месте тот валун, в который он однажды вцепился и повис, как приклеенный; валун весил, наверно, две или три тысячи фунтов, а он, охваченный слепой яростью, хотел швырнуть этот камень в другого мальчишку; конечно, камень не сдвинулся с места, и тогда он, вцепившись руками и ногами, провисел на нем битый час, пыжась, словно обезумевший муравей! Его насилу оттащили. Как же все это было недавно!

Акселю вспомнилось, как ему случалось расчихаться по многу раз подряд. Вспомнилась ему жаба, которая вылезла в сумерках под дождь и, как паук, ползала на брюхе в зарослях крапивы. Он даже вспомнил вдруг протертое место на рукаве своей детской курточки. Он умирал, припоминая всяческую чепуху, позабытые пустяки, которые обжигают душу каленым железом; но безжалостные мучения памяти сливались в его сознании с блаженным чувством освобождения — конец терзаниям! Так умирал Аксель еще при жизни. Истаивал, как вешний снег. Он вживался в свою смерть. — Ингер! Ох-хо-хо! — Она отодвинулась куда-то совсем далеко, хотя и при смерти он о ней помнил. Прощай, милая Ингер! Но умиралось нетрудно.

\* \* \*

Вечером гробёльские мужики собирались справлять церковный праздник. Когда на землю спустилась не тьма, нет, — робкие летние сумерки, по всему небу разлился золотистый блеск, и на траву пала роса. Зеленые налитые колосья клонились под своей тяжестью, свисая сплошной гривой по краям тучного поля, от плодоносной нивы веяло дурманящим запахом, который исходил из бесчисленных тысяч его колосков. Внизу на приречных лугах мычали коровы, призывая своих доярок. Далеко отсюда в гробёльских холмах на фоне многомильных пространств бездонного неба виднелась точка — это был мальчишка-пастушонок, который на ночь глядя спускался домой в низину.

Всюду пала вечерняя благостная тишина, и ночная благоуханная прохлада разлита была в воздухе, самые сумерки были зеленоваты, словно воздух — это зеленый океан, всюду рождающий жизнь. Все звуки ласкали слух. Каждый возглас, который доносился издалека, казалось, приносил весть о счастье, которое обитает там, где он родился; счастьем он наполнялся в своем полете под всеблагим небом.

А ночь не наступает, ибо нынче — пора белых ночей.

И вот, после того как скотина была обихожена и люди мирно повечеряли, народ начал выходить на деревенскую улицу и собираться перед гробёльским трактиром. Зазвучала музыка одинокой скрипочки, она пела человеческим голосом.

То один, то другой из местных жителей иногда подходили, чтобы постоять и поглядеть на заезжего человека, который сидел возле дверей трактира; они единодушно решили, что вид у него никудышный, дескать, уж вовсе плох человек. Скоро все население Гробёлле, и стар и млад, потянулось к деревенской церкви, где были расставлены столы для угощения. Впереди шел музыкант. Только одна старушка осталась в трактире присматривать за больным. Усевшись с прялкой на пороге, она час за часом безмолвно сучила свою пряжу.

Время текло. От церкви иногда докатывались до порога слабые всплески человеческих голосов. Порыв ветра донес усиливающийся шум веселья — смех, выкрики танцующих.

Аксель открыл глаза; и поглядев наполовину уже нездешним взором, увидел, что ночь светла. В церкви пели. Слышно было, как из пивной бочки выколачивают затычку. Песни понеслись громкие и веселые — как видно, начали танцевать. Праздник был в самом разгаре, шум его разносился далеко окрест.

Аксель еще раз открыл глаза и увидел белую ночь.

Небо цвело, словно белая роза.

Далеко-далеко, в миле от того места, где сидел Аксель, горел на холме праздничный костер.

Рядом бесшумно вынырнула птица и исчезла в прохладных сумерках. Ива возле колодца тихо склонялась в белой ночи всеми своими нежными беленькими листочками. Невесомый, пепельно-белый ночной мотылек порхнул в ночном воздухе. Небо казалось туманным от звездного света.

Аксель закрыл глаза.

\* \* \*

И он полетел, стоя в воздухе, среди белой ночи и опустился на корабле счастья. Корабль плыл, озаренный луною и звездами. И после долгого легкого плаванья они пристали к берегам счастливой страны; она простерлась на низкой равнине, где царит чудесное лето. Ты чувствуешь с закрытыми глазами запах зеленых лугов, земля там нежна и зелена, словно свежая морская постель — родильное ложе, смертное ложе. Небосвод влюблено ее обнимает, облака дремлют над нею, волны тянут свои зыбкие руки и плещутся об ее светлый берег. Два моря ластятся к ее берегам, там шелков песок, и среди тощей травы пестреют круглые камни. В стране этой есть фьорд, его никогда не забудешь, на нем стоят солнечные столпы. Побережье и острова этой страны в несказанной прелести красуются среди моря. Фьорды поют, а проливы — врата в царство сказочных изобильных земель. Все краски здесь сочны, трава — зеленым-зелена, и море сливается с небом в голубом согласии. Это страна великого лета, страна смерти.

## КАК ПАЛ КОРОЛЬ

Миккель Тёгерсен не успел получить отпуск и отправиться в Иерусалим — для короля настали тяжелые времена; и часть пути Миккель проделал с ним вместе, в ночь плаванья через Малый Бельт Миккель был рядом с королем.

Наступил час, когда королю воздалось за все, что он совершил в пору зрелого мужества, — камни, которые он метал в небеса, начали падать над его головой. Король поплатился за свою силу.

История кратко сообщает о самой тяжелой ночи, которую пережил король [HYPERLINK "#с\\_48" {48}](#). То было 10 февраля 1523 года. Эта ночь сомнений и отчаяния была продолжением того, что случилось 7 ноября 1520 года: в тот день сила короля стала клониться к упадку. Да, сила короля кончилась, когда он применил ее на деле.

Король Кристьяерн знал уже об отказной грамоте [HYPERLINK "#с\\_49" {49}](#), обстоятельства складывались крайне неблагоприятно для него, непоправимое положение, в котором он очутился, было вызвано тем, что рухнуло, погребая его под своими обломками, возводившееся его трудами огромное здание: Швецию он завоевал посредством злодеяния и закрепил за собой жестокостью, и ныне она мятежно сбросила его владычество; в Дании он показал себя толковым и немилосердным правителем, поэтому и здесь против него вспыхнул бунт. Словом, коли ты с кулаком, так и тебя тумаком.

Недавно еще король пытался достигнуть соглашения со своим дядей, который сам стремился [HYPERLINK "#с\\_50" {50}](#) сесть вместо него на трон; не жалея себя, Кристьяерн вдоль и поперек изъездил всю Ютландию, писал письма и вел переговоры; все старания пропали втуне. Он выбился из последних сил, вся его политика, очевидно, зашла в тупик окончательно и бесповоротно. И тут он начал сомневаться.

10 февраля вечером он отказался от своих замыслов. Он сел на корабль, чтобы переправиться на Фюн. Острова по-прежнему были привержены королю, и вся Норвегия стояла за него; однако он сознавал, что при сложившихся обстоятельствах его отказ от переговоров и отъезд из Ютландии означает для него отказ от своих замыслов и от борьбы за дело Дании. Переправа через Малый Бельт означает для него поездку в хароновом челне.

Было холодно и сыро, наступил вечер без света и без тьмы, промозглый воздух без дождя был насквозь пропитан влагой. Близ замка Хёнеборг король сел на корабль, перевозивший через пролив, с ним вместе десятеро спутников; посадка совершилась в тишине — только когда стали заводить коней, произошла некоторая суматоха. Остальная свита осталась на берегу, она должна была переправиться следом за королем завтра; провожатые стояли у кромки воды с факелами в руках, корабль, отчалив, направился в темную даль пролива.

Король сидел на самой корме, всем было видно его лицо, освещенное горевшим на ахтерштевне [HYPERLINK "#с\\_51" {51}](#) факелом, все догадывались, что сейчас происходит, и никто не проронил ни слова. Сперва плыли в молчании; его прервал король самым будничным вопросом, он осведомился о течении и о дрейфе судна. Голос его прозвучал на открытой палубе так спокойно и так безжизненно, что спутникам сделалось жутко и они оробело молчали.

Король немного погодя пожелал знать, как чувствует себя лошадь, которая давеча захромала, и Миккель Тёгерсен постарался ответить как можно пространнее. И опять все замолкли. Волны вздымались вокруг корабля, на штевне стоял человек и держал факел, и казалось, что волны тянутся на его свет. По временам все взоры обращались к факелу, чтобы посмотреть, хорошо ли он горит, не погаснет ли скоро; свита короля сидела по обоим бортам спиной к воде. Молчание всех тяготило, все от него изнывали.

— Нам не угодно, чтобы все сидели молчком, — сказал вдруг негромко король, и в его голосе вновь послышались былые отзвуки крутого и грозного нрава. — Это бунт! — добавил он с обидой и злостью.

Тут большинство из тех, кто там был, сперва откашлились, кое-как собрались с мыслями и стали задавать друг другу вопросы о ценах на доспехи, о том, часто ли тот или другой бывал в Гамбурге, и обо всем, что только приходило на ум. Но это были разговоры больных, которые говорят про сквозняк, а подразумевают смерть. Но когда беседа потекла живее, король успокоился. Звучащие

голоса поддерживали его дух, как будто он был девица, которая оказалась в лесу наедине с незнакомым мужчиной; она все говорит и говорит без умолку, чтобы только слышать, как звучит в лесу ее одинокий голос.

Гребцы неторопливо взмахивали веслами, мерно наклоня и распрямляя одетые в мокрую овчину плечи, тень от надвинутых капюшонов закрывала у них пол-лица, они во все глаза смотрели на короля, уставясь на него преданным собачьим взглядом. Кони в середине перевозни вели себя довольно смирно, но время от времени они все же всхрапывали, смущенные близостью воды, и косили испуганным белым глазом. Колеблющийся свет факела озарял грубые просмоленные доски корабля; теперь среди плывущих завязалась общая беседа.

И король мог наконец, не отвлекаясь, предаться своим размышлениям. Пока они плыли в виду Ютландии, у него еще было довольно спокойно на душе; Ютландию он покидал. Он отказался от своих замыслов. Снова он мысленно перебирал все те тысячи мелких подробностей и сложных переплетений в неудавшемся плане своего правления. Окинув взором нынешнее свое положение, собрав воедино протяженное время, он прикинул все расстояния, взвесил те или иные возможности, наконец с болезненным напряжением представил себе их общий результат и тогда невольно склонил голову и бросил свое дело не сделанным.

Но вот померкли и скрылись из виду факелы на оставленном берегу, корабль вышел на середину Малого Бельта и поплыл в открытом море; тут король заколебался. И увидев огни Миддельфарта [HYPERLINK "#c\\_52" {52}](#), он задумался о покинутой стране. Ведь это было его королевство; и увидел он Данию — как видение предстали перед ним все ее земли, действительно лежащие среди моря, как сумма протяженных пестрых пространств предстала эта страна.

На веки веков нерушима истина, что лежит меж двух голубых морей Дания, летом зеленая, желтая осенью и белая под зимним небом. Как заманчиво выступают из моря берега Дании, как берут за душу ее холмистые поля, то одетые хлебами, то сжатые и пустые. Солнце то выглядывает, то скрывается над холмистыми окрестностями Лимфьорда, где дует западный ветер — всегдашний жилец этих мест; и течение дней так разнообразно и так неизменно в Дании. Мелкие фьорды и их ответвления стократ повторяют эту страну, и открытый простор Эресунна [HYPERLINK "#c\\_53" {53}](#) похож на врата, через которые ты наконецходишь в эту страну. Здесь реки текут, вливаясь в моря, стоят леса близ морских берегов, ты следишь за полетом чайки, перед взором твоим мелькает в вересковой степи скачущий заяц; солнце и безмятежность — вот она, Дания!

И покинув эту страну, ибо прежде, до этой минуты, король был совершенно уверен, что ее покидает, он вдруг с такой силой вспомнил ее в своем сердце, что понял — нет, он ее не покинет!

— Поворачивай назад! — неожиданно приказал король и во весь рост встал на палубе. Все, кто с ним плыли, умолкли так внезапно, словно единый язык замолчал, а гребцы застыли на взмахе и все воззрились на короля. Король Кристьерн повторил свое приказание, но миролюбивым тоном. Повинуясь распоряжению, тяжелый корабль развернулся. И вот они снова поплыли, как раньше, назад, на середину пролива, — огни Миддельфарта растаяли вдали. Никто не посмел спрашивать у короля, отчего он переменял свое решение, но у всех отлегло от сердца, а поэтому все молчали. Пока не вспомнили давешнего приказания и не принялись усердно вести болтовню.

Решившись повернуть назад, король все больше воодушевлялся. Ведь он возвращался к своим королевским замыслам, к цели своей жизни, и по мере того как они, воспрянув, вставали перед ним,

укреплялся его дух. Осуществленное решение, корабль, несущий его в Ютландию, это само по себе как бы служило утешительным залогом того, что все трудности он преодолеет, и король перестал думать о чем-либо, кроме своих планов. Он зрел в грядущем объединенный Север, представлял себе воцарившееся в его землях спокойствие и себя самого признанным главою всех подвластных стран. В душе он еще раз одобрил правильность намеченных на будущее мер; он мысленно рассмотрел свои законы и усовершенствования и нашел, что они хороши. Он вспомнил о своих планах подавить торговый промысел Любека, чтобы сосредоточить торговлю в своих руках для обогащения Северных стран; он еще раз ясно увидел всю несообразность и вредность дворянских привилегий[HYPERLINK "#с\\_54" {54}](#), у него просветлело на душе при мысли о провинциальных городах, в которые придет процветание, и о крестьянстве, которое получит свободу, чтобы новые богатства добывать из земли. Своим мысленным взором он видел сословия своего государства в виде громадных, протянувшихся на много миль во все стороны площадок, расположенных на разных уровнях, и он видел, как одна громадная площадка должна приподняться, а другая опуститься, чтобы они сравнялись под действием неослабевающего нажима властительной руки, лежащей на рычагах правления.

Вон на английском троне сидит король Генрих[HYPERLINK "#с\\_55" {55}](#). А по какому праву? Англия в былые времена принадлежала Дании[HYPERLINK "#с\\_56" {56}](#). Не раз плавал туда датский флот; а значит, объединенный Север может снова протянуть железные когти на запад. Столько-то денег — когда законность и единение, торговля и земледелие соберут для Севера достаточно золота, — столько-то кораблей и солдат... И назло всем ветрам и штормам датские ядра обрушатся на скалы Дувра[HYPERLINK "#с\\_57" {57}](#).

Германский император Карл[HYPERLINK "#с\\_58" {58}](#) приходился королю Кристьярну тестем, король знал его и не восхищался. Французский король Франциск[HYPERLINK "#с\\_59" {59}](#) — личность тоже не слишком выдающаяся. Ладно, пускай сидят себе, где сидели, но если говорить о царствах Нового Света, которые подарены Европе Колумбом, то из-за них мы еще поспорим! Кораблей! Кораблей! Север еще не получил своей доли — он ее получит. Это будет источником денег и новых кораблей. И люди Севера далеко шагнут вперед, покуда есть еще не завоеванные миры.

Так. Но уверенность короля сникла, едва перед ним опять показалась Ютландия. На берегу не было огней, и суша вместе с замком Хёнеборг внезапно вынырнула из мглы туманной ночи, когда корабль приблизился к ней почти вплотную. На земле там и сям лежали остатки не растаявшего снега, с голых деревьев с карканьем взлетали вороны и галки. Огни в замке были потушены. Сырая ночь всё придавила своей тяжестью.

Зрелище твердой земли поразило короля, словно внезапный удар. Он до глубины души проникся пониманием того, что страна охвачена мятежом, это была суровая действительность. И поскольку однажды он уже осознал со всей отчетливостью всю безнадежность своего положения, то тем скорее должен был во второй раз прийти к тому же горькому выводу. У короля накопилось достаточно воспоминаний и картин такого рода, которые могли привести его в уныние, — для этого вполне хватало опыта, нажитого за годы правления. Нескончаемые труды, разочарование, каждодневные расчеты и напряжение, в котором он жил вот уже десять лет. Швецию он дважды завоевывал своим мечом, она досталась ему дорогой ценой, ради нее он совершал непоправимые поступки — и вот,

оказывается, все было напрасно. Во имя Дании он безоглядно тратил своей силы, трудился денно и нощно, а датчане отблагодарили его тем, что отставили от должности как нечестного управителя. Да можно ли добиться чего-то с таким народом, который не хочет, и всё тут! В каждой деревенской усадьбе этого обширного государства окопалось твердолобое упрямство, в каждом датчанине сидит недальновидная слепота, которую неустанно приходится побеждать силой или лукавством. И все это ради никому не понятной цели.

Это была неравная борьба. У косности было много сторонников, и только он один отстаивал королевскую мысль. Это значило сражаться с черепахами. А что до простонародья, угнетенного и задавленного нуждой, тех, кого он собирался поднять из униженного состояния, они и вовсе не способны были видеть ничего, кроме сиюминутной потребности, и вот они выступили по всей стране, от Скагена до Вейле, покинув свои хижины и вооружившись стрелами и топорами, потому что он ради спасения государства хотел обложить их налогом. Нет, с такими людьми дела не сделаешь! Твердолобые, с недалекими мыслями и жестоковыйные люди населяют Данию, всюду — скарёдные сердца и кошельки, закоснелые привычки, озлобленность и глупость.

Перевозня причалила к берегу, матросы уже начали укладывать сходни, как вдруг король снова приказал отчаливать и плыть назад, к Фюну. Король говорил упавшим голосом, но, увидев, что они не торопятся, разразился яростной бранью. В свите короля воцарилось гробовое молчание. И за все время, пока они во второй раз переправлялись с Ютландского берега к Фюну, не было сказано ни одного слова.

По прибытии в Миддельфарт король тотчас же сошел на берег и направился к ближайшему дому. Дело было уже ночью, разбуженные стуком жильцы пришли в большое смятение. Король потребовал, чтобы ему предоставили ночлег, и покуда шли хлопоты и приготовления, он уселся при свечах писать письма. Он решился на последнюю попытку и обратился с посланиями к целому ряду мятежников. Ибо тоска, которая охватила его при виде ютландского берега и мешала спокойно думать о Дании и о создавшемся положении, прошла в тот же миг, как только он решил оттуда уехать. А очутившись в Миддельфарте и написав письма, он и вовсе успокоился, и в глубине души у него втихомолку ожила надежда.

Король немного поужинал в обществе Амброзиуса Богбиндера [HYPERLINK "#с\\_60" {60}](#), который был при нем в эту ночь. Затем они целый час проговорили, очень горячо, король сердился, да и Амброзиус забылся и тоже выходил из себя. Он был противником каких бы то ни было переговоров и убеждал короля, что надо на островах собирать войско и под корень истребить жалкие собачьи душонки, которых слишком много развелось в стране. Амброзиус весь трясся при одной мысли о подлом датском сброде.

— Да, да, да, — говорил король, соглашаясь.

Но смотрел при этом рассеянным взором и не вслушивался в то, что говорил его собеседник. На столе в тесной комнатенке мещанского дома коптила свеча. Время уже было за полночь. Король подошел к окну и растворил ставни, чтобы посмотреть, какая на дворе погода; ночь по-прежнему была сырая и облачная.

— Да, — произнес король, отошел от окна, потоптался туда-сюда на тесном пространстве. Вдруг он остановился, кивнул — решено! Амброзиус Богбиндер оцепенел.

— Переправляемся на ту сторону, такова наша воля! — промолвил король густым, низким басом.

Через полчаса они уже плыли по морю.

И королевское решение было незыблемо. Мысли его уже унеслись в глубь Ютландии, в своем воображении он уже скакал к Виборгу [HYPERLINK "#c\\_61" {61}](#). Ибо из всех возможных путей он избрал самый трудный и тягостный — пойти на уступки. Да, он решил отказаться от некоторых прав ради конечной цели. Не беда, если придется подождать. Сейчас самое главное — за что-то ухватиться... Он созовет в Виборге представителей сословий и пообещает собранию те уступки, которых оно потребует.

Медленно тащилась перевозня через Малый Бельт, и пока длилось плавание, король все больше воодушевлялся этой мыслью. Вот когда он наконец-то понял, какую ошибку допустил в прошлый раз в Стокгольме, когда хотел достичь всего одним ударом! Это был не грех, не ошибка, это было необходимо. И все-таки неправильно, поскольку привело к таким громадным и пагубным последствиям. Он поступил, не посчитавшись с мнением своих подданных, а их мнение, пускай и бестолковое, такая же существенность, как все остальное. Наперед он этого не забудет и непременно будет принимать в расчет мстительность, глупость и невежественность мелких людишек, подобно лучнику, который нацеливает стрелу выше мишени, учитывая ее снижение при полете. Он пойдет на уступки, будет покладистым; король небрежно перебрал в уме сотню датчан, представил себе и выбрал те головы, перед которыми ему придется склонить свою.

Но король так и не переправился через Бельт. На середине пути его одолела слабость. От усталости и пережитых треволнений у него схватило сердце. И перед самым ютландским берегом он приказал поворачивать обратно; он решил воротиться в Миддельфарт и по крайней мере спокойно выспаться в эту ночь.

И вот он поплыл к Фюну. Да, сам, своей волей он все бросил и уплыл. Он был совершенно раздавлен, его трясло, точно в лихорадке, и в этом угнетенном и в то же время взбудораженном состоянии его вдруг ужасом поразило убийственное открытие собственной растерянности. Он вдруг увидел со стороны, как мечется взад и вперед по проливу, понял свою полнейшую неспособность принять то или иное решение. Сомнение поразило его, и когда он его разглядел, оно усугубилось. Теперь уж не дело, о котором он думал, повергало его в нерешительность — он усомнился в самом себе. Судьбы государства, передвижения войск, войны и сражения — все утратило отдельное существование и свелось лишь к тому, чтобы превратиться в некие мыслительные процессы, которые протекали в уме короля, и король осознал это превращение. Таким образом, сомнение принизило его и превратило из могучего короля в ежащегося от озноба больного и растерянного человека.

И все-таки, завидев впереди огни Миддельфарта, король Кристьерн снова повернул назад. Ибо открытие, что он сомневается, совершенно убило его, он был оглушен, раздавлен, он уже ни в чем не чаял для себя ни малейшей надежды, и тут на него снизошло особенное спокойствие — то было отчаяние. Король отчаялся, то есть вполне утвердился в своих сомнениях, обрел своего рода твердую уверенность, и по особенной прихоти душевного движения это чувство обернулось в свою противоположность — он вновь обрел надежду.

Но силы его тем временем истощились. И, приближаясь к Ютландии, он понял, что в Дании, к нему никогда не вернется былая твердость и мужество, ибо Дания сделала из него сомневающегося человека. Он должен покинуть эту страну, подобно тому как мужчина покидает женщину, перед



которой однажды сплывал. И он уплыл на Фюн, измученный горем и болью от терзаний. Но не успела перевозня доплыть и до середины Бельта, как короля уже снова потянуло назад в Ютландию, в Данию, которая притягивала его, как притягивает мужчину женщина, видевшая его бессилие. Ибо восстановить свое достоинство можно там, где его потерял. Ты можешь победить весь мир, но доколе не одержал победы там, где совершилось падение, доколе не сможешь обрести утраченное достоинство. Король велел поворачивать и плыть в Ютландию. Но он уже устал, измучился страхом и был так жалок, как только может быть человек.

То была ночь отчаяния для короля Кристьерна.

Эта ночь сломила его. Он плывал туда и сюда, пока не забрезжил рассвет. К восходу солнца он очутился у фюнского берега, и он остался там, где оказался по воле случая.

Но нет, то было не случайно. И не восход солнца положил конец метаниям короля Кристьерна. Ибо сказано, что тот, кто усомнился, непременно, непременно кончит бездействием, и пойдет прахом дело, в котором он усомнился.

### СОКРОВИЩЕ

В лето 1523 года четверо немецких ландскнехтов явились к еврейскому купцу в городе Амстердаме и предъявили ему документ, написанный по-еврейски; это было кредитное письмо на получение тридцати тысяч гульденов. Подлинность документа не вызвала сомнения, деньги тоже были в наличности; однако он возразил, что письмо — именное и получателем значится некий Аксель, или Абсалон, внук того Менделя Шпейера, который оставил на хранение эти деньги.

Солдаты в ответ объявили, что получили сей документ из рук некоей девицы Люсии, она же Люсия получила его от владельца, а им известно-де содержание документа и в нем, дескать, ясно сказано, что деньги должны быть выданы предъявителю.

Купец отказался выдать им деньги, и тогда ландскнехты обратились в суд, который решил дело в их пользу, и им была выплачена означенная сумма в тридцать тысяч гульденов теми же золотыми монетами, которые Мендель Шпейер передал в свое время купцу на хранение.

Ландскнехты поделили деньги между собой и разъехались в разные стороны, кто куда со своим богатством.

Один, получив свою долю сокровища, сразу купил себе воловью упряжку с подводой, чтобы зарабатывать извозом; он не спеша отправился по дороге и был убит в ту же ночь в двух милях от Амстердама.

Другой вернулся к себе на Рейн, откуда он был родом, и там закопал все свои денежки; он умер в одиночестве и нищете, не истратив ни гроша из своего богатства.

Третий проигрался дотла в Турине спустя восемь лет.

Четвертый тоже плохо кончил: он умер от богатства, кутежей и обжорства на девяносто седьмом году жизни.

Аксель же благополучно покоем в могиле на гробёльском кладбище.

### ИНГЕР

А Ингер все кручинилась. День и ночь она руки ломала и плакала о своем женихе. Ночь придет, она из своей спаленки все в окно глядит, плачущи, на химмерландскую сторону. А за окном-то ночи белые, и небеса от зари до зари стоят открытые.

Все кручинилась Ингер. Услыхал это Аксель в могилке своей на гробёльском кладбище. Во сырой

земле приподнял он головушку усталую и встал на ноги. Голо кладбище на все четыре стороны, ветер гуляет, среди могил лошадь мертвая пасется, проводила она Аксель печальным ржанием, а он вышел за калитку, идет и гроб свой на закорках несет.

И пошел он через степь к фьорду, побрел, волоча ноги, среди белой ночи через землю датскую. Небоверху — белое с позолотою, землю внизу сумерки окутали. Светится фьорд впереди, спокойно стоят за ним крутые берега Саллинга.

По степи о ту пору одинокий мертвец кругами ходил, остановился он и тоскливо глядел вслед Акселью, покуда не скрылся он в ложине вместе с гробом своим, и опять пошел кружить мертвец в своем одиночестве.

Закатилось солнышко на севере за край земли, где небо вызолотилось. Налетел ветерок, опавнув росой и цветочным душистым запахом, задремали соком налитые все растения.

Добрел Аксель до Вальпсунна и увидел, как ходят на морском просторе неудержимо дружной вереницей волны, и вот он пришел в Кворне.

Одетый в могильный саван, встал он у Ингер под дверью и постучался, как нищий убогий:

— Вставай, Ингер. Отвори мне дверь.

Встала она и заплакала, горячие слезы хлынули у нее из глаз. Но тут она испугалась и остановилась.

Из замочной скважины легонько тянуло ветром. Может быть, сырый ветер там заблудился и просится в дом со двора? И подумала — вдруг там не Аксель, а кто-то другой?

— Можешь ли ты вымолвить имя Христово? — спросила, рыдая, Ингер за закрытой дверью. — Тогда я тебе отворю.

— Могу, — отозвался Аксель глухим голосом. — Имя Христово я точно, как прежде, могу повторить. Ради Христа, отвори мне, Ингер.

Дрожа, она дверь отворила и увидела его на пороге стоящим, черный гроб у него на плечах и на длинных одеждах пятна земли, и узнала, что впрямь это Аксель.

Но вот они сели вдвоем, и молчит с нею Аксель, ни слова доброго нет у него, приголубить, утешить не может. Тут Ингер заплакала так, что в голос завывала, словно в тисках сжалось ее удрученное сердце. Ингер плакала долго, ослепнув от слез; нестерпимая радость среди горя так могуче в груди всколыхнулась, что дух у нее перехватило.

\* \* \*

Тихо было в ночи, только ветер гулял. Ингер наплакалась вдосталь, так радостно ей, волосы Акселью стала чесать, а сама и плачет, и сквозь слезы смеется. А от волос-то его холод идет, голова-то его холодна, будто камень в поле студеном. Обливаясь слезами от счастья, Ингер кудри чешет ему с приговорами:

— Волоса у тебя все в песке и в земле, и руки вон тоже в песчинках. Аксель руки ладонями вниз положил на колени и задумался будто, а рот у него тоже землею забит.

— Какой ты холодный! — воскликнула Ингер, а голос был сиплым, потому что ее колотило в ознобе. И тоску свою утоляя, она все плакала и, слезы глотая, смеялась. Лаская, она волос к волосу кудри его уложила, и Аксель чело преклонил к своей милой.

Ночь была тихой, и на стеклах играли желтоватые отблески северного небосклона. За окном гудел и баюкал ветер.

\* \* \*

— Скажи мне, каково у тебя там в могиле под черной землей? — нежно спросила Ингер с заботой и страхом. Так хорошо им было вместе сидеть под ласковым сумраком ночи в спальне белой. — И зачем ты гроб с собою принес?

— Гроб я с собою ношу оттого, что боюсь остаться бездомным. В гробе мой дом, — ответил по правде Аксель. — В могиле мне хорошо. Мне хорошо, когда ты меня утешаешь. Когда ты, Ингер, резва и веселые песни поешь, тогда я забываюсь. Розами устлан мой гроб, лепестки мягче пуха сон мой лелеют, в райском мраке я сплю. Дивно спится в земле. Когда ты в каморке своей веселишься и словно пташка щебечешь.

— Возьми и меня туда! — стала Ингер просить, разразившись бурно слезами. — Забери меня в землю.

— Когда ты кручинишься, Ингер, и слезы льешь, причитая, мой гроб до краев наливается стоялой кровью! Страшно в могиле, милая Ингер, зачем ты стремишься за мной? В могиле место усопшим. Зачем ты плачешь по мне? Я умер. Зачем ты любишь меня?

Аксель молвил эти слова терпеливо и твердо, словно речь эту он наизусть затвердил. Аксель набрался такого ума, что представить себе невозможно, и оцепеневший язык изрекал добытое необратимым познанием.

\* \* \*

— Что же ты не целуешь меня? — прошептала она еле слышно и приблизилась, вся трепеща. Аксель не шелохнулся. Тогда она захотела его согреть, и прижалась сердцем горячим к холодному сердцу, и стала ласкать и голубить. Но он был неживой. Она в тоске позвала, имя его повторяя, ибо думала — он задремал и забылся. Но то был не сон. Нет, он не спал.

А ночь истекала.

— Чу! Петух прокричал, занимается утро, — Аксель сказал. Но Ингер его крепко держала.

— Небо белеет, все покойники прячутся в землю, — молвил Аксель в тревоге.

Но Ингер головой приникла к мертвой груди.

— Уж окно розовеет, скоро солнце взойдет, — глухо Аксель опять говорит. — Мне в землю пора. Но едва он за дверь, как бедная Ингер заметалась в отчаянье и, наказ позабыв, руки ломая, пошла ему вслед и в темном лесу догнала. Она шла за ним следом, с каждым шагом слезы роняя, и так они вышли на берег морской. Глянула Ингер и видит — он на глазах побледнел и кровь засочилась с водою из его уст.

— С собой возьми и меня, — взмолилась она в ужасе и безумной тоске, и он взял ее через пролив по просветлевшим волнам. Восток разгорался, когда они шли через степь.

А как на кладбище вышли, и солнце взошло. В пронзительном свете зари видит Ингер — у Акселя очи истлели, щеки его провалились, и кость проступила под ними. Ноги его, прикоснувшись босыми ступнями к земле, зябкой дрожью взялись.

— Больше уж ты горевать не будешь по мне, — так сказал Аксель своей ненаглядной невесте, и холодно голос усталый его прозвучал.

— Не плачь обо мне никогда! — так просил и велел он. Но Ингер все не хотела его отпускать. Аксель только рассмеялся тихонько. Он стоял перед ней жалкий и властный.

— Погляди-ка на небо! — сказал он тогда, усмехнувшись с нежностью несказанной и словно с неутолимой тоской, усталостью изнурен и по земле истомившись. — Видишь, как радостна ночь на

прощанье!

Глянула Ингер навверх на поблекшие звезды. А мертвец скрылся в земле. Больше она уж его не видала.

### ЧАСТЬ 3. ЗИМА

#### И СНОВА ВОЗВРАЩЕНИЕ

Старик в плаще пилигрима, с капюшоном на голове и с морской раковиной, которая висела у него на шнурке, надетом на шею, взошел на вершину одного из холмов, поднимающихся к югу от Гробёлле; сложив руки на посохе, он постоял там, озирая долину, рукав фьорда и косогоры. Это был Миккель Тёгерсен.

Он снова вернулся на родину. Ничто здесь не изменилось, но как будто стало пониже. Был сентябрь. Прохладно светило солнце. В деревне за рекой над хлебными скирдами летали стаями воробьи и скворцы. Возле устья стоял отчий дом Миккеля. Он увидел, что около старого жилья выросла большая новая постройка. Появились и новые поля, где прежде была не распаханная земля, теперь пашни протянулись до самого берега.

«Жив ли еще Нильс?» — подумал Миккель.

Оказалось, что жив, только постарел заметно. Случилось так, что, войдя в горницу, Миккель застал в ней одного Нильса. Нильс сидел за столом на хозяйском месте, вид у него был заспанный, в волосах торчала солома и мякина, он только что встал от послеобеденного сна. Пивная кружка была облеплена мухами, при появлении Миккеля они дружно поднялись в воздух и с жужжанием разлетелись в разные стороны.

При виде брата в одежде паломника Нильс молча перекрестился. Понемногу он стал приходить в изумление, а там и обрадовался. Миккель тихо подсел к столу, и они повели негромкий разговор, стараясь не нарушить покоя остальных домашних.

— Ребята ушли поспать, — сказал Нильс — С приездом, брат! Притомился, поди! Конечно, как же иначе! Пить хочешь? Вот поганные мухи! Погоди, я сейчас!

Нильс нацедил свежего пива и опять уселся разговаривать. Он от души обрадовался брату, вопросы и восклицания так и посыпались из его уст, хотя говорил он, как всегда, скованно и суховато, такая уж у него была натура. Впрочем, взгляд у него стал теперь живее и вся повадка уверенней, чем у прежнего Нильса, которого помнил Миккель; да и немудрено, конечно, — ведь он уже много лет как сделался самостоятельным хозяином в усадьбе.

— А старик-то, знаешь ли, помер, нету нашего батьки, — воскликнул Нильс негромко, отозвавшись на собственные мысли. — Помнишь, ты навестил его, а спустя несколько недель пришлось его на погост везти. Это уж, значит, лет двенадцать назад было. Да, уж он тогда был совсем старый.

Миккель промолчал. Мухи с жужжанием летали вокруг и ползали по высокобленному столу.

— Я и не ждал уж, что ты опять к нам домой наведаешься, — сказал со смешком Нильс, отводя глаза в сторону. Но вдруг он вскинул на брата растроганный взгляд: — Вот и мы с тобой оба состарились. Миккель задумчиво поднял голову и кивнул.

Нильс заговорил о другом, он наконец оживился и даже вскочил с места:

— А ты, Миккель, взял да и приехал! Подумать только! Это будет памятный день для нас. Сейчас я всех созову.

Нильс вышел с крыльца на мощный двор и веселым голосом стал сзывать сыновей, выкликая их

имена. Сыновей было трое — Анд ере, Тёгер, Йенс. Оставшись один в горнице, Миккель стал оглядываться в ней, расправляя натруженные ноги.

— Ага! Тута! — протяжно отзывались из овина голоса нильсовых сыновей, внезапно разбуженных ото сна. Один из них завопил, перепугавшись спросонья, и Миккель услышал, как во дворе рассмеялся на это Нильс; в тот же миг открылась другая дверь, и из поварни вышла в горницу жена Нильса. Один за другим появились сыновья Нильса, каждый с изумлением взглядывал на сидящего у стола пилигрима. Все трое были уже взрослые мужики.

— Вот, поглядите на своего дядьку! — произнес довольный Нильс. Миккель внимательно всматривался в молодые лица и во всех узнавал фамильные черты.

На стол выставили еду, и пока Миккель угощался, вся семья сидела вокруг. Нильс ревностно следил за дорогим гостем и радовался его аппетиту; жена и сыновья вели себя с подобающей скромностью и помалкивали, но непрестанно разглядывали Миккеля с громадным и благожелательным любопытством. Миккель ел и отвечал на все вопросы, которые ему задавал Нильс.

— А эта большая раковина что означает?

— Она из Иерусалима, — объяснил Миккель. — Мы пользовались ею вместо миски, собирая в пути подаяние, которое получали от добрых людей.

— Надо же! — Нильс умолк и задумался. Он бросал на брата смущенные и в то же время полные сердечности взгляды, хотел было еще о чем-то спросить, да передумал, смирившись покорно с тем, что было выше его разумения. Он размышлял о чем-то.

— Такие дела, значит. Ты ведь останешься и поживешь у нас немного? Уж ты нам порасскажешь тогда обо всем, что видел; мы-то вон ничего, поди, не видали.

Нильс сидел на лавке в застылой позе, глядя перед собой. Неожиданно он распрямился и, прислонясь спиной к стенке, заговорил:

— А ведь тут у нас тоже кое-что затевается, — сказал он вполголоса. — Ты еще никого не расспрашивал?

Миккель поднял глаза от миски и покачал головой. Но Нильс выразительно поглядел на него, давая понять, что об этом речь будет после. Остальным и без того было известно, на что намекает Нильс, жена сразу потупила глаза с выражением страха на лице, а у старшего из сыновей, Тёгера, сделалось собранное и напряженное выражение, точно он уже на чеку и готов сорваться с места по первому знаку.

После обеда Нильс повел Миккеля осматривать свои владения. Нильс забросил кузнечное дело, он прикупил земли и поставил хозяйство на широкую ногу. Усадьба Элькер была одной из самых крупных в этой местности. Один раз, когда они остановились в поле, Нильс вдруг заволновался, но тотчас же справился с собой. Он подобрал со стерни колосок и повел речь с таким спокойствием, что слова его вдвойне ошеломили Миккеля.

— Мы готовимся к войне [HYPERLINK "#с\\_62" {62}](#), скоро уж и начнем, — сказал Нильс. После этого он замолчал, переводя дух, и шумно выпустил несколько раз воздух из ноздрей. Затем, как ни в чем не бывало, продолжил:

— Конечно, ты не больно-то разбираешься в наших обстоятельствах, ты ведь долго пропутешествовал на чужбине. Так вот, мы именно собираемся воевать, мы — то есть все нашенские, местные мужики; а теперь слушай дальше...

И после этого вступления Нильс растолковал Миккелю, что к чему: дворяне, дескать, держат короля пленником в Сённерборге, а мужики по всей стране хотят его, короля Кристьерна, выволить. Они решили взять дело в свои руки. Мужики из Веннсюсселя давно уж это задумали, а теперь и в Саллинге собирается рать.

— Ну, а мы, химмерландцы, не таковские, чтобы от других отстать, — объявил Нильс, из последних сил сохраняя спокойствие. — Мы уже точим топоры.

Нильс провел себе ладонью по глазам, которые налились жаром, и откашлялся:

— Пойдем-ка со мной, я тебе покажу.

Нильс пошагал впереди Миккеля к усадьбе и привел его в тесную кузницу Тёгера; там все оставалось неизменно, как при жизни прежнего хозяина.

— Работы у нас в последнее время прибавилось, — зашептал Нильс — Хорошо, что и Андерс, и Тёгер у меня оба — умелые молотобойцы. Мы перековали для людей много кос. Да и на себя потрудились, не жалея времени. Вот, посмотри!

Нильс вытащил из угла новенький, только что выкованный топор. Лезвие его играло всеми цветами радуги после закалки.

— Мы такого добра много наготовили, — сказал Нильс приглушенно и полез за следующим изделием.

— Глянь-ка! Вот этот будет мой. Узнаешь? Я поставил на него новую сталь.

Миккелю знаком был этот топор; раньше им всегда пользовался отец.

— Старик с ним никогда не разлучался, — сказал Нильс. — Покойный дед держал его в руке, когда его тело нашли после сражения на Огордском поле в Ханхерреде. Тому уж минуло девяносто три года. Вон сколько лет прошло с тех пор, как мужики воевали, много их тогда полегло. Мы этого не забыли.

— Андерс, Тёгер, Йенс! — окликнул Нильс своих сыновей непривычно властным голосом.

И все трое долговязых молодцов в тот же миг выросли перед ним, как из-под земли. Тогда Нильс гордо вскинул невзрачную свою голову и стал, положив руку на топор. Сыновья окружили его и с готовностью глядели, не сводя глаз с его лица. Он ничего не сказал, но они, видать, и без того все поняли.

Миккель опустил глаза. Ему не хотелось смотреть на брата, в котором взыграл вдруг воинственный дух. Не к лицу это было Нильсу. Но в то же время Миккель испытывал жгучий стыд за себя. И ему невольно вспомнился отец — вот это был человек, не чета нынешнему поколению.

В последующие дни к Нильсу из Элькера приходило немало народу, чтобы переделать то или иное крестьянское орудие на боевое. Много было разговоров о предстоящих делах, иной раз шумных, но большей частью скрытных и приглушенных; у Миккеля сложилось впечатление, что голос Нильса имел среди местных жителей не последнее значение. Однако признанным вожаком был все-таки не он, а человек по имени Серен Брок, который жил в Гробёлле. Если бы старый Тёгер дожил до этих событий, то был бы, конечно, главным заводилой.

Времена надвигались все тревожнее. Чуть не каждый день по дороге во весь опор скакали какие-то всадники, и среди крестьян чаще стали попадаться незнакомые люди. Время шло, и вот уже кончился сентябрь.

— Послушай, мы без труда могли бы достать тебе другую одежду, — однажды высказал Миккелю

Нильс то, что давно, видать, не давало ему покоя. Миккель улыбнулся.

— Это тебе, если хочешь быть с нами заодно. — С этими словами Нильс протянул Миккелю приготовленное для него платье.

Миккель в ответ только покачал головой. Однако этот случай навел его на размышления, и он понял, что и впрямь уже состарился.

— Нет уж, Нильс, — сказал он серьезно. — Я свое отвоевал, хотя, по правде сказать, мне в тех сражениях не было никакой корысти. А теперь уж я устал. Вон сколько народу повырастало за время моей солдатской службы, они были еще в пеленках, когда я пошел в солдаты, а теперь — взрослые мужчины. Нет, уж если мне на роду написано послужить королю, так, зная, это будет другая служба. Но коли ты позволишь мне, я остался бы, чтобы посмотреть.

Нильс кивнул с разочарованным видом, однако Миккель его вполне убедил.

За этим последовало несколько дней полного затишья. Все было готово, оставалось только ждать. У всех было такое чувство, будто война должна нагрянуть откуда-то со стороны. Никто толком не понимал, откуда она должна начаться. Нильс каждый день причесывал свои седые жидкие волосы мокрым гребнем, как для праздника. Никто ничего не делал по хозяйству, кроме самого необходимого. Сыновья почти все время пропадали в Гробёлле со своими сверстниками. Жена Нильса занималась вязанием, она целыми днями просиживала на лавке с чулком и, казалось, не смела даже вздохнуть полной грудью.

В эти несколько дней Нильс и Миккель частенько вспоминали отца. Нильс слонялся как неприкаянный, останавливаясь время от времени, чтобы доделать что-нибудь по хозяйству, и предавался воспоминаниям о старике Тёгере. Миккель в белом балахоне пилигрима ходил за ним по пятам и слушал, как Нильс вспоминает разные мелочи минувшей жизни. Входя во вкус, Нильс рассказывал живо, у него был своеобразный юмор, и всякое, даже незначительное предание, сохранившееся в его памяти, питало воображение Миккеля. Сам же Миккель почти никогда не пускался в разговоры.

А в последний день Нильс рассказал и то, что, по-видимому, долго откладывал, ибо это касалось личных дел Миккеля. Два года тому назад из Саллинга приходила сюда странная парочка, они спрашивали Миккеля. Один был спившийся с круга бродячий музыкант, его звали Якоб, другая — глухонемая девочка, которую он водил с собой. Она была какая-то странная и болезненная. Якоб говорил, что подобрал ее из жалости, потому что она никому больше не нужна. Это была дочка незамужней девушки, которую звали Ингер, прижитая будто бы от знатного человека. Его звали Акселем, он был убит на большой дороге. Говорят, что он похоронен на Гробёлльском кладбище. Этот Якоб пожалел девочку и разыскивал ее родных, которые могли бы ее приютить. А насчет того, зачем им понадобился Миккель, то вот в чем было дело...

Тут Нильс прервал свой рассказ и бросил на брата взгляд, как бы желая сперва подготовить его к тому, что последует.

— Так вот, Анна-Метта ведь померла, — промолвил он с осторожностью.

Миккель не шелохнулся. Это было для него ударом. Однако он ожидал его уже столько лет, что сейчас не ощутил боли. Он как бы знал это заранее, а может быть, в нем отмерла какая-то часть души.

Нильс между тем продолжал:

— Конечно, это случилось давно, уже несколько лет прошло после ее смерти. Но теперь я, пожалуй, расскажу тебе, зачем приходил музыкант Якоб. Он толковал, что та девушка, которую звали Ингер, была твоей дочерью от Анны-Метты. Так что ты, дескать, приходишься дедом этой девчужке, которую он приводил с собой. Он называл ее Идой. Они пробыли тут несколько дней и опять ушли. Куда — я не знаю.

Нильс замолчал, давая Миккелю собраться с мыслями. Подождав немного и видя, что Миккель упорно молчит, Нильс сам возобновил свой рассказ:

— Видишь ли, дело, кажется, в том, что Стеффен из Кворне и раньше не жаловал свою падчерицу Ингер, хотя он и выделил ей хорошее приданое, все было сделано честь по чести, не хуже, чем у родного отца. Да только доля ей выпала горькая: жених, про которого никто почти ничего не знал, погиб; да, так уж все обернулось...

Нильс молча посопел, собираясь с духом. Наконец он продолжил:

— Они, можно сказать, и пожениться-то не успели, а там и сама Ингер умерла от родов, когда народилась Ида. А после, значит, как померла Анна-Метта, Стеффен не захотел больше заботиться о ее побочном потомстве. Вот Якоб-музыкант и забрал Иду с собой.

Нильс замолк.

— Наверно, мы повидаем Стеффена из Кворне и всех его сыновей, когда начнется дело, — сообщил Нильс спустя некоторое время, его мысли, как видно, уже свернули в другую сторону. — Анна-Метта нарожала ему шестерых сыновей, не считая нескольких девок в придачу; здоровенные ребята — все, как на подбор, и моим ровесники.

Нильс завел этот рассказ, когда они с Миккелем бродили в поле. Спустилась тьма. Оба брата надолго замолчали. Миккель шел, низко нахлобучив на лицо капюшон. Нильс отлучился в сторону, чтобы перегнать к стаду нескольких отбившихся овец. Воротившись к Миккелю, Нильс остановился подле и замялся, как бы желая и не смея сказать еще что-то.

— Что ты мне хочешь сказать, Нильс? — спросил его Миккель нараспев.

— Да вот, рассказывали мне одну вещь, — выдал Нильс, запинаясь, — конечно, если подумать, то какое мое дело... Но я все-таки скажу тебе, а то вдруг больше не доведется свидеться. В Гробёлле люди поговаривают, будто бы это ты убил Аксея, родного зятя, так сказать, позарившись на его деньги. Ты ведь и правда был в то время в этих местах, но я тебя тогда не видел, ты к нам не заехал. Это правда, Миккель?

— Да, — подтвердил Миккель невозмутимо, с тем упрямым выражением, которое Нильс знал за ним смолodu; и так же знакомо Миккель ссутулил при этих словах плечи.

— Значит, были у тебя причины, — с облегчением произнес Нильс, понизив голос. — Я не стану допытываться. Только нехорошо, что ты обошел стороною мой дом. Есть вещи, которых мне, да и вообще нашему брату мужику, никогда не понять. Ну да ладно! Пойдем уж домой, поглядим, что там жена состряпала к ужину.

Подойдя к темному дому, Нильс торопливо прошептал Миккелю:

— Мало ли что, Миккель, но коли ты переживешь меня, ты уж тут без меня присмотри.

— Хорошо, — сказал Миккель упавшим голосом. И они вошли в дом.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ

В ту же ночь жители Гробёлле увидели со своего берега, как в Саллинге загорелись помещицы



усадьбы.

Однако они еще не решили, как им поступить. В полночь на фьорде показались факелы, и через час возле Вальпсунна причалили три большие перевозни с вооруженными мужиками из Саллинга. Они выскакивали на берег с громким гиканьем, хохотали и пели; некоторые были под хмельком. Но едва химмерландцы услышали, как расходился свой брат мужик, и ревет, и ржет, точно с цепи сорвавшись, тогда им тоже кровь бросилась в голову.

И тут уж на берегу все загалдело, зашумело, и завертелась кутерьма. Стеффен из Кворне, предводитель саллингцев, посоветался с Сёреном Броком, и так как никто еще не знал, что надо делать, то все скопище двинулось в поход. Оба отряда, соединившись, отправились в глубь страны. Миккель остался сторожить дом. Все остальные, кроме невестки, ушли, да и она, вся в слезах, скоро легла спать. Миккель занял наблюдательный пост на холме. Четыре пожара в Саллинге то затухали, то разгорались. В одном месте горело особенно сильно, отсвет пожара ложился порой поперек фьорда от берега до берега. Миккель видел, как в Гробёлле осветились и заблестели от зарева обращенные на запад окна домов. А ночь была тихая. Но казалось, будто вся природа озлобилась, багровые отсветы, то и дело озарявшие воду и облака, рождали тревогу. Много в эту ночь должно было перевернуться кровавой изнанкой.

Все звуки воинственной ватаги стихли. Но Миккель словно нутром чувствовал, где они сейчас движутся. А приблизительно через час он с уверенностью решил, что они находятся на подходе к Мохольту. Навострив уши, он прислушивался в сторону барской усадьбы, но не мог уловить ни звука. Через десять минут он различил среди тьмы алую искру — на том месте, где стоял помещичий дом. Пожар занялся быстро, и огонь длинным языком взвился в вышину. Скоро Миккель увидел, как яркое пламя вырвалось из окон, под ночным небом повалили густые клубы темно-зеленого дыма. Но по-прежнему не доносилось ни звука.

Тогда Миккель сел на холме. И показалось ему, что время тянется медленно. Немного спустя его стало клонить в сон, он спустился вниз, зашел в горницу и прилег на лавке. Проснулся он на рассвете. Жена Нильса все еще не вставала и плакала в перину. Миккель поднялся на пригорок и увидел оттуда, что Мохольт сгорел почти дотла. От земли поднимался густой дым, и развалины были озарены медно-красным сиянием, здесь и там среди клубящегося пара торчали вверх потрескавшиеся остатки каменных стен. Это было во время краткого затишья перед восходом солнца. Дым стлался по всей речной пойме и растекался по долине, его медленно относил на запад. Почуввав запах пожарища, Миккель кожей ощутил жгучий жар, который недавно был там разлит, и сердце его забило тревожно.

Но обернувшись в другую сторону, он увидел там полыхание нового пожара, немного северней прежнего. Должно быть, это горела усадьба помещиков Стенерслефов. Вверх так и рвались белые и почти невидимые в рассветном воздухе языки пламени — один огонь в своей неприкрытой наготе, — а клочья дыма извергались равномерно и кружились колесом над пожарищем.

Вот взошло солнце. Миккелю слышно было, как плещет в реке рыба, охотясь за мошкой.

Через полчаса домой пришел Йенс, младший сын Нильса. Миккель увидел его еще издали, он примчался бегом через поле, не разбирая дороги, ни разу не замедлив свой бег. Губы у него так пересохли, что застыли, как будто в оскале, грудь ходила ходуном; вбежав во двор, он опрометью бросился к колодцу и припал к водопойной колоде. Когда он оторвался и поднял голову, Миккель

сразу понял, что парень видел кровь и сейчас невменяем.

— Где твой отец? — резко спросил его Миккель.

— Он спасся, — ответил Йенс. — Меня послали, чтобы я сказал матери. Парень совсем сбился с панталыку. Миккель так и не добился от него ничего вразумительного. Йенс опять с головой окунулся в колоду.

— А теперь иди-ка ты да позаботься о своей матери, — прикрикнул Миккель на племянника, а сам быстрым шагом направился вдоль реки к Мохольму.

Когда он добрался в усадьбу, мужицкое войско ее уже покинуло, и только человек десять бродило вокруг пожарища, не спеша подбирая вынесенный из огня скарб. Одного из них Миккель узнал, тот был местный, и подошел к нему с расспросами. Тот отвечал ему беззаботным тоном:

— Усадьбу, небось, сам видишь, спалили. Долго ли было — раз-два и готово! Сейчас все пошли жечь Стенерслев. А когда вернутся, надо будет всех накормить-напоить.

Мужичок показал на сваленные в кучу мясные припасы и выкаченные во двор бочки. Вблизи погорелого пепелища стояла нестерпимая жара.

— Что же, никто и не защищался? — спросил Миккель.

— Как бы не так! Барин здешний загодя прослышал о том, что готовится, и собрал в усадьбе много своих людей. Но бой длился недолго, мужиков было во много раз больше, да к тому же они сразу ворвались на двор, усадьба-то не укрепленная. Отто Иверсена вместе с одним из его сыновей сразу убили, и челяди его много порубили. А остальной семье повезло — удрали. В мужицком войске потеряли убитыми около десяти человек, да многие получили увечья. Стеффена из Кворне застрелили в самом начале приступа.

Миккель огляделся вокруг. Один из мужиков ходил по двору, подбирая в траве затвердевшие сгустки свинца, которого много натекло, когда стала плавиться крыша; сгустки еще не остыли, и он, ругаясь, дул себе на пальцы. Остальные тоже были заняты делом, каждый подбирая, что можно было унести из остатков барского добра, сохранившихся после пожара.

— А куда вы подевали покойников? — спросил Миккель.

— В огороде лежат, — бросил один из присутствующих. — Велено было оставить их там до прихода Серена Брока.

Вдоль каменной ограды, еще пышащей жаром, Миккель отправился в сад и увидел десятка два человеческих тел, уложенных в ряд на траве под яблонями. Их расположили в известном порядке — отдельно лежали мужики, отдельно — господа со своими приспешниками. Из мужиков Миккель не смог опознать никого, кроме Стеффена из Кворне. Стеффен был представительный мужчина, на куртке у него красовались серебряные пуговицы, он лежал с краю. В нескольких шагах от него лежал Отто Иверсен, рядом, поближе к отцу, — его молоденький сын. У обоих были разможены головы. При виде давнего недруга у Миккеля сжалось в груди сердце. Он почувствовал, что прошедшее время все унесло с собой, от бывшего ныне не осталось следа. Он присел на траву между Стеффеном и Отто Иверсеном. Вот они умерли, и лежат оба с зияющими ранами. Тучный крестьянин подбородком упирался в грудь, брюхо съехало у него на один бок; кто-то позаботился закрыть ему глаза. А Отто Иверсен так и лежал с вытаращенными глазами, уставя на белый свет помутившиеся зрачки. Отто Иверсен был плешив, и усы у него побелели. Лицо, на котором жизнь провела глубокие борозды, после смерти выражало горькое недовольство. Подле него, притулившись головой под мышку

мертвеца, лежал его сын, лоб и волосы его представляли кровавое месиво; у него были маленькие усики, совсем как у Отто Иверсена в молодости.

«Видишь, Анна-Метта, вот мы и собрались все втроем», — подумал Миккель.

Он беззвучно открывал и закрывал рот, точно рыба, которая задыхается на траве. «Вот мы все вместе — тот, кого ты любила, и тот, кто любил тебя, и тот, за кого ты вышла замуж. Вон они, Анна-Метта, твои мужчины».

## ПОРАЖЕНИЕ

Поздно вечером воротился Нильс вместе с Тёгером и Андерсом. Все трое пришли грязные и пропыленные с головы до ног, и Нильс, который был уже немолод, еле волочил ноги. После Мохольтма и Стенерслева они принимали участие в сожжении еще одной, более отдаленной усадьбы, которая располагалась к востоку от первых двух. Нильс был невесел. Он без сил упал на лавку и стал давать отчет Миккелю.

— Не по душе мне все это, — проговорил он удрученно. — Мы бы и не тронули Мохольтма, кабы не мужики из Саллинга. А у них, говорят, тоже не свои начали, а пришлые из Химмерланда. Как подумаешь, так вроде бы с нашим помещиком поделом разделались, но только как порешили его, мне все равно стало казаться, будто он и не виноват. Там-то и Стеффену конец пришел. А когда мы ринулись на приступ с топорами, тут уж такая страсть, что я и не помню ничего — зарубил я, не зарубил кого, и сам не знаю. А в Стенерслева барин так верещал, когда его приканчивали, — ну что твой поросенок! Но уж теперь, коли мы заварили кашу, тут уж не открестись, поздно идти на попятный. Завтра мы выступаем на север, на соединение с людьми из Веннсюсселя. Вот так. Но только раньше я, ей-ей, совсем иначе представлял себе войну.

На другой день Нильс с сыновьями двинулся в путь, и Миккель отправился вместе с ними. Йенса оставили дома помогать матери присматривать за усадьбой. Нильс полагал, что здесь все будет спокойно, потому что помещики вокруг перебиты, так что, может, оно и к лучшему было.

Точно так же поднимались мужики по всей Ютландии. Время круто переломилось. Прошло две недели, по Ютландии «из конца в конец кочевали ватаги, жгли поместья, пьянствовали, и сами не знали, как быть и что делать дальше. Такая уж всегда получается загвоздка, когда сорвался мужик с насиженного места и очутился на вольной воле, как в диком поле. Коли они знают друг друга, то сохраняется какое-никакое товарищество, но мужики из двух различных уездов всегда настроены друг к другу враждебно. А как соединились два отряда под предводительством одного вожака, так непременно окажется, что один отряд ему не доверяет, потом начинаются раздоры среди предводителей. Когда собрались отряды со всей Северной Ютландии, командиром у них сделался шкипер Клемент[HYPERLINK "#c\\_63" {63}](#). Их было шесть тысяч человек, и чуть ли не столько же разных видов оружия насчитывалось в этом войске, собравшемся возле Свенструпа. Здесь они сразились с дворянами. Тех было всего шестьсот человек, но зато это были конники, одетые в броню. Победу одержали мужики.

Миккель Тёгерсен в это октябрьское утро стоял на вершине холма и видел оттуда, как плохо складывались дела у дворян. Оба войска сблизились на восходе солнца. На местности они занимали не слишком много пространства. Как бы два пятна разной величины двигались навстречу друг другу под бескрайними небесами по огромной равнине, раскинувшейся на много миль. Сама природа оставалась безучастной, утро было серенькое, холодная земля отсырела после дождя. Озирая грядущую

невысоких холмов, Миккель думал о том, что одна только земля пребудет вечно, а поколения людей одно за другим проходят по ней, словно тени облаков.

И вот войска сошлись. Но дворяне были слишком малочисленны. На расстоянии Миккелю было видно, как мужики гурьбой окружали каждого всадника и буквально вымолачивали его из седла. Видимость была хорошая, и Миккель мог наблюдать, как пыль столбом поднималась от одежды всадников и летела из-под железных лат, когда мужики принимались по ним колотить. Один раз ветер донес до холма, где стоял Миккель, лязг железа, он слышал грохот, раздававшийся от ударов топора по стальным рыцарским шлемам и латам. Но и дворяне в свой черед немало порубили крестьян, прежде чем признали свое поражение. Все сильнее разгоралась рукопашная битва, давно смолкла и без того жидкая стрельба. На каждого выбитого из седла и поверженного дворянина наваливалось множество мужиков, они облепляли его со всех сторон, словно мухи кусок сахара. Многие стали поворачивать коней и, пока не поздно, уносили ноги.

У подножия холма, на котором стоял Миккель, работал пахарь. За все время битвы он ни разу не удосужился остановить свою упряжку. Он и так все видел, не отвлекаясь от дела.

В конце концов, как и следовало ожидать, дворяне отчаялись и ударились в бегство; кто рысью, а кто галопом они ускакали на юг. На сей раз они переоценили свои возможности, позабыв, что все равны перед топором. В этом сражении пало много дворян.

Для датских крестьян это сражение стало последним, в котором они по праву бились с оружием в руках. Ибо они в последний раз одержали тогда победу. Два месяца спустя они утратили это право и были судимы как бунтовщики, ибо на этот раз проиграли сражение. И с тех пор датчане перестали быть северным народом.

То был печальный день. Миккель видел, как мужики защищали Ольборг и как они потерпели поражение. Дело было зимой, стоял собачий холод. Дворянским войском командовал Иоганн Рантцау, на этот раз оно было многочисленнее и вдобавок усилено немецкими ландскнехтами и мушкетерами, которых привел Рантцау.

Эти знали свое дело. Иоганн Рантцау [HYPERLINK "#с\\_64" {64}](#) пустил в ход столько огнестрельного оружия, что мужики только глазами хлопали. Выстрелы так и сверкали, кося их ряды, это был враг невидимый и неотразимый. Мужики пришли в замешательство, они не знали другого боя, кроме рукопашного. В заветы отцов не входило искусство стратегии. И когда наконец началась рукопашная схватка, то было уже поздно, к тому времени сражение давным-давно было проиграно.

Положение было совсем безнадежно, однако обнаружив это, мужичье ринулось, как кабан против своры собак, каждый сражался за троих; тех из дворян, что подворачивались под руку, мужики крошили и кромсали косами и тяжелыми ножами для резки соломы. Но дворяне вскоре врезались в их ряды, разделили клиньями и окружили. Началось хладнокровное избиение, мужицкое войско было обречено.

Под конец осталось две тысячи веннсюссельцев, которые не могли перебраться назад через Лимфьорд, их всех порубили. Опытные ландскнехты умело загнали всех в кольцо, затем на них двинулись, напирая, дворяне. Стиснутые со всех сторон, мужики стояли плотной кучей. Они до последнего отбивались дубинками и пиками, но дворяне приканчивали их одного за другим, а они плакали горячими слезами на жестоком ветру и, рыдая, валились на снег с разрубленными

головами.

Последняя малая кучка оборонялась, как безумная, с яростными криками, они плакали, скрежеща зубами, но от меча уже не было спасения, свинец и железо насквозь прошивали овчинные шкуры и вонзались в трепещущую плоть, тяжелое древко копья опускалось на человеческие руки и с треском проламывало головы, покрытые башлыками. Никому не было пощады, уничтожены были все до единого.

Если бы король Кристьерн перебил в Стокгольме все дворянство, не ограничившись несколькими десятками, то не было бы потом столько обиженных. Эти отрубленные головы давали о себе знать еще на протяжении столетий, зато по тем двум тысячам, которых перебил под Ольборгом Иоганн Рантцау, не больно-то плакали. В тот день мужиков разгромили так основательно, что никакие предания не сохранили повесть об учиненном там избиении. После этой схватки над Ютландией повисло тяжкое безмолвие.

В селение Гробёлле вернулись лишь немногие. Нильс Тёгерсен погиб на поле брани под Ольборгом, его старший сын пал под Свенstrupом. Миккель разыскал под Ольборгом тело своего брата и предал его земле. Нильс умер как мужчина в честном бою, спина его была разворочена пушечным ядром. Андерс, второй сын, вернулся домой с этой вестью, постаревший и изможденный. Впоследствии он вел хозяйство, но был уже подневольным крепостным нового барина, который унаследовал Мохольм.

## ВРЕМЯ

А время шло. Всесокрушающее время. Дни множились, и ширились года, словно чумная напасть, неподвластная человеку. Незавершенными оставались людские начинания, а вместо величественных замыслов, которые должны были воплотиться в грядущем, время выбрасывало к ногам человечества убогие поделки. И вот уже все миновало и еле брезжит в дали прошедших дней и лет; одни старики продолжали еще толковать по памяти — было, дескать, когда-то. Неостановимое время давно умчалось, оставив позади неудавшиеся опыты; но к тому времени, когда солнце, свершая свой круг в тучах пепла и в огненных вихрях, перевалило за грань столетия, они превратились в свершившиеся факты. Люди, сошедшие в могилу, канули в забвение, а их недовершенные дела стоят непостижимыми вехами на пути к вечности. Их история представляла собой зрелище земли, с которой схлынул потоп — куда ни глянь, высятся кучи донного ила и черные деревья с обнажившимися корнями покрывают бесплодную от песчаных заносов, просоленную почву.

Густав Тролле пал со смертельной раной в сражении при Экснебьерге. Он лежал на земле во весь рост при полном вооружении, закованный в железо с головы до ног, а его смятенный дух не находил покоя, обуреваемый попеременно страданием и чувством искренней радости. Памятуя о том, что рана его смертельна и он не жилец на этом свете, он мысленным взором окинул свое время и дела свои и ощутил обжигающий гнев оттого, что коса его не пощадила; но мятежное волнение так утомило его, что он в смиренном изнеможении благословил предстоящий покой. Его кончина имела смысл, ибо последовательно заключала собой череду бессмыслиц. Он не раскаивался ни в чем, кроме несвершенных дел. Вот он лежит, и все остается по-прежнему, как было вначале, хотя он с тех пор успел состариться. Ради дела он подверг себя одиночеству и в одиночестве кончил жизнь. Она очертила свой круг, и в этом круге не вписано ничего, кроме тщетных упований и утрат. О нем можно было сказать, что ради какой-то — кстати, неведомой — цели он отторг себя от людей и

вступил во вражду со всеми живущими. Почувств над собою власть рока, Густав Тролле наконец-то вкусил усладу смирения, он лежал согретый и послушный; ощутив приступ предсмертного жара, он впервые в жизни покорился.

Его вынесли с поля боя в беспамятстве, и он больше не приходил в сознание. Он лежал в доме, где его сторожили как пленника, и подходившие к епископу люди слышали его хохот. Они видели в его румянном лице с озлобленным ртом личину дьявола. Он ничего не признавал вокруг, лихорадочный взор его был нечеловечески пытлив и угрожающ. Когда началась агония, люди услышали, что он в бреду потихоньку плачет, точно упрямый ребенок; целый день он проплакал, всхлипывая все реже и реже по мере того, как вместе с уходящей жизнью его покидало упорство. Два дня он боролся со смертью. Однажды с ним случился припадок страха, и он с пеной у рта посылал проклятия призракам, которые, по-видимому, его осаждали. Потом начались судороги, и все тело его вскидывалось, как на стальных пружинах, в промежутках между схватками он лежал в оцепенении и казался сплошным комком твердокаменных узлов. В последнюю ночь наступило облегчение, и он разразился громкими стенаниями. Он умер с воплями, дергаясь, как в трясучке.

После сражения при Эскнебьерге [HYPERLINK "#c\\_65" {65}](#) сопротивление на Фюне было сломлено. Одни Zealandцы еще поддерживали короля Кристьяерна, не жалея ни достоинства своего, ни самого живота. Но когда и они были усмирены, вся страна склонилась перед Иоганном Рантцау. Ему пришлось покорять страну по частям, как норовистого коня, который упирается всеми копытами, отказываясь стронуться с места. Те же датчане, которые десять лет тому назад отпали от короля, теперь переменили свое мнение и стояли за него горой: король Кристьяерн или смерть! Упорство датчан не уступало их непостоянству. Копенгаген целый год терпел осаду [HYPERLINK "#c\\_66" {66}](#). В последние месяцы копенгагенцы жили в нечеловеческих условиях; сначала они примирились с тем, что им пришлось питаться нечистой пищей живодеров и язычников, и стали есть конину и собачину, уничтожили всех кошек, потом не брезговали уже и тем, чем питаются самые жалкие дикари — ели червяков и употребляли в пищу мышей и ящериц, а под конец стали, как звери, пожирать падаль и гнилые отбросы. Младенцы умирали у материнской груди, как всегда бывает при настоящем голоде. И вот, претерпев все эти неопишуемые страдания во имя того только, чтобы сохранить город для короля, когда не осталось таких мук и лишений, которых не испытали бы жители Копенгагена, тогда-то, как бы завершая собой всю цепь бесплодных усилий, произошла сдача города.

Амброзиус Богдиндер, друг Кристьяерна с детских лет, который с неослабевающим рвением отстаивал дело короля, покончил с собой, приняв яд! Все жизненные силы и неукротимая энергия этого человека обратились вдруг вспять и поразили его, как бумеранг.

Год спустя в Любеке умер изгнанником Йенс Бельденак. В последние годы жизни он утихомирился, сказала наступившая старость, да к тому же он был калекой. В свое время он сам никому не оказывал милосердия, и враги расправились с ним беспощадно, как только он попался к ним в руки. Он уже тогда был стариком, когда они наконец-то утолили годами копившуюся месть, подвергнув его жестоким и продолжительным пыткам. Язвительные насмешки, которыми он, не задумываясь, осыпал каждого встречного и поперечного, отлились ему сполна; по старости лет он поплатился за них на своей одряхлевшей шкуре. Падшего служителя божия враги раздели догола, намазали медом и выставили на солнцепеке на съедение мухам и комарам. Смотрите, смотрите на силача, которого

старость лишила богатырской стати — вот он стоит обнаженный, отданный на поругание роящимся на его теле насекомым! Вот он — бывший великий епископ и воин, неутомимый барышник, гуляка и правовед! Вот он — ученый чернокнижник, который проповедовал закон божий, не сходя с седла! Его время кончилось и ушло и больше не осеняло его своим крылом. Эта развалина была некогда неукротимым умником и заядлым игроком. А ныне еле вьется, издыхая, слабый дымок там, где прежде пылал костер всевозможных страстей.

Йенс Андерсен, сей по-царски одаренный бастард природы, чья голова была вместилищем такого редкостного сочетания богословской и юридической премудрости, какого ни до него, ни после не видано было в Дании, — на склоне лет этот человек, который для своего времени был выдающимся знатоком прекрасного, сумел подвести житейский и философский итог своего существования в двух крошечных латинских стихотворениях. Первое представляет собой сухую эпитафию. Второе состоит из громоздких двустий, перечисляющих в виде некоего реестра перенесенные им мучения.

Ну так что же! Ведь в его костлявой поэзии содержится как бы костяк человеческой истории. Вот один из его гремучих дистихов:

*Os, dentes, nares, genitalia, brachia dantur*

*Torturis, quibus adjunge manusque pedes.*

Король же к тому времени много лет провел в заточении в замке Сённерборг. После сражения под Ольборгом Миккель Тёгерсен разделил с королем его заключение и получал за это шесть любекских марок в год.

Получив постоянную должность в качестве союзника при королевской особе, он был поставлен перед необходимостью вести тихий образ жизни. Всю жизнь у Миккеля было такое чувство, что его судьба связана с судьбой короля. Каким-то образом они оказались спутниками на жизненном пути. И по мере того как Миккель сближался с королем, происходило падение последнего.

Вот уж сорок лет минуло с того дня, когда Миккель впервые увидел короля шестнадцатилетним принцем, когда тот навещал лавки богатых копенгагенских купцов. В ту пору у короля еще были ярко-рыжие волосы, и рука его была гладкой, жизнь не отметила ее еще своими росчерками. Теперь вокруг его головы торчали покрытые зимним инеем космы, похожие на заброшенное воронье гнездо, а по костлявым рукам во все стороны разбежалась сетка морщин и набухших вен.

## ЯКОБ И ИДА

В то время как король и Миккель жили-поживали в надежных стенах укрепленного замка Сённерборг, другая пара проводила жизнь в бездомных скитаниях — то были музыкант Якоб и девочка Ида.

Якоб был человек неопределенного возраста, и за долгие годы странствий с Идой он несколько не постарел. Зато Ида, которая маленькой девочкой покинула Кворне, подрастая под открытым небом на большой дороге, превратилась во взрослую девушку.

Они ушли из Саллинга в день похорон Анны-Метты. Когда Анна-Метта бессловесно лежала на смертном одре и смерть осенила своей святостью ее старую голову, последний взор ее был обращен на внучку Иду. Вокруг толпились ее взрослые дети, а она искала глазами Иду. Когда ее предали земле, Якоб взял за руку бедную сироту, и они вместе ушли с кладбища.

В тот день прилетел с юга чибис. Якоб услышал его звонкий печальный голос, когда они переходили через болото. Свободные странники, овеваемые вольным воздухом, они брели по оттаявшей земле на

восток, навстречу белому солнцу. Вот уже и холм, который Ида видела перед собой все детские годы и который возвышался на самом краю земли, куда опускается в облака солнце, уходя на покой. А вот уж и этот холм они миновали, и, миновав, пошли дальше, и тогда, на удивление Иды, перед ней медленно стала разворачиваться неведомая местность, как будто открылись ворота в широкий мир. Якоб с Идой побывали в Гробёлле, где Якоб тщетно пытался разведать что-либо о Миккеле Тёгерсене. Тот, коли еще не помер, должен был, по словам Нильса, находиться сейчас в Святой земле, и с этим известием они отправились дальше, зарабатывая себе на хлеб музыкой.

Два дня Якоб с Идой провели в Мохольме, развлекая своей музыкой дворню. Господ они ни разу не видели. Якоб играл на скрипке, а Ида аккомпанировала ему на треугольнике, она угадывала такт по его пальцам и играла очень хорошо, слышать его она не могла, потому что была глухой от рождения. Но однажды из дверей вышел седой барин, на лице у него застыло выражение недоброжелательства, он велел им убираться — не желаю, дескать, слушать ваше пиликанье. Тогда Якоб засунул скрипку в чехол из лисьего меха, и, взявшись за руки, они ушли со двора. Треугольник позванивал на Идином поясе при каждом шаге, словно колокольчик.

И пустились они через вересковую степь по дороге, ведущей на север. Пришла весна, но она медлила, словно плаксивая, несговорчивая невеста. За ночь земля всякий раз выстывала, и солнышку приходилось каждый день с утра начинать все сначала. Едва промелькнувшая на небесах улыбка тотчас же сменялась хмурой и пасмурной погодой. По утрам накрапывал дождик, вечером стояла сырость. То было вечное малодушное колебание, которое несмотря ни на что, вечно лелеет надежду. Дождик промывал Идины светленькие волосы, и они облепляли ее лицо, солнышко их высушивало, и они, распушившись, так и сияли вокруг ее головки. Дождя было больше, чем вёдра, и Ида брела по дорогам, глядя перед собой белесоватыми глазами из-под промокших волос, выбеленных, как полотно.

— Ида с дождевыми волосами! — проговорил Якоб про себя и бросил ободряющий взгляд на свою спутницу.

Все птицы Дании возвращались домой. Упоенно распевал все утренние часы напролет скворец, пока в сверкании лучей поднималось солнце, убирая иней с полей. Жаворонки взлетали выше колоколен и, заливаясь трелями, висели в вышине над голыми полями. Ветер ерошил пожухлые травы на склонах холмов и рябил ледяную синюю воду, стоявшую на пашнях между борозд. Первые желтенькие цветочки проглянули из-под земли. В молчании проносились на крыльях восточного ветра ласточки. И вот наконец наступили тихие дни. Потеплели ночи. Затаясь в камышах, бодро выводили свои рулады жабы. Зазеленела земля, и вечерний лягушечий хор завел свои бесконечные гимны во славу тучной земли и плодоносного изобилия.

Оделись зеленой травой канавы по обочинам дорог, Ида любила в них залезать, потому что там было на что посмотреть. Она срывала с вербы белые зайчики и гладила ими себя по губам и по щекам, она делала плетенки из камышинок, которые так весело рвать вместе с корнем. Ида любовалась на новорожденных ягнят в поле, которые еще не могли подняться на ножки, а лежали в траве возле склоненной морды матери-овцы.

Настали теплые дни с ярким солнечным светом. Первого мая народ в Ольборге танцевал. Якоб играл на скрипке, и они с Идой хорошо заработали. На эти деньги Якоб купил себе и Иде новые деревянные башмаки, и, повеселев, оба пустились в дальнейшие странствия. Людям нравилось



слушать музыку, и двое музыкантов всегда находили приют и пищу. Так они достранствовались до Скагена, где Ида увидела открытый морской простор. Такого мелкого и мягкого песочка, как на этом берегу, она еще никогда не видывала. А когда они вышли на самую стрелку, Якоб спел песню, которую сложил про себя и про Иду. Единственными слушателями были чайки, которые летали над их головами.

Якоб махал на них руками и смеялся, а сам пел. Ида видела, как белые птицы разевали свои клювы, но ничего не слышала, даже моря, которое, мурлыча и воркуя, ластилось под ясным небом к берегам.

Вот что спел Якоб:

Приюта двум бедным бродягам!

Им жить и так нелегко.

Мы бредем из Отсюданемаломиль

В неблизкое далеко.

Приюта!

Гусиные лапы босы,

И мы не браним судьбу,

Коль нам она среди ночи

Пошлет кривую избу.

Приюта!

Наш хутор в Отсюданемаломиль

Богат и красив, ей-ей,

Крыша соломою крыта,

Без окон, без стен, без дверей.

Приюта!

Не верите — дочь спросите,

Она расскажет сама.

Спросите — жаль только сиротка

С детства глуха и нема.

Приюта!

Забравшись на крайний север Дании, откуда дальше не было пути, они подружились с одним шкипером и два самых светлых летних месяца провели с ним в плавании. Они побывали на Лесе и Анхольте[HYPERLINK "#c\\_67" {67}](#), повидали зеленые холмы вокруг Раннерсфьорда, заходили в Лимфьорд, где крестьяне на мелководье ловят бреднем угрей, а солнечный мираж порой поднимает отражение людей высоко в воздух. Дни были длинные.

Но когда лето покатилося под уклон, а поля на берегу зажелтели, шкипер отвез Якоба и Иду на Зеландию. В Хельсингёре они сошли на берег, там они задержались довольно надолго и хорошо подзаработали своей музыкой. Якоб часто напивался, он шатался по кабакам и пел песни.

Пережидая, пока он проспится, Ида пряталась в ржаных полях возле города. Она заплетала в косы желтые колоски и зарывалась руками в горячую пыль.

Однажды в городе случился переполох. Все жители высыпали в гавань и, застыв от солнца рукой, вглядывались вдаль; они возбужденно разговаривали, перебивая друг друга, и показывали пальцами на что-то видневшееся в южной части Зунда. Там, подгоняемые ветром, плыли по морю три темных

корабля, у среднего на мачте развевался красный флаг [HYPERLINK "#с\\_68" {68}](#) . Скоро весь Хельсингёр столпился на берегу, сюда сбежались и приплелись все, кого только носили ноги, все были охвачены глубоким унынием, хотя мало кто доподлинно знал, отчего их охватило это чувство. С такой траурной торжественностью подплывали по гладкому Зунду под скупыми лучами августовского солнца три боевых корабля! Прошло два часа, прежде чем они подошли к Хельсингёру.

Якоб спросил у соседа, что это за корабли, и тот ответил, что везут самого короля Кристьерна. Другие пояснили, что король, долгие годы проскитавшись изгнанником в Голландии и Норвегии, недавно побывал в Копенгагене и сейчас возвращается после переговоров с Государственным советом. Но вот куда направляется король, этого никто не мог толком сказать, хотя все чувствовали, что больше уж его никогда не увидят.

Лишь когда корабли поравнялись с гаванью, проплывая мимо набережной на туго надувшихся парусах, навстречу им из толпы послышались одиночные крики. Корабли, словно притаиваясь, нырнули носами в разбегающиеся волны. На борту никто не приподымал шляпы, не звучали выстрелы, не появилось ни одного сигнала.

Но тут жители Хельсингёра все как один двинулись вдоль берега за кораблями. Народу все прибывало, подходили крестьяне — местные с побережья и живущие на некотором отдалении, — все, кто заметил приближение кораблей; их были многие сотни — старых и молодых, и все они, махая и выкрикивая что-то, бежали по берегу, пока не очутились на крайней оконечности мыса. Там все остановились, сбившись в плотную толпу, которая длинной лентой протянулась у самого края воды; дальше идти было некуда.

— Прощай, король Кристьерн! — крикнул какой-то старик. Все, кто стоял подле и слышал его дребезжащий голос, подхватили этот возглас, обливаясь слезами.

— Прощай! — выдохнули они единой грудью: казалось, будто ураган пронесся над толпой. Потом все умолкло, и только глаза боязливо следили за удаляющимися кораблями. Послышались вздохи и причитания. Люди тянулись, стараясь выглянуть из-за спин, и махали, махали вслед кораблям. Затем снова поднялись горестные вопли, но корабли уже уплыли в открытое море, и отчаянные крики стали слабеть.

— Прощай, король Кристьерн!

Позади всех оказалась в толпе старушка, ей не успеть было за остальными. Она остановилась, устало опершись на клюку и трясая от слабости головой. Из-под головного платка выглядывал желтовато-коричневый лик мумии, старушка плакала, и ее дребезжащий голос потонул в общем ураганном кличе:

— Прощай, король Кристьерн!

Годы так согнули слабосильную старушечью спину, что в ней осталось росту с аршин, она вся тряслась и тихонько подвывала, горюя над всеобщей бедой, хотя по ветхости своей не очень понимала, в чем дело. Эта бабуся была Сусанна, дочь Менделя Шпейера.

В последний раз вознеслась жалоба:

— Прощай, король Кристьерн!

Якоб-музыкант выхватил скрипку из чехла и, фальшивя, заиграл мелодию; слезы градом скатывались по углам его рта, на котором застыла усмешка отчаяния. Ида подыгрывала ему на

треугольнике; вдруг вся толпа у нее на глазах вздрогнула, как один человек, и застыла с разинутыми ртами, как будто изо всех уст что-то вырвалось с мучительной болью; при виде этого Ида провела языком во рту, силясь понять, что бы это могло быть.

## БЕЗ ПРИЮТА

Якоб-музыкант дознался из расспросов, что Аксель, покойный отец Иды, родился в Хельсингёре, он был внебрачным сыном одной еврейки, которую звали Сусанна Натанзон. Якобу с Идой удалось добиться с ней встречи, она жила в большом и богатом доме в центре города. Во время беседы Сусанна говорила о своем муже и взрослых детях, однако без утайки созналась в проступке, который совершила сорок лет тому назад, и подтвердила, что у нее был сын Аксель. Но его отдали на воспитание к чужим людям, как только он появился на свет, и с тех пор она ничего о нем не слыхала. Вполне возможно, что Ида его дочка. Старушка поглядела на Иду, но не узнала в ней родных черт. Девочка уродилась в деда с материнской стороны, она была похожа на Миккеля Тёгерсена. Глядя на расстроенные лица Якоба и Иды, старушка даже дала им денег и вынесла поесть. Впрочем, в тот день ей как раз недосуг было разговаривать, это была суббота.

Якоб и Ида покинули Хельсингёр и в странствиях исходили вдоль и поперек всю Зеландию. Так и прошло два года. Когда началась война и на дорогах сделалось беспокойно, Якоб с Идой перебрались на Самсё, и здесь они бродяжничали около года. Ида подросла. Обитатели острова хорошо знали эту пару, впоследствии там еще долго ходили рассказы о бедном музыканте, который никогда не торговался. Когда война кончилась, Якоб с Идой опять отправились в Ютландию. Они соскучились по родным местам. Однако еще в пути они услышали от людей, что все, кого они знали, были убиты на войне, поэтому в Кворне они даже не останавливались, а прошли это селение насквозь, не встретив на улице никого, кто бы их окликнул. В Кворне у них не осталось родного приюта, как будто они там никогда и не жили.

Еще год спустя Якоб с Идой пришли на Скаген. Постояв на крайней оконечности мыса, они повернули назад, за спиной у них плескались два моря, чьи воды встречаются за стрелкой. Впереди на юге так привольно, что дух захватывало, протянулась обширная земля. Якоб засмеялся, взял за руку свою бессловесную спутницу, и они пошли вдоль северного побережья.

Порывы осеннего ветра толкали их назад. Часто им приходилось искать убежища у подножия дюн, когда с моря накатывал огромный вал, заливая прибрежную полосу, по которой они шли. Ветер так и гулял на просторе, в воздухе было прохладно. Чайки молча взмывали вверх, кружа на встречных потоках ветра. Горькая пена срывалась с волн и захлестывала далеко на берег, упавшие на песок клочья трепетали на ветру, как озябшие птицы. Небо надвинулось низко и все время, пока они шли на северо-запад, нависало над самой головой.

К вечеру Якоб с Идой набрели на дом рыбака, который один-одинешенек виднелся на берегу. Якоб остановился перед дверью и с силой провел смычком по струнам от басовой до квинты. Дверь тотчас же отворилась, и показалось взволнованное лицо старика. На крылечко выскочили трое или четверо ребятишек, они выглядывали один из-за другого.

Как запели струны! Якоб играл так, словно золото звенело, и сыпались грудой алмазы, и расстилались кругом пестротканые шелка. Скрипка, словно большая звезда, искрилась всеми лучами — алыми и лазоревыми, вспыхивая желтым и белым огнем. Ее чары вызвали видение цветов, в ней билось горячее сердце.

— Войдите в дом! — пригласил их торжественным голосом рыбак, когда Якоб кончил играть. Их усадили на лавку, подали им угощение, хозяева не могли нарадоваться на гостей. А когда Якоб сыграл еще несколько песен, то старик, который сам давно не рыбачил и жил на покое, стукнул вдруг по столу кулаком.

— Сынок мой в море ушел, — крикнул он, взглянув с прищуром, — и нынче я за хозяина. — Эй, Сёрина! — крикнул он снохе.

Однако та и без того была сама кротость. Старик сменил гнев на милость. Он гордо встал во главе стола, одетый в белую куртку простого сукна, с колпаком на соломенных волосах, и вот уже старик превратился в бывшего молодца прошедших лет.

— А ну-ка, Сёрина, неси бутылку!

— Э-эх! — скрипка Якоба так и пустилась вскачь галопом. Но галоп тут же перешел в нежную, ласкающую, как поцелуй, мелодию, когда на столе появилась бутылка.

И полилась ручейком прозрачная влага. И перестала в тот вечер рыбацья лачуга быть убогим пристанищем от осенних ветров, затерянным во мраке среди песчаных заносов. Скоро вся комната воспарила за облака, словно плавающая колесница, которой правил Якоб-возница с беззаботно-нахальной рожей, и музыка его подстегивала и без того быстрый бег, а старый рыбак восседал, покачиваясь в карете, преображенный и помолодевший, в то время как ангельские личики его внуков и Иды сияли в раковине, вознесенной за облака. За стеной бурлили, накатывая на песок, волны, штормовой ветер швырял песок в затянутое бычьим пузырем окошко, но те, кто среди громов мчался на огненной колеснице по семи небесам, видели за ним мерцание звездной пыли.

Наутро Якоб проснулся совсем не в духе, он разбудил маленькую Иду, и они потихоньку ушли, не потревожив никого из обитателей хижины, которые спали с опустошенными лицами.

И пошли они дальше вдоль побережья. Осень настигла их, они вступили в череду коротких унылых дней, когда вдруг замечаешь, что все птицы давно улетели, и воздух наполнился холодом.

И однажды, когда они, повернувшись спиной к побережью, двинулись в глубь страны навстречу маячившей впереди церкви Вестервига, на землю выпал первый снег.

## В СЁННЕРБОРГЕ

Но вот снова пришли и весна, и лето. Якоб с Идой все странствовали по городам и весям, не было такого места, где бы их не ждали, и они не знали покоя в своих скитаниях, хотя почти позабыли про ту задачу, которую им Надо было выполнить. Семь лет провели они в скитаниях по стране. В народе их все знали в лицо и принимали радушно, куда бы они не пришли. Но лучше всего их знали в окрестностях Лимфьорда, где они, кочуя с места на место, обретались большую часть года. С тех пор среди тамошнего населения сохранилось много рассказов о музыканте Якобе, и песни его люди помнили и распевали еще многие годы спустя. Ай да Якоб, ай да хват! И петь он горазд, и на скрипке играть; уж такой искусник, особенно как в загул ударится! А загулы с ним случались не так уж и редко. Рассказывали, что однажды он играл на танцах в роще близ Бьёрнсхольма, между делом прикладываясь к чарке, а как утром его нашли, то оказалось, что смычка-то и нету — пропал; но он и тут не растерялся — натер свой посох канифолью да так заиграл вместо смычки, что люди только диву давались. То-то был удалец!

Но вот случился год, когда Якоб с Идой так и не появились на Лимфьорде. И в других городах и селах, где их давно жаждали, они тоже больше не показывались.

А дело было в том, что Якоб наконец дознался, где живет Идин дедушка Миккель Тёгерсен, и тогда они, не мешкая, отправились оба на Альс. Иде уже исполнилось девятнадцать лет, и пора было пристроить ее под родственный присмотр.

Шел уже октябрь, когда они переправились через Альссунн. На той стороне перед ними возникли кудрявые макушки леса, тронутые по краям осенними увядающими красками. Одиноко возвышался на пустынном берегу красный замок. Когда они приблизились к пристани, с башни поднялась стая голубей и устремилась к морскому простору, то исчезая, то вновь появляясь на фоне серого неба; проводив их взглядом, Якоб кивнул Иде, как бы говоря, что их приезд совпал с хорошим предзнаменованием. Обхватив свои узелки, они спокойно сидели в лодке, дожидаясь, когда она подплывет к берегу; Якоб взглянул на свои деревянные башмаки, на одной ноге уже лопнул ремешок: пора, давно пора!

Однако сначала им не повезло, в первый день их не пустили в замок, и пришлось искать пристанища в городке. На другой день Якоб добился свидания с комендантом замка Бертрамом Алефельдом, и тот обещал рассмотреть его просьбу. К королю не так-то просто получить доступ. Наконец на третий день подъемный мост опустился, и бродячим музыкантам разрешили поиграть для людей во внешнем дворе. Но когда их около полудня снова принял комендант, оказалось, что возникло новое препятствие — Миккель Тёгерсен, которого им надо было повидать по своему делу, отправлялся из замка в долгую поездку.

Они только мельком его повидали. Комендант пропустил их во внутренний двор, и в ту минуту, когда они туда вступили, Миккель как раз садился на коня. Старик стоял у подножия лестницы, а на второй ступеньке стоял король и что-то ему говорил. Якоб с Идой остановились в подворотне и не смели подойти, пока не уйдет король.

Сборы оказались долгими и хлопотливыми. Конь лягался и скреб копытом по мостовой, голос короля гулко отдавался среди каменных стен, и дело никак не двигалось. На Миккеле было новое нарядное платье, зеленые штаны и коричневый камзол, он всё топтался вокруг коня, пробовал пальцем подпругу, трогал уздечку, конь был молодой и норовистый, и Миккель с озабоченным видом переминался с ноги на ногу на негнущихся коленках.

— Ну уж теперь ты, кажется, готов, Миккель! — бросил ему король с раздраженным смешком. — Так что давай, полезай.

Миккель учтиво склонил голову и закончил осмотр. Оставалось только усесться. Конюх, державший коня под уздцы, весь изогнулся, чтобы посадить Миккеля, а сам покосился-таки на открытое кухонное окошко, из которого виднелись смеющиеся лица распотешенных этим зрелищем молоденьких служанок. Миккель кое-как угодил одной ногой в стремя и не спеша, рассудительно занес другую.

— Гляди не свались с другого боку! — крикнул король с выражением испуга на смеющемся лице. Но нет, Миккель благополучно взгромоздился на коня. Усевшись, он поправил шляпу и с достоинством отдал честь королю, обернув к нему седуусое лицо.

— Добрый путь тебе, Миккель! — сказал несколько растроганный король. — Уж ты постарайся благополучно вернуться домой.

— Есть, ваше величество! — ответил Миккель.

Отдуваясь, он собрал поводья и мужественно выпятил седые щетинистые усы. Конюх отпустил

уздечку, и конь припустил рысью со двора. Миккель беспомощно затрясся в седле.

— Ох, не миновать беды! — воскликнул король, хлопая рукой по перилам. — Нехорошо! Ох, нехорошо!

Однако все обошлось, Миккель приободрился и подчинил себе коня. Сторож раскрыл перед ним ворота, и он, выпрямив спину, молодцом проехал мимо странствующих музыкантов. Ворота за ним сразу же закрылись, и было слышно, как копыта процокали через внешний двор, а затем прогрохотали по подъемному мосту.

Когда во дворе все стихло, король повернулся было, чтобы подняться по ступенькам в замок. Посередине он остановился и что-то проговорил себе под нос. И тут ему попались на глаза Якоб и Ида.

— А вы оба что тут делаете? — спросил король и спустился им навстречу, пристально разглядывая незнакомцев. Подойдя вплотную, он остановился и с величайшим интересом переводил взгляд с одного на другую.

Якоб не мог ответить, у него дух захватило. Ида с бессмысленным выражением на нежном личике во все глаза уставилась на короля. Король громко фыркнул и посмотрел на них изучающе.

— Что вы за люди?

— Мы странствующие музыканты, — запинаясь, ответил Якоб.

Переведя дыхание и набравшись смелости, он продолжал:

— Мы бывалые люди, много чего повидали. Эта девчушка — внучка того человека, который только что ускакал за ворота.

— Гм! Вот оно что! Родственница Миккеля. Вы, поди, пришли его навестить. Значит, вам сильно не повезло, он как раз уехал. А что же вы не остановили его?

— Помилуй бог, как можно? — Якоб изобразил учтивейшую улыбку, опустил глаза и посохом обвел полукружие на песке.

— Такие-то дела, — сказал король тоном утешения. — Вот какие дела! — воскликнул он снова уже погромче. — Ничего, это еще не беда, Миккель вернется. Вы можете... вы можете побыть здесь до его приезда, мы поговорим об этом с Бертрамом. Раз уж вы проделали такой путь! Идите за мной, я покажу вам дорогу. Так, значит, вы музыканты и умеете играть?

— Еще бы! — Якоб, повеселев, робко похлопал по чехлу, в котором была спрятана скрипка; они тронулись следом за королем.

Старый король шел впереди, весело побрякивая на ходу:

— Хо! Как-нибудь да уладим это дельце. Хо-хо!

И вот они пришли на переговоры к коменданту. Якоб и Ида скромно остановились в сторонке, а король изложил их просьбу. Бертрам Алефельд выслушал его с должной учтивостью и невозмутимым спокойствием. Он был гораздо выше короля ростом, но не наклонялся, и король, уговаривая его, должен был задирать голову, он даже забежал с другого боку; его желание было исполнено, и он с жаром благодарил за это Бертрама, но тот сохранял почтительное и холодное спокойствие.

Король на стоптанных башмаках сам пошел провожать Якоба и Иду во внешний двор и позаботился, чтобы для них отвели помещение. Вечером музыкантов позвали играть перед королем; король принял их в своей башне, где проводил большую часть времени, музыкантам поднесли вина, и Якоб

развлекал короля плясовой музыкой со всем искусством, на какое был только способен. Странно звучали его мелодии среди этих стен. Король был доволен, он погрузился и слушал, подперев голову рукою. На столе перед ним горели восковые свечи и лежала Библия с раскрытыми застёжками. Вино раззадорило Якоба, что-то болезненное пробежало по его лицу, он отчаянно хватил смычком по струнам и сыграл зажигательную польку. Возле стула стояла Ида с треугольником, тоненькая и скромная.

В перерыве между двумя пьесами Якоб спросил, когда должен воротиться Миккель. Он нарочно задал свой вопрос как бы в пространство, чтобы не вышло назойливо и король в случае чего мог сделать вид, что просто не расслышал. Но король охотно ответил, что это будет дней через десять-двенадцать.

Все остальное время король молчал, а Якоб считал, что ему не подобает первому соваться с разговорами. Он переиграл все, что знал. Один раз, стараясь припомнить, что бы еще новенькое сыграть, он украдкой взглянул на обрюзгшее, полное достоинства лицо короля. Король тотчас же поднял глаза на Якоба и заметил его изнуренный и потрепанный вид.

— А не послушать ли нам еще что-нибудь? — спросил его король сердечно с рассеянным выражением.

Якоб снова заиграл, притопывая в такт ногой. Ишь ты! Это звучал танец деревянных башмаков. Король допоздна продержал у себя музыкантов, ему было ужасно одиноко, ибо впервые за девять лет Миккель уехал из замка. Трубочка на башне протрубила полночь, и только тогда для Якоба и Иды закончилась аудиенция. Расставаясь, король и Якоб оба были под хмельком. Отпуская их, король положил руку на плечо Иды и дерзко окинул ее пристальным и безнадежным взглядом престарелого знатока и любезника.

Управитель замка проводил Якоба и Иду через все замки и запоры с видом угрюмого неодобрения. У караульного, который сторожил вход, нрав оказался более жизнерадостным, и, хорошенько посветив на Иду фонарем, он убедился, какая она беленькая и миловидная. Коварно приподняв фонарь повыше, так что все трое оказались во тьме, он облапил Иду за талию огромной своей ручищей. Она метнулась от него, и из ее горла вырвался вой, хриплый и густой, словно рев какого-то невиданного зверя, сводчатый потолок отозвался гудением, которое раскатилось по всему замку.

— Господи Иисусе! — У солдата подкосились ноги, и он отшатнулся назад. Повсюду зазвенели рамы, по всем этажам замка начали отворяться окна, и перепуганные спросонья голоса вопрошали, что такое случилось. Не скоро улегся переполох, после того как Якоб с Идой давно уже скрылись в своих каморках.

Король тоже слышал рев, он в это время как раз подошел к окну посмотреть, какая на дворе погода; он так и отпрянул в глубину комнаты, и волосы у него стали дыбом. Он крадучись приблизился к двери и, протянув руку, потрогал, хорошо ли она заперта; слава богу, замок был заперт и задвижка на месте. «О-ох!» — вздохнул всей грудью король, на трясущихся ногах дошел до стула и рухнул на сидение в смертельном изнеможении. Затем он раскрыл Библию и сел читать, пододвинув поближе свечи. Иногда он беззвучно подымал голову от книги и устремлял остановившийся, полный ужаса взор мимо колышущегося пламени.

Понемногу он успокоился и осмелился подняться из-за стола, чтобы зажечь побольше свечей, и с благодарностью в душе принялся за чтение книги РуфиHYPERLINK "#с\_69" {69} ; он истово

углубился в свое занятие, склонив между свечей большую, убеленную сединами голову, и прочел все до конца. А когда закончил, в голове у него снова возникла мысль, которая, словно бесовское наваждение, часто посещала его после чтения Библии, — мысль о том, что все друзья либо поумирали, либо скитаются на чужбине, что все они его покинули и все, что было, давно прошло и не вернется.

Некоторое время он сидел, обхватив руками взъерошенную голову, потом загасил свечи, оставив гореть только три. Он тщательно расположился на коленях посреди своей башенной комнаты и сказал «Отче наш»; помолясь, он долго еще вел шепотом какие-то речи, пока не закончил полный отчет. Тогда он лег при зажженных свечах в постель и долго лежал, сложив руки на одеяле и глядя перед собой в пустоту спокойными бессонными глазами.

В этой комнате он провел вот уже одиннадцать лет [HYPERLINK "#с\\_70" {70}](#). По ней он метался из угла в угол, точно дикий зверь, в первые месяцы, когда неволя доводила его до горячки. Здесь он исходил потом, здесь он обжирался и напивался до беспамятства, здесь, пьяный и безумный, валился спать и пробуждался поутру, бормоча сквозь зубы проклятия. Здесь он расхаживал, расталкивая на своем пути и круша стулья, здесь он с размаху шваркал об стенку оловянные пивные кружки, так что они, сплюснутые, падали на пол. Здесь он ходил, слушая свое тяжелое пыхтение, с шумом вырывавшееся из волосатых ноздрей.

Выражение лица короля непрестанно менялось, пока он, глядя из алькова на горящие свечи, дожидаясь на своем ложе, когда наконец придет к нему сон. Иногда тень пробегала по его лицу. И снова он кротко ждал.

Вдруг он захохотал — густым, снисходительно царственным хохотом былых дней; ему вспомнилась вдруг молоденькая женщина, которую тайком умудрился провести к нему Дитлев Брокдорп одиннадцать лет назад, когда он слег и не желал вставать. Вне всякого сомнения, он был счастлив с этой девушкой, которая оказалась настоящей красавицей. Но это был грех, это был грубейший проступок. Господи, сохрани ее и помилуй, где бы она ни была сейчас!

Король глубоко вздохнул, глядя повлажневшими глазами на пламя свечей. Он надеялся, что скоро на него снизойдет сон, слава Господу нашему, который в милосердии своем спасает нас от злоключений и по чьей воле нетерпение наше сменяется увяданием!

## КАРОЛУС

Миккель Тёгерсен переехал через подъемный мост. Однако на свежем воздухе у него вдруг сделалось головокружение, и он чуть было не вывалился из седла; вид открывшегося перед ним простора привел его в полное смятение, душа его раздиралась на части. До перевоза было недалеко, там он окликнул перевозчика, и был доставлен на другой берег. Но ехать дальше в этот день у него уже не хватило сил; совершенно больной, почти ничего не соображая, он еле дотащился до постоянного двора при переправе и лег в постель. Наутро Миккель снова был бодр, он истратил в трактире часть своих денег, и предстоящее путешествие, которое с самого начала его так пугало, представилось ему уже не в таком мрачном свете. С утра он на пару с трактирщиком посидел за кружкой пива, но потом вдруг заторопился, стал собираться и велел седлать коня.

— Я направляюсь в Любек, — объявил Миккель со значением. — Мне далеко скакать. Еду по поручению короля.

Не вдаваясь больше в подробности, он напустил на себя торжественную загадочность



государственного человека.

— Подавайте моего скакуна!

Трактирщик так больше ничего и не выведал, да, впрочем, ему это было достаточно безразлично. Заметно накачавшись, поводя выпученными глазами, Миккель водрузился на коня и широким жестом швырнул перед конюхом крупную монету. И поскакал, нахлестывая коня; старый вояка так хватил в галоп, что только пыль столбом взвилась по дороге.

Миккель затеял путешествие по всем правилам, он останавливался в каждой придорожной корчме и везде намекал на важность и спешность своего поручения — еду, мол, по приказанию короля. Люди только дивились, глядя на дряхлого старикашку, и рассуждали, не сумасшедший ли он часом — какой-нибудь кардинал-расстрига или, может быть, отставной полковник, а не то, чего доброго, и просто выживший из ума от старости балаганный фигляр. По виду высокого, лысого старика похоже было, что он из благородных, однако водку хлестал, точно какая-нибудь солдатня. Он как будто внушал почтение, но в то же время народ потешался над ним за спиной. И что же это за поручение такое, о котором он плетет? Поди, непростое и требующее большой опытности, коли отправили с ним скакать человека, который сам, того гляди, развалится. Однако же нельзя было не отдать ему должного в том, что он умеет молчать; никто так и не узнал от него ничего определенного.

Прошло два-три дня, и на путешественника обрушился дождь с ураганом, разгуделись листья в пожелтелом лесу; не вынеся каверзной погоды, Миккель разболелся и слег в придорожной корчме. Он решил было, что тут-то ему и настал со святыми упокой, но нет — на другое утро он уже опять был на ногах и, шатаясь в седле, помчался дальше через южную Ютландию. И, проделав все, как по писаному, ни жив ни мертв прибыл в Любек.

Остановился Миккель в «Золотом сапоге». Целый день он с наслаждением предавался отдыху и на другой день проспал до полудня; а после этого он наведлся в погребок при ратуше. Однако на том он и покончил с положенными путешественнику личными удовольствиями, теперь следовало исполнить порученное дело. Он осведомился у трактирного хозяина, где находится улица Фейльхенштрассе.

— Фейльхенштрассе! — Хозяин воззрился на него, высоко подняв брови. — Гм! Отчего же! Отчего же не сказать, извольте, мол, идти туда-то и туда-то.

И Миккель отправился на поиски. Было уже далеко за полдень. Миккель насилу отыскал нужную улицу; оказалось, что то был тесный переулок, в котором и сейчас уже стояла темнота. Из верхних окон высывались дебелие молодые бабенки, некоторые из них окликали Миккеля, да так радостно, словно наконец-то повстречали долгожданного друга, с которым давно не видались. Однако Миккель ни разу не принял этого всерьез. В конце концов он нашел тот дом, который искал. Дом был шириной всего в одну матицу [HYPERLINK "#с\\_71" {71}](#) и без единого окна, только вверху на самой крыше виднелись две отдушины. Над дверным карнизом красовался в виде вывески позеленевший медный таз. Дверь была заперта. Миккель взялся за молоток и постучал.

Прошло несколько минут. Но Миккель был терпелив. Наконец за дверью послышались шаги и в замке звякнул ключ. В этот миг Миккелю ни с того ни с сего вспомнился другой случай, когда много лет тому назад он шептал слова в замочную скважину церкви святого Николая в Копенгагене. Дверь приотворилась на щелку, и Миккель увидел лицо в больших черных очках.

— Мастер Захария? — спросил Миккель.

— Да, мой государь, — послышался в ответ ласковый шепоток.

Оба помолчали. Тогда Миккель неуверенным голосом принялся объясняться. Но едва только был упомянут король, как Захария, не дослушав дальнейшего, с учтивейшими ужимками распахнул перед Миккелем дверь.

— Входите, входите! — восклицал он квакающим голосом. — Подумать только, кто пожаловал! Старый мой добрый друг!

Миккель переступил порог, и Захария запер за ним дверь. Они очутились в потемках. Захария высек огонь, зажег лучинку и пошел впереди гостя к лестнице:

— Следуйте за мной! Наверху будет посветлее.

Они вошли в просторную комнату, в которую свет попадал через окошко, выходившее на двор. Однако и там было темновато. Миккель увидел подвешенный под потолком скелет крокодила, несколько птичьих чучел, на полу всюду валялись книги и поношенное тряпье. Среди гор пропыленной бумаги на столе стоял глобус. По стенам тянулись полки, уставленные бутылками всевозможных размеров. Затхлый воздух комнаты был пропитан тошнотворным аптечным духом, который отдавал то ли ржавчиной, то ли грибами.

— Нет, вы только подумайте! — удивленно восклицал Захария добродушным тоном. —

Присаживайтесь, пожалуйста! Чтобы король Кристьерн ко мне, скромному ученому, посылал своего посланца! Но ведь не ради моего хирургического мастерства я понадобился королю!

— Нет! — подтвердил пораженный Миккель.

Желтый череп Захарии пришел в равномерное покачивание: кивок вперед — кивок назад. При этом он мурлыкал, как кот.

— Да, стареем, стареем мы, Миккель Тёгерсен! — произнес он вдруг, огорошив собеседника. При этом Захария следил за ним с вытянутой шеей, не сводя пристального взгляда.

Миккель вздрогнул и посмотрел на него. Разинув от удивления рот, он спросил:

— Как это?.. Вы знаете...?

Голова Захарии опять пришла в качательное движение, он наслаждался своим торжеством.

— А как же! — сказал он. — А как же! — Но на этом с шутками было покончено, он принял серьезный вид. — Так-то!

Несколько минут прошло в молчании. Миккель уставился в пол, в голове у него все перемешалось. С этим человеком не след ссориться. Он склонил набок голову и простодушно посмотрел на Захарию:

— Постарели!.. Какое там! Вы совсем еще не похожи на старика. Вот мне уже восьмой десяток пошел, а вам никак не дашь таких лет.

Тогда Захария вдруг вскочил со своего места, выбежал на середину комнаты и, захихикав, стал расхаживать туда и сюда большими шагами. Внезапно он расхохотался еще ужаснее и прищелкнул пальцами перед самым носом Миккеля:

— Пожалуй что я и вовсе еще молоденький! — И еще увеличив шаг, он, заливисто смеясь, начал: Mugit et in teneris...

Тут он взвизгнул от хохота:

Formosus...

И вышагивая, точно аист, и раздражаясь новой руладой, закончил:

Obambulat herbis..

Захарию так разобрало веселье, что он долго не мог успокоиться после того, как процитировал Овидия.

Смущенный Миккель сидел с выражением невинности на лице, как бы умывая свои старые руки. Косясь на глобус, он думал о порученном ему деле.

Захария алчно перехватил его взгляд и догадался, как надо вести игру.

— Королю угодно узнать о расположении небесных светил? — спросил он быстро.

— Да, — признался Миккель со стариковской покорностью и терпением — видать, этот человек все знал наперед.

— Говорите! — потребовал Захария.

И Миккель вкратце изложил цель своего приезда. Полгода тому назад король и Миккель поспорили об одном астрономическом вопросе. Будучи в Иерусалиме, Миккель повстречал одного немецкого монаха, который убежденно доказывал ему, что не солнце вращается вокруг земли, а как раз наоборот. Впоследствии он то же самое услышал в Италии. И вот однажды, рассказывая королю о своих путешествиях, он между прочим упомянул и об этом. Король сразу ужасно разволновался. С тех пор у них чуть не каждый день шли об этом споры. Миккель как-то сразу поверил в то, что ему рассказывал монах; он поневоле согласился с ним во время переезда верхом на верблюдах через Малую Азию, наблюдая у себя над головой движение светил. Кроме того, он основывался еще и на личном опыте совсем другого рода. На примере собственной жизни он пришел к тому же выводу, сначала он воображал, что весь мир вертится вокруг него одного, но, наблюдая жизнь, постепенно понял, что это ему только кажется. А король не мог вынести, что Миккель держится такого мнения, его это просто бесило.

Миккель умолк и засопел при мысли о тех обидах, которые он претерпел в связи с этими спорами. Ибо не раз бывало, что король после неудач в дневных диспутах подкрадывался ночью к Миккелю и дубасил его сонного в темноте.

В конце концов они порешили представить дело на суд Захарии, когда молва донесла до них весть об его учености.

Захария шурился, слушая Миккеля, ибо до смешного будничным тон повествования произвел на него известное впечатление. Такой чудовищной ересью, которая переворачивает вверх тормашками все мироздание, он на месте Миккеля наслаждался бы с упоением. Захария вскочил со стула, суетливо забегал по комнате, нацепил на нос очки и долго рылся в каких-то бумагах. Наконец он вернулся к Миккелю, скроив равнодушную и уверенную мину, и выпалил по-латыни:

— Хорошо, приступим к исследованию. Приходите завтра.

Миккель с трудом встал и поблагодарил Захарию. Однако он не уходил, а обвел помещение долгим изучающим взором, по очереди задерживая его на необычайных бутылках.

— Я провожу вас до двери.

Миккель, шевеля губами, разглядывал бутылки. Очевидно, Захария научился читать его мысли. Тогда Миккель вздохнул и издал короткий смешок:

— У меня что-то такая жажда разыгралась, мастер Захария! А нельзя ли нам...

Захария стал громко сокрушаться, сожалея о том, что в доме у него не найдется ничего, кроме лекарств. Низменные мирские поползновения Миккеля его огорчили, и он скучным голосом начал распространяться перед своим посетителем о простой и умеренной жизни ученых. Между тем он

все-таки извлек откуда-то кувшин и оловянный кубок и налил его до половины. Миккель пригубил. Это было крепкое испанское вино. Он жадно выпил и, по счастью, сумел припомнить кстати подходящий стих из Горация. Захария оживленно закивал и сам тоже выпил глоточек. Но когда вино проникло в его нутро, он обнажил в ухмылке узкие полоски десен:

— Ги-ги-ги!

Вдвоем они опорожнили весь кувшинчик. У Миккеля всплыла в памяти приобретенная в молодые годы латынь, и он, была не была, тряхнул своими познаниями, обходясь без конъюнктива. А уж Захария так и сыпал цитатами. Он рассказывал гадостные истории из своей студенческой жизни в Лейпциге, навспоминал целую кучу хамских анекдотов, он хохотал до слез, взвизгивал и скоро совершенно ошалел. Между разговоров они то и дело с античной важностью подымали кубки. Чтобы не ударить в грязь лицом перед Захарией, Миккель постарался изобразить себя в виде бражника-школяра. Однако Миккель многое перезабыл и растерял былую прыть. Он был похож на ветхий, отслуживший орган с продырявленными мехами, и когда Захария давил на педали, иной раз отвечал правильной нотой, но большей частью дело ограничивалось свистом вырывающегося воздуха. Сгущались сумерки, птички чучела под потолком, казалось, вырастали на глазах и принимались махать крыльями.

Захария был так пьян, что ему стало море по колено. Он залез с ногами на стул и оттуда продекламировал нараспев от начала и до конца прекрасную метаморфозу о Европе и Юпитере. Но вдруг Миккель точно очнулся и поднял на него взгляд, в котором отразилась святая простота старого человека; Миккель в один миг протрезвел. Возможно ли тут еще сочувствие? Что же это такое? Что еще он хочет замарать?

— Знаешь ли ты, кто я такой? — захлебывался от восторга Захария. Нет, Миккель не знает.

— Да ведь это меня занесло почти к самому солнцу! Горяченько там было! Смотри, разве не видно, как меня опалило?

Миккелю поневоле пришлось это подтвердить. На желто-красной голове Захарии не осталось ни одного волоска, безволосы были его руки, и даже веки были совершенно голые. Вся кожа у него была стянута блестящими рубцами.

— Это случилось в Магдебурге двенадцать лет тому назад, — сказал Захария скрипучим голосом, сопроводив свои слова глуховатым смешком. — Там-то я чуть было и не угодил в самое полымя.

Однако же пронесло, кое-как все-таки вывернулся. — И он хохотнул, точно кнутом щелкнул.

Но он тут же взял себя в руки и умолк, глядя перед собой жгучими злобными глазами. Миккель внимал ему в полной растерянности.

— Ну, пойдем, что ли, послушаем моего оракула? — предложил Захария. — Хочешь? Ты ведь умеешь язык-то за зубами держать, Миккель, ты в этом деле, кажется, поднаторел?

Спотыкаясь, они одолели лестницу и очутились на самом верху в чердачной каморке. Там было темно, и Миккель чуть не задохнулся от вони, воздух был тяжелый, все помещение удручающе пропахло не то младенцем, не то какой-то тухлятиной.

— Так вот что, приятель! Сам я не смыслю ни в звездах, ни в философии, — воскликнул во весь голос Захария. — Я всю жизнь занимался хирургией, и меня не занимало, в каком отношении находятся телесные органы и душа. Однако в своей практике как человек достаточно умудренный я позаботился создать себе некое alter ego. Поэтому нет такого метафизического вопроса, на который у

меня не нашлось бы ответа. Итак, мои уважаемые коллеги, я хочу вас обоих представить друг другу. С этими словами Захария отворил слуховое окно, в комнату ворвался дневной свет, и Миккель увидел, что они находятся здесь втроем. Возле стены на низенькой скамеечке лежало какое-то существо, глядевшее на вошедших болезненными, бездонными глазами. Но голова у него была неестественной величины и формы, она точно растекалась по скамейке плоской лепешкой. Она была белого творожистого цвета и бугрилась округлыми валиками.

— Гляди, гляди хорошенько! — призывал Захария. — Он у меня ручной. Это и есть мой всезнающий напарник. Звать его Каролус. Сейчас он мало что может сказать. Потребуется часа два, чтобы он разогрелся, а для этого нужна какая-нибудь проблема позаковыристее. Встань-ка, Каролус, и поздоровайся с нами.

Каролус выпростал из-под одеяла худенькие прозрачные ручонки, оперся ими на скамейку и с усилием принял сидячее положение. Казалось, что ему никак не приподнять от скамейки расплывшуюся по ней голову, наконец он все-таки пересилил эту тяжесть, но когда он сел, то голова, словно сырое тесто, поплыла ему на глаза и обвисла по плечам.

— Что-то его нынче развезло, — объяснил Захария, — однако вчера ему пришлось крепко подумать. Поэтому-то он сейчас и отлеживался в темноте. Приляг, Каролус, лежи и отдохни на покое.

Каролус медленно лег навзничь и поудобнее расположил на скамейке голову, чтобы она не спадала ему на глаза. Маленькое, неопишимо старообразное личико приняло каменное выражение. Только выпяченные вверх, как у камбалы, губы страдальчески подергивались.

— Когда он вот так лежит, его можно использовать для различных несложных задач, связанных с вычислением и запоминанием. Задайте ему возвести в квадрат какое-нибудь число!

— Три тысячи семьсот девятнадцать, — сказал Миккель. Каролус прикрыл глаза и почти тотчас же снова открыл.

— Тринадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят один, — произнес он слабым, глуховатым голосом, напоминавшим кваканье жабы.

— Молодец! Так вот, Каролус, у нас есть для тебя задачка, можешь приниматься за нее прямо сейчас, не откладывая. Король Дании хочет получить ответ на вопрос, солнце ли обращается вокруг земли или же, наоборот, земля и так далее. Подумай, пожалуйста!

Захария обернулся к Миккелю и, не понижая голоса, продолжал занимать его разговорами. Он обратил внимание Миккеля на большой зеленый стеклянный колпак, стоявший в углу.

— В нем я вырастил Каролуса. Да, недешево обошелся мне этот стеклянный колпак! Каролус попал ко мне девять лет тому назад. Я купил его у бродячей цыганки. Тогда ему было два года от роду, так что теперь он не такой уж юнец. Мне с ним повезло. Дело в том, что семнадцать лет тому назад я начинал работать с одним ребенком в Магдебурге, и колпак у меня тогда был поменьше этого, но тот мальчик умер от воспаления, едва достигнув до половины того развития, которое вы сейчас можете наблюдать у Каролуса. Тот ребенок был не самых лучших кровей, это был плод радикального любовного союза, заключенного простым монахом и благородной дамой, принадлежавшей к высшему обществу. Зато Каролус — прирожденный принц! В его жилах течет неразбавленная королевская кровь — знаешь ли ты, кто он такой?

Захария точно обезумел: выпучив глаза, он с убийственным презрением уставился на Миккеля, затем вдруг приподнял одну ногу и испустил ветры из кишечника.

— Хочешь, я расскажу тебе, кто такой Каролус! Только смотри, чтобы об этом молчок! Он сын датского короля! Да! Он родился в замке Сённерборг! Король зачал его в тюрьме! Его мать была девушка из народа. Ребеночка забрал у нее его благородие господин Кнуд Педерсен Гюльденстjerne [HYPERLINK "#c\\_72" {72}](#) и передал на руки цыганке, а она продала его мне. У меня есть и документ. Да. Каролус — благороднейший из побегов, когда либо привитых на древо познания. Каролус — сын короля, принц датский! Его мозг обнаружил необычайные задатки к развитию. Я, как это можно видеть, удаляю черепную коробку, с тем чтобы пленка, прикрывающая мозги, превратилась в кожаный чехол, и, позаботившись о надлежащем питании, помещаю голову в теплую среду. Для этого и нужен стеклянный колпак. Каролус до сих пор с удовольствием залезает под колпак, под которым провел многие годы, хотя сейчас он стал для него маловат. Каролус — лучшая голова во всей Европе. Он не только основательный, но и вдобавок еще и быстрый мыслитель! Другого такого аппарата нигде не сыщешь! Ведь он притом еще и крепок телом, руки и ноги у него тоже в порядке, никаких уродливых отклонений, он наделен замечательным здоровьем; в нем течет хорошая кровь, которая обеспечивает развитие мозга. Стоит только показать ему железо, как у него начинается слюнотечение; он различает металлы даже на ощупь; от свинца и неблагородных сплавов у него потеют ладони, а золото и серебро оказывают на него целительное действие. И должен прибавить, что его ученость отнюдь не страдает однобокостью, он знаком с системой счисления, и я обучил его латыни. Но от всего прочего я его оградил, дабы сделать из него то, что у Платона называется нормой. У него есть все, он устроен правильно, вся вселенная заключена внутри его мозговых оболочек... Вот, полюбуйтесь же на него!

Они приблизились к скамейке, и Миккель заметил, что голова Каролуса потемнела, мягкие валики налились алой краской и заметно вздулись. Каролус лежал с закрытыми глазами. Захария откинул одеяло и показал Миккелю жалкое худосочное тельце, свернувшееся, как зародыш в материнском чреве. Ручки и ножки его постепенно холодели и становились как мертвые.

— Вот, началось, — прошептал Захария. — Видите, какое у него страдальческое лицо. А взгляните сюда, пощупайте пульс!

Миккель неохотно притронулся к мягкой голове и ощутил в ней приток теплоты и беспокойное биение.

— Ну, мы можем и выйти, — сказал Захария. — Он увлекся поставленной задачей. Однако потребуется еще час, чтобы голова как следует набухла и расправилась во всю ширь. На него просто приятно посмотреть, когда он раздуется и станет похож на стебелек, увенчанный головою, как пышным цветком. Не знаю, коллега, что вы предпочитаете — обождать несколько часов или прийти за ответом завтра?

— Что же у него лицо такое жалобное? — спросил с опаской и сожалением Миккель. Он был точно в беспамятстве от вина, испуга и сострадания.

— Это совершенно естественное явление, которым сопровождается развитое мышление, — ответил Захария.

— А я думал, что ум прибавляет человеку радости, — пролепетал Миккель, охваченный внезапно ужасной слабостью.

— Так, может быть, выйдем? — предложил Захария. — Видите ли, господин Миккель, знание удваивает загадки. Каролус высказал мне это как квинтэссенцию своих размышлений. Его голова

весит один лиспунд и сорок с небольшим квинтов [HYPERLINK "#с\\_73" {73}](#) — это в холодном состоянии, а когда он занят решением какой-нибудь проблемы, вес увеличивается на квинту. Каролус сказал мне, что абстрактная мысль через какое-то время возвращается к исходной точке. Это означает, что как только ты приближаешься к истинному решению проблемы, она как таковая перестает существовать. Однако самый процесс, выражающийся, кстати, в болевом ощущении, имея неопределенное время протекания, сам по себе представляет ценность и интерес. Не знаю, все ли вам, коллега, понятно. Может быть, спустимся вниз? По-моему, у меня там найдется еще кувшинчик. Но Миккель не пожелал оставаться, ему хотелось поскорее вернуться домой, он чувствовал себя больным и точно оглушенным. Захария проводил его по лестнице. Он был не вполне трезв и все время болтал что-то, не обращая на Миккеля внимания в своем оживлении. Но Миккель ничего уже не слышал. На пороге они условились, что Миккель на следующий день явится за ответом.

## ОГОНЬ

Был уже вечер, когда Миккель на заплетающихся ногах вывалился на улицу. Среди ее обитателей царило бурное оживление, они горланили песни и махали из окон большими кружками. По переулку бродили шумные компании солдат и моряков. Миккель заторопился и, пошатываясь, двинулся вперед, солдаты приветствовали его появление взрывами хохота, но он бочком протиснулся мимо и, ничего не видя вокруг, точно слепой, добрался кое-как к себе в «Золотой сапог». Там он потребовал вина и пил, точно одержимый лихорадкой, глотая его сквозь застрявшие в горле рыдания. Скоро он достиг того, что впал в беспамятство.

Хозяин проследил, чтобы Миккеля отнесли наверх в его комнату. Спустя несколько минут оттуда донеслось беспомощное всхлипывание. Заглянув к старику, вошедшие увидели, что он лежит на спине, прижав локти к бокам и отчаянно уставясь в потолок безумным взглядом. Поняв, что тут ничем не поможешь, они предоставили ему всхлипывать и шмыгать носом, пока сам не перестанет. Заглянув через несколько часов, увидели, что он мечется в жару, среди ночи он стал бредить и порывался куда-то бежать, так что пришлось попеременно кому-нибудь над ним сидеть. Но тут-то и случилось, что он проговорился об увиденном, и наутро хозяин отправился с доносом в полицию. Через час Захария был уже закован в цепи, а его гомункулус представлен в суд для разбирательства. Немудрено, что жители Любека осеяли себя крестным знаменем — было с чего!

Миккель проболел два дня и был на грани смерти, потом ему полегчало, и он поднялся на ноги. Однако он очень ослабел и мог передвигаться, только опираясь на две палки.

В день его отъезда поутру были сожжены на костре Захария и Каролус. Весь Любек был на ногах — народ спозаранку уже толпился на площади, но Миккеля ради его дряхлого вида пропустили вперед, и ему досталось удобное место. Костер был уже готов и выглядел весьма многообещающе; там было охапок десять отборного хворосту, и мастер так искусно их сложил, что между ними оставались свободные каналы для поддержания тяги. Поскольку Захария был приговорен к сожжению заживо, надо было не дать ему задохнуться в дыму прежде, чем огонь испепелит его тело. Народ ожидал от предстоящей казни чего-то необыкновенного, ибо у Захарии, если так можно сказать, уже имелся некоторый опыт; он уже стоял однажды на костре и сухие языки пламени лизали его ступни. Это случилось с ним в Магдебурге, и, как выяснилось при судебном расследовании, он тогда был осужден за точно такое же преступление. Но в тот раз Захарию в последнюю минуту помиловали за то, что он когда-то спас жизнь курфюрсту.

В одиннадцатом часу показалась процессия: городская стража алебардами расчищала путь, расталкивая толпу. Захария шел следом за палачом, по обе стороны его сопровождали два живодера, он был бос и одет в полотняный балахон, размалеванный кирпично-красными разводами, изображавшими языки пламени. На голове у него возвышался длинный, островерхий бумажный колпак, разрисованный змеями, жабами и скорпионами. Захария шел сгорбившись, прижав к груди сложенные руки, он ужасно продрог на октябрьском студеном ветру и, казалось, ничего не ощущал, кроме холода.

При виде осужденного народ разразился яростными криками, навстречу ему через алебарды, которыми солдаты ограждали теснящийся люд вздымались стиснутые кулаки. Захария не глядел по сторонам. Позади него подручный палача нес в мешке Каролуса, скрытого от глаз собравшейся толпы. Далее шествовали члены магистрата и духовенство.

Во время чтения приговора Захария стоял с безразличным видом. Лицо его не выражало даже упорства. Временами тихая дрожь сотрясала его тело, казалось, будто он готов провалиться сквозь землю, но виной тому был холод; у него было изнуренное и оцепенелое лицо покойника. Стужа в тот день и впрямь стояла паскудная. Те, кому удалось пробиться ближе к Захарии, замечали, что руки и ноги у него были розовы от засохших кровянистых потеков. То были наскоро обмытые следы проведенного с пристрастием допроса. Большие пальцы у него почернели и безжизненно повисли на переломленных костях.

Судья кончил чтение, и палач повел Захарию к лестнице, тот покорно взошел по ступеням. Затем подручный внес наверх Каролуса и, сбросив мешок на кучу хвороста, вынул гомункулуса. Тут словно ураган промчался по толпе, едва уродец показался наружу; со всех сторон понеслись крики и угрозы; пение псалмов смешалось с ругательствами. Каролуса положили у подножия столба, который возвышался посередине костра; Захарию приковали цепью вокруг пояса.

Затем палач спустился и поджег хворост. Вся площадь замерла в гробовом молчании.

Сперва повалил густой дым, и зрители забеспокоились, как бы жертвы не задохнулись в нем. Но дрова были сухие, как порох, и когда огонь хорошенько разгорелся и пламя загудело в оставленных для тяги щелях, то дымить перестало. Костер запылал, поленья затрещали, первые светлые язычки пламени жадно высунулись наружу и потянулись к преступникам.

Тогда Захария шагнул вперед, насколько позволяла цепь, и спокойным голосом внятно спросил: — Здесь ли Миккель Тёгерсен?

Миккель ужасно перепугался, потому что стоял совсем близко. Он потупил глаза и постарался сделать вид, как будто он тут ни при чем. Опасаясь, как бы его не обнаружил Захария, он нагнул голову и приспустил поля своей шляпы, словно заслоняясь от жара. Никто, слава богу, не догадался, кого Захария окликал по имени. Миккель перевел дыхание.

Пламя с ужасной быстротой набирало силу, оно так взвилось, что напор воздуха и жар стали ощутимы далеко вокруг. Уклоняясь от пламени, Захария то отстранялся назад, то выступал вперед. Не дождавшись ответа, он твердо стал, где стоял, и, казалось, приготовился что-то сказать.

Но в тот же миг его окинул длинный прожорливый язык пламени и одним махом слизнул с него балахон и колпак. Теперь Захария стоял голый, и по толпе пробежали смешки, он съежился и пополз под защиту столба. Но тут пламя забило со всех сторон, Захария не устоял в середине. Он выпрямился во весь рост, его охватило небывалое оживление, он скакал среди огня туда и сюда, как



будто исполнял танец на горящем помосте. Внезапно он издал один за другим несколько нечеловеческих воплей.

*Mugit et in teneris formosus obambulat herbis.*

Миккелю вспомнился этот стих. С неудержимой силой воспоминание накатило на него, и он захохотал, исходя смертной мукой.

Тут Захария рухнул, он умолк и стал вспучиваться и оседать. Одна рука его свесилась через край горячей поленицы, и Миккель видел, как пальцы один за другим вспучивались от жара, затем лопались, сочась жидкостью, и наконец чернели.

— Глядите, глядите, глядите! — Этот крик, словно буря, пронесся по толпе. И когда Миккель взглянул, то увидел, что голова Каролуса поднялась среди пламени. Он находился посередине костра и был, по-видимому, еще жив, но голова его не лежала, как раньше, бесформенной лепешкой, она округлилась и встала над глазами двумя отдельными полушариями, каждое из которых состояло из выпуклых извилин.

— Глядите! — вопила ужаснувшаяся толпа.

Зрелище и впрямь было ужасающее. Вся кровь прихлынула к раздувшейся голове, налитые жилы, как живые, змеились под кожей. Голова была в непрерывном движении, она подергивалась, изговорясь к рывку. Внутри нее происходило видимое борение.

— Глядите! Вот сейчас! — раздался остервенелый вопль. — Глядите! Вот! Глядите! Глядите!

Жилы отворились, и черная кровь поползла наружу извивающимися червяками, которые корчились, попадая в огонь. Голова полопалась сразу в нескольких местах и начала обугливаться, вокруг нее заплясали маленькие огоньки. Но поверху пламя быстро бледнело «приняло оттенок зеленоватой желчи; вспыхнув еще раз напоследок, оно, потухая, рассыпалось алыми язычками.

Костер разгорелся во всю мощь, это было сплошное бушевание пламени. От Захарии ничего не осталось, кроме почерневшей головешки. Затем костер внезапно обрушился и превратился в кучу раскаленных добела углей. От них исходил такой невыносимый жар, что у всех стоявших поблизости лица покрылись пузырями; началась давка и паника. Но на том все и кончилось.

Многие утверждали впоследствии, будто видели, как промелькнул в пламени вороненой сталью Сатана и будто бы он вылетел оттуда в клубах дыма, когда обрушился костер.

## ГОЛОС ЗИМЫ

Король приказал, чтобы сторож на башне протрубил в честь возвращения Миккеля приветственный сигнал. И вот однажды утром, спустя две недели после отъезда Миккеля, на башне заиграла труба, однако трубач оборвал мелодию на середине, как будто был не уверен, что делает то, что следует. Помедлив мгновение, он начал сначала и доиграл приветствие до конца во всю мочь своих легких. Миккель воротился не верхом, его привезли в коляске, оседланный конь плелся позади на привязи. Лил дождь.

Одни за другими перед ним открывались ворота и закрывались, пропустив коляску, наконец она остановилась перед парадным крыльцом.

На верхней ступеньке стоял в берете король Кристьерн, облаченный в выцветший багряный плащ. А по правую и левую руку от себя он поставил Якоба и Иду. Нарядные и довольные, стояли они под каплями, падающими с водостока; Якобу велено было играть при встрече на скрипке, он держал ее наготове, прикрывая полый от сырости.

Король, широко улыбаясь, помахал Миккелю рукой:

— О! Хо-хо! Добро пожаловать, с возвращением!

Но Миккель лежал вытянувшись на заднем сиденье и даже не приподнялся, чтобы ответить на приветствие.

— Вот уж напасть господня! — воскликнул раздраженный король и сам подошел к коляске.

— Что же это за беда с тобой приключилась, Миккель?

С Миккелем и впрямь дела были плохи. Он лежал бледный, как полотно, с закрытыми глазами, похожий на покойника. Король торопливо потрогал тыльной стороной руки его лицо и почувствовал, что оно еще теплое.

— Давайте-ка отнесем его наверх, — произнес король побелевшими губами. — Якоб, поди позови солдат, которые сторожат ворота! Да куда же все подевались! Зови Берента! Подите сюда, подымайте его!

Когда Миккеля несли по лестнице, он очнулся, но был до крайности слаб. Его отнесли наверх в башню, уложили в кровать, а король сел подле. Прошел час, и на вид Миккель немного оправился, лицо его порозовело. Да и немудрено, лежалось-то ему хорошо и удобно.

— Ну, как ты, Миккель? — спросил озабоченно король.

— Ничего как будто. — Но вдруг лицо его снова покрылось смертельной бледностью, и снова накатила слабость. Очень уж он перепугался, что сейчас король приступит к нему с расспросами о порученном деле.

— Где у тебя болит-то? — спросил король.

— Паралич меня разбил на левую сторону, — пришепetyвая, ответил Миккель, который еле ворочал языком.

— Гм! — только и сказал король со стесненным вздохом.

Они немного помолчали. Скоро Миккель забеспокоился, правая рука его заерзала по одеялу, он открыл было рот, поглядел на короля и снова отвел взгляд. Такая тяжесть лежала у него на душе из-за королевского поручения, что не терпелось поскорее разделаться с ней. Король наконец понял, чего хочет Миккель, и отмахнулся — об этом, дескать, еще успеется. Но Миккель в пути придумал целую историю об исходе своей поездки и хотел во что бы то ни стало ее рассказать. Король не должен узнать настоящую правду.

Видя, что Миккель непременно хочет отчитаться, король пришел ему на помощь:

— Так, значит, ты побывал там?

— Побывал, — выговорил Миккель, задыхаясь и старательно отводя глаза, чтобы скрыть свое горе. — Побывал, но не добился ответа. Я ответа не получил. Вот заболел, и пришлось, не дождавшись, уехать. — И Миккель, обливаясь слезами, отвернулся к стенке.

— Будет, будет тебе, — протяжным голосом успокаивал его король. — Брось думать об этом, Миккель. Подумаешь — велика беда! Не надо было посылать тебя. Мы с тех пор, почитай, каждый день каялись. Ты уж давай поправляйся скорее!

Много утешительных слов наговорил король своему старому товарищу по заточению, а Миккель тихо-тихо лежал в своей удобной постели, слушал его и казнился. Немного погодя король увидел, что старик задремывает, сведенное страданием лицо его разгладилось. Несколько раз он дергался во сне с закрытыми глазами, и по лицу его пробежало выражение озабоченности и горечи, постепенно

он успокоился и наконец заснул с опустошенным лицом. Король на цыпочках отошел от постели и уселся за книгу.

На следующий день Миккель почувствовал себя лучше; казалось, что он пошел на поправку. Но выздоровление так и не наступило, всю зиму и часть весны он провел, не вставая с постели, вплоть до самой кончины, которая наступила в марте.

Зима прошла тихо. Король сильно одряхлел за то время, пока ухаживал за Миккелем, наблюдая, как тот с каждым днем все больше сдает.

А для Миккеля время тянулось медленно. И смерть все не шла. Под конец опостылевшая жизнь привязалась к нему и не хотела отпускать. Тут-то она и взяла свое. Ведь Миккель никогда не отдавал должного жизни, потому что на всем ее протяжении ни за что не хотел умирать. Он признался в этом наедине с самим собой в бессонные ночи, когда король засыпал в своей постели, а Миккель оставался один на один со своими зимними думами. За стенами башни тяжело вздыхал старый знакомец — ветер, словно привычный наперсник, который внимал этим мыслям, навеянным одиночеством. Кто не умирает с каждым прожитым днем, тот и не живет. А Миккель никогда не хотел умирать.

Однажды король позвал в башню Иду и представил ее Миккелю: «То-то обрадуется старик при виде внучки!» — думал король. Да не тут-то было — Миккель отвернулся лицом к стене. Он знать не знал никаких внучек, у него никогда не бывало детей, он и женат-то не был. Он был один, как перст. С его одиночеством никто не мог сравниться, даже те, кто умирают бездетными, — он был вдвойне одинок. Хоть он и любил Анну-Метту, желание влекло его не к ней. И так уж случилось, что обладание женщиной для него обернулось утратой!

И король как позвал, так и отослал Иду.

Вот к чему пришли они оба — двое бунтарей! Король Кристьерн, который ворвался в жизнь пылко и нетерпеливо, достиг своими гигантскими планами лишь того, что сделал Данию страной, выпавшей из настоящей истории. Миккель Тёгерсен, наделенный царственной гордыней и неутолимыми стремлениями, сделался прародителем разветвленного рода умствующих людей. Вот они сидят в заточении друг подле друга — два родоначальника целой династии мечтателей и фантазеров, витающих в облаках.

В ту ночь, когда Миккель умирал, к нему вернулись глубокие и сильные чувства былой молодости. Природная теплота, весенняя свежесть сердца вернулись к нему в тот самый миг, когда это сердце перестало биться.

Но прежде чем Миккель достиг этого, понадобилась целая вечность. Одно за другим следовали разочарования. В день перелома зимы на лето показалось даже, что он еще выкарабкается; он лежал в постели и весь горел, даже нос его запылал прежней багровой краской.

Король опять взялся за пивную кружку, крышка на ней гремела с прежним постоянством, как бывало до поездки, предпринятой Миккелем, и старые обычаи возобновились у них с тою лишь разницей, что Миккель теперь лежал в кровати. Король перестал его жалеть, и снова на Миккеля обрушились незаслуженные обиды. Как и прежде, король стал требовать, чтобы Миккель его развлекал и, сидя в кровати, пересказывал бы ему — в который раз — истории, случавшиеся с ним на войне. Все это Миккель уже не однажды рассказывал, хотя у него был немалый запас. Миккель участвовал во всех знаменитых больших сражениях, происходивших в Европе на его долгом веку, он побывал на службе

почти у всех европейских монархов и мог о них кое-что порассказать, описать, как они выглядели в действительности. Особенно интересовало короля все, относящееся к механике ведения боя — например, действия артиллерии и многое другое из того, что Миккель успел заметить и запомнить, не прилагая к этому особенного старания; король мог расспрашивать его без конца, и Миккель старательно копался в памяти, чтобы удовлетворить его любопытство.

Миккель рассказывал сжато и живо, без ненужного топтания на одном месте; пересказывая сызнова уже известную историю, он в точности воспроизводил все подробности, им же самим когда-то и выдуманные при первоначальном изложении. Король нередко сам просил рассказать ту или иную историю, которую не раз уже слышал, и с тем же удовольствием выслушивал ее при новом повторении.

Стоило королю вдруг проснуться среди ночи, как тут же, по старой привычке, просыпался и Миккель. Иной раз они часами переговаривались, лежа в кроватях. Обе кровати стояли в альковах, и «старички лежали, натянув одеяло до подбородка, потому что дышать им приходилось холодным воздухом, которым наполнялась комната через каминную трубу, как только огонь в камине гаснул. Из глубоких оконных ниш сквозь зеленоватые морозные стекла в комнату лился свет месяца. Король переворачивал песочные часы, которые стояли у его изголовья. Время текло медленно, и Миккелю приходилось придумывать новую занимательную историю, которую король сопровождал хмыканьем и нуканьем, выражая свое удовольствие или сомнения.

По утрам король бывал не в духе и делался грозен, и Миккель помалкивал, затаив дыхание, пока король, занимаясь одеванием, расхаживал по комнате, пиная стулья и поднимая грохот. Утром отпиралась дверь, чтобы впустить Берента, который приходил и растапливал огонь в камине; дождавшись, когда пройдет стужа, король вставал с постели. Едва поднявшись, он тут же становился на пол голыми коленками и творил утреннюю молитву, которую частенько можно было принять за яростную ругань. Покончив с этой обязанностью, он принимался за тяжеленное каменное ядро, которое он ежеутренне сто раз поднимал над головой — пятьдесят раз одной рукой и пятьдесят другой. Миккель слушал его счет и пыхтение; утомясь, король делался обходительным. Во время утреннего туалета король что-то бормотал себе под нос и сам горячился. Вода выплескивалась на пол от его нетерпеливых движений. Он свирепо фыркал, и Миккель, украдкой косясь на него, видел, как он растирает полотенцем покрасневшее после холодного умывания тело, сжав рот и кидая вокруг себя яростные взоры.

Покончив с умыванием, король с затаенной злостью усаживался читать Библию, пока снаружи не открывались задвижки и не входил Берент с утренней кружкой подогретого пива, сдобренного гвоздикой и имбирем. Миккель тоже получал свою долю, и они в молчании принимались пить. Если пиво оказывалось перегретым, король швырял кружку на пол вместе со всеми причиндалами. Затем король спускался вниз и час-другой ходил по двору. Четверо слуг, в чьи обязанности входило сопровождать короля при выходе из башни, ходили следом за ним. Король развлекался, круша сапогом белые ледяные окошки над сточной канавой, иногда он требовал арбалет и стрелял ворон, сидевших на покрытых инеем деревьях, которые росли по краям круглой площадки. Но когда король получал письма, он неизменно удалялся с ними в яблоневый сад, отсылал слуг и ходил взад-вперед под деревьями. Сюда он привык уходить, когда его одолевали воспоминания.

В башню король возвращался подбодренным и весело разговаривал с Миккелем. Затем наступал

черед обеда и духовных упражнений. С тех пор как Миккель лежал в постели, игра в кегли отпала сама собой. Но у короля и без того хватало занятий на целый день, он много времени тратил на тысячу бесполезных пустяков и поэтому все время куда-то торопился, весь день у него проходил в спешке. Утомившись к вечеру, он отходил ко сну, искренне благодаря бога.

Во время рождественских праздников в замке шло пирование. Король заботливо следил, чтобы Миккель, который все это время оставался в одиночестве, тоже ничем не был обойден. Несколько дней подряд король совсем не показывался в башне, он проводил время в большом караульном помещении, расположенном во внешнем дворе, и бражничал в обществе Якоба-музыканта и ландскнехтов. С Якобом в замок пришло оживление.

Вечером, перед приближением часа, когда полагалось запираť ворота и двери, король, лавируя переменными галсами, возвращался восвояси. Войдя в бейдевинд, он пересекал внешний двор, держа курс на ворота; кое-как проскочив через них, он, мурлыча песенку и икая, переплывал внутренний двор и, дружески кивнув морозному месяцу, делал поворот оверштаг, волоча по белому снегу на буксире свою тень.

Якоб-музыкант тоже ни одного дня не был трезв, пока справляли рождество. А рождество продолжалось до самой пасхи.

На Новый год наступили трескучие морозы. Пролив замерз, и протянувшийся на много миль ледяной панцирь по ночам стонал и вздыхал. В грохоте льда чувствовалась свирепая мощь. Мороз простреливал ледяными молниями все пространство от побережья до побережья, словно напоминая об ужасных скованных силах.

Миккель слышал это из своей спальни. Однажды он разбудил короля среди ночи, ему показалось, что он умирает:

— В левом ухе у меня стоит невыносимый звон, — объяснил Миккель, цепenea от ледяной стужи. Король, пошатываясь, встал и зажег свечу, всклокоченные волосы стояли дыбом вокруг его головы, он еще не проспал сегодняшний хмель. Увидя страх, написанный на лице Миккеля, он решил, что тот еще не может быть при смерти.

— Это просто лед трещит! — утешил он старика и с этим загасил свечу и снова улегся под одеяло. В чердачной каморке в левом крыле замка один человек слышал глухие, наводящие ужас взрывы; это был молоденький солдат из гарнизона, и он, вздрогнув, прижался к своей юной возлюбленной, к Иде. Ида ничего не слыхала, но она радостно заулыбалась своему дружку, который невесть с чего перепугался и со страху прижался к ней покрепче. Она только видела, что он, такой большой и сильный, внезапно оробел, точно ему что-то попритчилось страшное, и рот у него сделался жалкий, и глаза замутились, и взгляд стал точно потерянный. Ида любила его и, любя, целовала. Тогда его взгляд снова сделался спокойным и счастливым, и он заключил Иду в свои объятия. Они лежали, озаренные светом свечи, которая золотым огнем горела в каморке, и он целовал белую, нежную, как бархат, девичью грудь Иды.

ГРОТТИHYPERLINK "#c\_74" {74}

С каждой ночью у Миккеля все сильнее гудело в левом ухе, словно терзающий звук придвигался все ближе.

Неподалеку от изголовья работал мельничный жернов. Миккелю часто казалось, что он уже мертв. Века миновали с тех пор, как он был распростерт неподвижно, внимая стальному свисту крошечного

мрака.

По временам он еще просыпался и слышал чью-нибудь руку либо сквозь мглу различал что-то в своем окружении. Но когда ужасный звук снова раздавался у него в ухе, ему казалось, что этот гул еще ближе придвинулся и с каждым разом становился все пронзительнее и страшнее.

Это было то же гудение, которое порой ловил его слух в молодости, но тогда оно казалось слабым и далеким, как будто до него было расстояние в тысячи миль. Ныне же скрежет сделался таким громким, что заполнил собою все, как бы поглотив Миккеля. Это был грохот каменного жернова. Это был грохот жернова Гротти, который вращают в полярной ночи Фенья и Менья [HYPERLINK "#c\\_75" {75}](#) .

Песнь могучих тебя охватит, и мозг содрогнется, в себе услышав всесокрушительный скрип каменье. Вихрь вселенского круговращения поселится в твоей голове, и, помол свой творя, над жерновом Фенья и Менья вещую песнь громогласно поют.

— Мы мелем, — Фенья поет. — Мы жернов могучий, земли тяжелее, крутим и крутим, намелем восходы тебе, стада и тучные пашни. Намелем тебе белизну облаков и дождь на хлеба, и клевер душистый, желтых намелем цветов и лазоревых.

— И намелем тебе мы хворей и суховеев, — вторит Менья подруге, — намелем полей опаленных, безводье и град камнепадный, и тучу с грозой намелем тебе, молний и пепелищ запустелых.

— Намелем весну и волн голубых, — охает Фенья, — ко времени лето с теплом и зеленые кущи лесов с птичьим гамом, намелем любовь, и забвенье, и белые ночи.

— Зиму Фимбуль намелем тебе, — тянет Менья хриплую песнь. — Пепел с небес, увяданье, намелем зиму тебе среди летнего зноя. Намелем тебе осенние ветры, иней студеной насыплем на все, что растет, разведем по ветру тепло человеческих душ.

— Но мы и весну намелем, новую жатву и новые урожаи, — ведет Фенья могучую песнь, — лето и тихое море, жеребят намелем и южного ветра, и дрожащих щенят, и листву молодую намелем, и веру.

— Всего вдоволь намелем, кружится жернов, гремит, — Менья хохочет, — будет рожденье, и гроб будет, снег и горе тебе намелется. Ведь мне заканчивать песнь!

И, спины напрягши, сердитые девы твердой ногой уперлись в землю и крутят бегущий мельничный жернов. И вместе запели Фенья и Менья:

— Намелем солнце, луну и звезды, чтобы вращались вокруг земли. Быстро мелькают дни и ночи, белое с черным друг друга сменяют, и небо вращается, как колесо. Из лета и зим намелем горячку, чтоб зной опалял тебя, стужей сменяясь.

— А зиму намелем тебе напоследок. Мы трудимся тысячи лет и в завершенье ледник намелем.

— Сверкают сполохи над нами. Льдов намелем тебе без конца и без края, чтоб круглый год над землей выюга крутилась, завиваясь метелью. В порошок перемелем надежды, напоем тебе наши задачки — сойдется счет, когда холод растет. Намелем тебе вечные ночи, мы солнце закружим и вдаль запустим — прочь отсюда! И льды храпящие надвинутся с севера, горы круша и сминая пышные доли, мы погребем города под ледяною корою, чтобы ничто не плодилось.

— И мозг твой окаменеет, опустошит его наша песнь; наши сердца льда холоднее; кончим мы песнь, как расколется жернов.

ПРОЩАНИЕ МУЗЫКАНТА

И вот однажды в марте Миккеля Тёггерсена нашли уже мертвым — это обнаружил король, подойдя к его постели. Горе короля было безутешно, хотя он давно был готов к предстоящей кончине своего товарища.

Зрелище застывшего лица Миккеля произвело на короля удручающее впечатление. Оно не только огорчило, но и растревожило его. Он никак не мог свыкнуться с этим лицом, в котором не заметно было ни малейшего движения. Король в слезах ходил взад и вперед по комнате и всякий раз, подходя к Миккелю, наталкивался взглядом на окаменелое спокойствие уже и не бледного, но белого лица. И в сердце короля закрадывалось паническое смятение, он начинал хватать ртом воздух и не мог постигнуть случившегося.

Ни разу в жизни король не встречал такого разочарованного выражения, какое написано было на лице мертвого Миккеля. После того как черты его отлились в застывшую маску смерти, на ней явственно проступила разочарованность. Голый лоб, увеличенный лысиной, вздымался, словно купол над нескончаемым, нескончаемым безмолвием. Глаза глубоко запали в провалах глазниц под крутыми дугами бровей, они были закрыты, но, казалось, взирали на все изумленным уснувшим взглядом. Унылый длинный нос Миккеля совершенно побелел, как у трезвенника, четырехгранный кончик, который при жизни придавал ему хитроумное выражение, стал похож на печатку или хрящевитый крестик. Белые усы Миккеля, топорщась, свисали по углам рта. Рот был горестно сжат. На мертвых устах начертано было немое страдание. Эти уста молчали и не выдавали своих горестей. Глядя на них, можно было прочесть непостижимую тайнопись, повествующую о погребенной неразгаданной печали.

Вот он лежит с видом безгласного обличителя, будто знает, да не скажет. «Так я и думал!» — было написано на этом лице. Да много ли в этом проку! Завершились злоключения неприкаянного скитальца: что прошло, того не воротишь, вон, дескать, какой я смирный! Запали щеки, и выпятились под кожей крепкие челюсти. Это была грустная и суровая мужская маска. Это было молчаливое признание умершего бойца, который целый век провоевал понапрасну, с несгибаемым мужеством он тщетно бился на краю зияющей бездны с целым сонмом недоразумений. И вот лежит Миккель с благородным смирением смерти на устах, весь — молчание и сломленное упорство.

Бедная голова Миккеля была словно отливка, семьдесят лет плавившаяся в форме, прежде чем ее остудили и вынули уже готовую. Семьдесят лет на его лице тысячекратно сменялись расплывчатые отражения бегучих образов жизни, глаза его подобны были живому металлу, который впитывает в себя свет, пока они не подернулись пленкой и не стали твердыми и холодными, пока не окоченели, как было им предназначено изначальным жребием. Вот Миккель и завершен, отливка закончена.

Его тело положили на соломе в оружейной. И все дни до самых похорон в замке царило торжественное настроение. Челядь питала страх перед темнотой, и многие робели выходить ночью на двор, чтобы не взглянуть невзначай на закрытую дверь, за которой находился покойник. От малейшего непривычного звука в темноте люди пугались до полусмерти.

Но Миккель, не делая никому вреда, спокойно лежал в арсенале среди стен, увешанных флагами и различным оружием, и вокруг его ложа стояли по бокам тусклые ряды пустых доспехов.

Король каждый день наведывался туда, чтобы взглянуть на Миккеля, и проливал горячие слезы. Миккель продолжал лежать недвижимо. На лбу у него начали проступать пятна тления. Король стоял над ним, качая головой, и плакал. Состарился король, и когда он был в горести, это сделалось

особенно заметно. Лицо у него обрюзгло, очертания рта стали дряблыми, плечи ссутулились. Миккеля похоронили на кладбище Сённерборга. Король не мог проводить его через подъемный мост. После погребения по Миккелю справили в замке пышные поминки. Король приказал выставить во дворе в качестве бесплатного угощения для всех желающих две бочки немецкого пива. К вечеру все население замка перепилося. Якоба-музыканта, который отчаянно горевал по Миккелю, пришлось отнести в постель на руках, он был пьян в доску.

Дни текли. Настала весна. Во внешнем дворе шли строевые занятия молодых ландскнехтов. Звучали сигналы: «Тра-ра-ра!»

Лишь в мае Якоб-музыкант начал выказывать некоторые странности. Началось с того, что, играя на скрипке, он начал вдруг, ко всеобщему удивлению, пинаться ногами, будто отталкивая что-то, и подолгу глядел, уставясь глазами в какой-нибудь угол, причем лицо его искажалось гримасой отвращения. Когда его спросили, он принялся жаловаться, что кругом развелось слишком много крыс. Никто, кроме него, не видел ни одной крысы.

С горя Якоб запил, однако прошло еще немного времени, и ему начали мерещиться кролики. Он то и дело гонял отовсюду кроликов, которых, кроме него, никто не видел, весь замок потешался над ним до упаду. Однажды Якоб к своему ужасу столкнулся в воротах с чудовищным кроликом, который был ростом с корову; у Якоба завязался с ним настоящий бой, он призывал на помощь стражу, размахивал кулаками, боролся с противником, обхватив его руками, а все солдаты, столпившись вокруг, корчились от смеха. Три дня подряд отчаянная борьба Якоба с незримыми зверями служила всеобщим посмешищем. Он часами охотился на них во дворе замка, где никто не мешал ему заниматься этим делом, полагая, что здесь он не натворит никакой беды, все наблюдали за тем, как он устраивал по углам свалку из убитых кроликов и крыс; он уничтожил так много зверей, что должен был приподниматься на цыпочки, чтобы дотянуться до верха воображаемой кучи. Пока он давил крыс у одной стены, по другую сторону двора выскакивали кролики, и Якоб сломя голову кидался туда. Между делом он успевал еще выскочить на середину двора и вступить там в схватку со зверем, который, судя по движениям и ухваткам Якоба, был необъятно велик и отличался огромной силой и свирепостью.

С наступлением темноты глубокий, точно колодец, двор пустел; все убиралось оттуда, опасаясь встречи с призраком Миккеля. Одного Якоба это, казалось, нисколько не смущало, и он готов был проводить там целые ночи, если бы никто не позаботился увести его в дом.

Однажды вечером в сумерках Якоб увидел, что в ворота крадется зверь, громадный, точно воз с сеном, он еле протиснулся через них. Куда уж там было Якобу тягаться с таким чудищем. Сторож услышал, что Якоб столкнулся со смертельной опасностью, однако он не посмел высунуть носа во двор, пока не собрал себе на подмогу нескольких товарищей. Они застали Якоба лежащим среди двора на мостовой, он кричал и на губах у него пузырилась пена. Его подняли и в припадке падучей отнесли в постель.

Несколько дней он пролежал в горячке, перемежавшейся приступами иступленной ярости, потом пришел в себя и начал даже поигрывать на скрипке. Несколько дней он жил спокойно и воздержанно, ходил, волоча ноги в деревянных башмаках, лицо его вокруг носа было покрыто зеленоватой бледностью, взгляд сделался жалок. И вот в один прекрасный день в мае он снова приложился к чарке и запил уже беспробудно.



Наступил праздник Ивана Купалы, день солнцеворота. По всей Дании загорелись костры в честь возвращения Бальдра. И в полях широких одна только Тёкк сидела с сухими глазами, не проронив ни слезинки[HYPERLINK "#с\\_76" {76}](#).

В день Ивана Купалы Якоб-музыкант купил на все свои деньги бочонок пива «Каккебилле» и созвал пировать ландскнехтов. В тот вечер Якоб не ударил в грязь лицом, он играл так, что любо-дорого было послушать. А поздней ночью он спел новенькую песню, которую сам только что сочинил. Вот она:

Спокойной ночи, друзья,  
Устал от песен я.  
Тех песен пропел я немало,  
Пора отдохнуть настала.  
Я крепко спал вчера,  
Мне дули в лицо ветра,  
И в грезах явилась отрада  
Господнего райского сада.  
В последнем доме своем  
Усну я блаженным сном,  
Сосновое мягкое ложе  
Всем одиноким поможет.  
Прощайте. Спасибо вам,  
Моим друзьям и врагам.  
Напрасно вы правды ждали.  
Устал я... И вы устали.  
Уйду я в обитель сна,  
Долги оплатив сполна,  
А недруги тумакami  
Друг с другом сочтутся сами.  
Смычок мой, товарищ мой,  
Прощай, мне пора на покой.  
Я радость отдам, а тревогу  
С собой заберу в дорогу.  
Прощайте. Спаси вас Бог.  
Мой жребий не так уж плох.  
Хвалите напев иль ругайте,  
Его я допел — прощайте.

А наутро Якоба нашли в розовом саду, он повесился на высоком дереве, на яблоне-серебрянке. На голове у него сидела ворона, вцепившись когтями в седые космы.

Комментарии

1

. ...офицеры саксонской гвардии... — В 1497 г., когда начинается действие романа. номинально существовала Кальмарская уния 1397 г., объединявшая Данию, Норвегию и Швецию в одно

государство под властью датской короны. Однако фактически Швеция к этому времени перестала подчиняться датскому королю. Для войны со Швецией король Дании собрал войско, в котором, в частности, служили ландскнехты (наемные солдаты) из германского княжества Саксония.

2

пение вигилий... — Вигилия (лат.) — бдение. Датская церковь до 1536 г. была католической. Перед большими праздниками в церквях всю ночь исполнялись песнопения.

3

Кристьерн (1481–1559) — принц, а затем король Дании (1513–1523) и Швеции (1520–1523)

Кристьерн (Кристиан) II, главный герой романа.

4

Страннен (букв.: берег) — набережная в центре Копенгагена неподалеку от королевского дворца.

5

Йенс Андерсен Бельденак — датский священник, позже епископ города Оденсе (1502–1529), приближенный ко двору политический деятель, временами имевший большое влияние на жизнь страны, временами находившийся в глубокой опале.

6

Юнкер Слентц (нем. Шлентц) — Томас Слентц (7—1500), предводитель саксонских ландскнехтов.

Юнкер — дворянский титул для наследника в германских княжествах, в средние века также и в Дании.

7

Хельмисса — кляча, которую в день всех святых прогоняли из селения.

8

Рингстед — город на острове Зеландия.

9

Химмельбьерг (букв.: Небесная гора) — холм на полуострове Ютландия высотой 147 м; до середины XIX в. считался высшей точкой страны, одно из самых красивых мест Дании.

10

Блованнсхук — мыс на берегу Северного моря, самая западная точка Дании.

11

Ханс (1455–1513) — отец Кристьерна, король Дании (1481–1513) и Швеции (1497–1501).

12

...выставили в колоде... — В эпоху средневековья в европейских странах был обычай выставять нарушителей законов у позорного столба закованными в колоду на главной площади города.

13

Миля — датская мера длины, равная 7,532 км.

14

Грено — датский город на северо-восточном побережье Ютландии.

15

Сконское побережье. — Провинции Сконе, Халлан и Блекинге на юге Скандинавского полуострова в это время были частью Дании и лишь значительно позднее, в 1658 г., перешли к Швеции.

16

Крестьянская война — восстание крестьян на юге полуострова Ютландия в 1472 г.

17

Фрейя — богиня любви в древнескандинавской мифологии.

18

Световик — дух, который, по датскому народному поверью, блуждающими огоньками заманивает людей в болото.

19

Йовен — по ютландскому народному поверью, сказочное чудовище, изображаемое чаще всего в виде гадюки, которая на расстоянии убивает свою жертву ядом.

20

Шведский поход закончился для него... — Датские войска, вступившие в Швецию 26 марта 1497 г., одержали ряд побед. В конце года Ханс был провозглашен королем Швеции, и действенность Кальмарской унии восстановилась.

21

Бельт (дат. пролив). — Здесь имеется в виду пролив Большой Бельт, отделяющий крупнейший датский остров Зеландия с расположенными на нем торговыми, политическими и административными центрами, в том числе и столицей Дании — Копенгагеном, от второго по величине острова Фюн с городом Оденсе.

22

Малый Бельт — пролив, отделяющий остров Фюн от полуострова Ютландия.

23

Голштиния (дат. Хольстен) — герцогство на юге Ютландского полуострова.

24

Герцог Фредерик (1471–1533) — брат короля Ханса и его союзник.

25

Дитмарскен (нем. Дитмаршен) — область на берегу Северного моря, ранее принадлежавшая Дании, но отделившаяся от нее в 1227 г. В 1500 г. датский король Ханс делает попытку вернуть эту область.

26

Далее акт второй — резня. — Решающая битва в Дитмарскене произошла в феврале 1500 г. Начавшаяся оттепель сделала болотистую местность труднопроходимой. К тому же дитмарскенцы открыли шлюзы в дамбах, ограждавших поля от моря. В результате этого пятьсот плохо вооруженных дитмарскенцев победили гораздо большее и лучшее вооруженное датско-голштинское войско.

27

Мельдорф — город в Дитмарскене, до XV в. его столица.

28

...любекские шкиперы... — Северогерманский город Любек, центр Ганзы (союз немецких городов в XIV–XVI вв.), имел большой флот и вел морскую торговлю со всей Европой.

29

Бёрглум — город на полуострове Ютландия, в средние века здесь находился известный монастырь.

30

Богесунн (шв. Богесунд) — город в Швеции. 19 января 1520 г. датская армия одержала здесь крупную победу над шведами, что открыло путь на Стокгольм. Й. В. Йенсен сознательно использует для топонимики Швеции датские названия.

31

Тиведен — горная местность в Швеции между озерами Венерн и Веттерн, покрытая в средние века непроходимым еловым лесом.

32

Павия — город в Северной Италии.

33

...коронация короля Кристьяерна. — Одержав военную победу, король Кристьяерн дал торжественное обещание не мстить своим бывшим противникам. 4 ноября 1520 г. в Большом соборе Стокгольма состоялась пышная церемония коронации Кристьяерна как наследного короля Швеции.

34

...тут были Дидрик Слагхек, Ион Эриксен... — Вестфалец Дидрик Слагхек и швед Йон Эриксен (шв. Юн Эрикссон) — ближайшие советники Кристьяерна, выступали за немедленную расправу со шведскими дворянами.

35

Густав Тролле (1488–1535) — шведский политический деятель, архиепископ, выступавший за сохранение Кальмарской унии, сторонник короля Кристьяерна.

36

Свершилось! — Согласно Евангелию, последние слова Христа, сказанные им перед смертью.

37

Архиепископ Маттиас — Маттиас Грегерссон (?—1520) — шведский политический деятель, епископ города Стренгнеса, затем архиепископ, занимал двойственную позицию по отношению к королю Кристьяерну.

38

Ког — небольшое судно.

39

Сённермальм, Нёрремальм (шв. Сёдермальм, Норрмальм) — районы Стокгольма.

40

...рокового события в истории Северных стран. — 7 ноября 1520 г., то есть всего через три дня после коронации Кристьяерна, по инициативе архиепископа Густава Тrolле состоялся суд, на котором наиболее видные шведские дворяне — враги датской короны были обвинены в ереси, а ересь как церковное преступление формально не попадала под обещание короля простить своих противников. Все обвиняемые — около ста человек — были приговорены к смертной казни.

41

Стен Стуре (1492–1520) — шведский политический деятель, регент, фактический правитель Швеции в 1512–1520 гг., противник Кристьяерна.

42

Кровавая баня. — Под этим названием в историю вошла казнь шведских дворян — противников датского короля 8 и 9 ноября 1520 г. в Стокгольме на Большой площади.

43

Локоть — старинная мера длины, равная 38–46 см.

44

Меларен — озеро в Швеции, на берегах Меларена расположены некоторые районы Стокгольма.

45

Густав Эрикссон Васа (1496–1560) — шведский политический деятель, в 1523–1560 гг. — король Швеции Густав I Васа, основатель династии Васа.

46

Херред — административная единица в Швеции и в Дании в средние века, территория, поставлявшая для войска сорок два воина.

47

Лот — старинная мера веса, равная 12,8 г.

48

...ночи, которую пережил король. — Швеция в то время полностью освободилась от власти датского короля, Кальмарская уния больше не имела силы, хотя формально она была отменена только в 1570 г. Недовольные политикой Кристьяерна ютландские дворяне подняли мятеж. Кристьяерн проявил во время восстания крайнюю нерешительность.

49

Отказная грамота — отказ ютландских дворян признавать Кристьяерна королем Дании.

50

...со своим дядей, который сам стремился... — Имеется в виду герцог Фредерик (см. примеч. к с. 63). Позже он стал королем Дании Фредериком I (1523–1533).

51

Ахтерштевень — кормовая часть судна.

52

Миддельфарт — город на западном побережье острова Фюн.

53

Эресунн (Зунд) — пролив, отделяющий остров Зеландия от южной части Скандинавского полуострова.

54

...дворянских привилегий... — Король Кристьяерн существенно ограничил дворянские привилегии, что стало одной из важнейших причин мятежа ютландских дворян.

55

Генрих VIII (1491–1547) — король Англии (1509–1547).

56

Англия в былые времена принадлежала Дании. — Значительная часть Англии в IX–XI вв. находилась под властью датских королей.

57

Дувр — английский город на берегу пролива Па-де-Кале.

58

Карл V (1500–1558) — император (1519–1556) «Священной Римской империи».

59

Франциск I (1494–1547) — король Франции (1515–1547).

60

Амброзиус Богбиндер (?— 1536) — сторонник Кристьяерна, бургомистр Копенгагена в 1529–1531 гг.

61

Виборг — город на полуострове Ютландия.

62

мы готовимся к войне... — В 1535 г. в Дании началась крестьянская война.

63

Шкипер Клемент (?—1536) — вождь крестьянского восстания в Ютландии. Под его руководством крестьяне одержали ряд побед, в том числе крупную победу под Свенstrupом.

64

Иоганн Рантцау (1490–1565) — датский военачальник, стоял во главе войск, разбивших ютландских крестьян. Битва под Ольборгом состоялась 18 декабря 1534 г.

65

После сражения при Экснэбьерге... — Под Экснэбьергом в Ютландии 11 июня 1535 г. датчане под руководством Иоганна Рантцау одержали победу над любекским войском.

66

Копенгаген... терпел осаду. — В 1535–1536 гг. Копенгаген, который до конца поддерживал короля Кристьяерна, был осажден войсками Иоганна Рантцау. Город сдался 29 июля 1536 г.

67

Лесе, Анхольт — датские острова.

68

...красный флаг. — Датский национальный флаг представляет собой красное полотнище с белым крестом.

69

Книга Руфи — часть Библии.

70

В этой комнате он провел уже одиннадцать лет. — Кристьяерн находился в заточении с 1532 по 1549 гг. в замке Сённерборг на острове Альс у юго-восточного берега Ютландии, а с 1549 г. и до конца жизни — в замке Калунборг на острове Зеландия.

71

Матица — потолочная балка.

72

Кнуд Педерсен Гюльденстjerne (1480–1552) — знатный датчанин, участвовавший в пленении Кристьяерна и наблюдавший за находящимся в заточении бывшим королем.

73

Лиспунд, квинт — старые датские меры веса, равные, соответственно, 8 кг и 5 г.

74

Гротти — в древнескандинавской мифологии чудесный жернов.

75

Фенья и Менья — в древнескандинавской мифологии две великанши, которых купил как рабынь король Фроде. Вращая жернов Гротти, они мололи для короля золото, мир и счастье, но так как король не давал им отдыха, они рассердились, запели песнь жернова и намололи войско, в сражении с которым погиб король Фроде. Его победитель морской король Мюсунг заставил великанш молоть соль, и они намололи столько соли, что корабль на котором они плыли, утонул. Жернов продолжал молоть на морском дне, и от этого море стало соленым.

76

...ни слезинки. — древнескандинавской мифологии Бальдр — бог весны. Злому богу Локи удалось с помощью обмана убить его. Все боги и все люди жалели Бальдра и хотели добиться его возвращения в мир живых. Им было обещано, что Бальдр вернется, но только при условии, что все живое и мертвое в мире будет оплакивать его смерть. Так оно и было, и только в одной дальней пещере обнаружили великаншу по имени Тёкк, которая сидела с сухими глазами. Поэтому возвращение Бальдра в мир живых не состоялось. Позже выяснилось, что великаншей Тёкк в действительности был все тот же злой бог Локи.